

ОДНА ИЗ 100 ВЕЛИЧАЙШИХ КНИГ ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «TIME»

# ДЖЕК КЕРУАК НА ДОРОГЕ



Роман-странствие, роман — глоток свежего воздуха,  
роман — джазовая импровизация.

*«Lancaster Sunday News»*



## Annotation

Джек Керуак дал голос целому поколению в литературе, за свою короткую жизнь успел написать около 20 книг прозы и поэзии и стать самым известным и противоречивым автором своего времени. По его книгам учились писать все битники и хипстеры — писать не что знаешь, а что видишь, свято веря, что мир сам раскроет свою природу. Именно роман «На дороге» принес Керуаку всемирную славу и стал классикой американской литературы. Первый редактор этой книги любил вспоминать, что более странной рукописи ему не приносили никогда. Здоровенный, как лесоруб, Керуак принес в редакцию рулон бумаги длиной 147 метров без единого знака препинания. Это был рассказ о судьбе и боли целого поколения, выстроенный, как джазовая импровизация. Несколько лет назад рукопись «На дороге» ушла с аукциона почти за 2.5 миллиона долларов, а сейчас роман обрел наконец кино воплощение; продюсером выступил Фрэнсис Форд Coppola (права на экранизацию он купил много лет назад), режиссером — Уолтер Саллес (прославившийся фильмом «Че Гевара: Дневники мотоциклиста»), роли исполнили Сэм Райли, Кристен Стюарт, Эми Адамс, Кирстен Данст, Вигго Мортенсен, Стив Бушеми.

- 
- [Джек Керуак](#)
    - [о романе](#)
    - [Часть первая](#)
      - [1](#)
      - [2](#)
      - [3](#)
      - [4](#)
      - [5](#)
      - [6](#)
      - [7](#)
      - [8](#)
      - [9](#)
      - [10](#)
      - [11](#)

- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [Часть вторая](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
- [Часть третья](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
- [Часть четвертая](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
- [Часть пятая](#)
- [notes](#)
  - [1](#)

- [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
-

**Джек Керуак**  
**На дороге**

## о романе

Энергия Керуака заразительна, его сострадание и чуткость — исконны и подлинны.

*Guardian*

Публикация романа Керуака «На дороге» — эпохальное событие в той же мере, в какой доподлинное произведение искусства вообще способно повлиять на эпоху, которой свойственны тотальный дефицит внимания и притупление чувств. Эта книга — наиболее искусное, незамутненное и значительное высказывание того поколения, которое сам Керуак назвал разбитым и первейшим воплощением которого выступает. И если манифестом «потерянного поколения» принято теперь считать «И восходит солнце» Хемингуэя, то же роль для поколения «разбитого» сыграет «На дороге». Впрочем, этим их сходство исчерпывается: и с философской, и с литературной точки зрения между этими книгами пролегли как минимум Великая депрессия и Мировая война.

*The New York Times*

Когда кто-нибудь спросит: «Откуда Керуак все это берет?» — отвечайте: «От вас». Он всю ночь лежал и слушал, не смыкая глаз и ушей. Ночь эта длилась тысячу лет. А он весь обратился в слух — в материнской утробе, в колыбели, в школе, на фондовой бирже нашей жизни, где грезы обменивают на золото.

*Генри Миллер*

Эта книга продала миллиард пар джинсов и миллион кофеварок и отправила миллион юнцов в дорогу. Отчуждение, неудовлетворенность, нежелание сидеть на

месте — все это уже вызрело, но именно Керуак указал путь.

*Уильям Берроуз*

Этот роман изменил наше мировоззрение в самом буквальном смысле слова: мы стали смотреть на мир иначе, стали жадными до нового опыта.

*Ханиф Курейши*

# Часть первая



С Дином я познакомился вскоре после того, как расстался с женой. Я тогда перенес серьезную болезнь, распространяться о которой не стану, скажу только, что она имела отношение к страшно утомительному разводу и еще к возникшему у меня тогда чувству, что кругом все мертво. С появлением Дина Мориарти начался тот период моей жизни, который можно назвать жизнью в дороге. Я и раньше частенько мечтал отправиться на Запад, посмотреть страну, — строил туманные планы, но так и не двинулся с места. Дин — идеальный попутчик, он даже родился в дороге, в 1926 году, в Солт-Лейк-Сити, когда его отец с матерью добирались на своей колыхаге до Лос-Анджелеса. Впервые я услышал о нем от Чеда Кинга, который показал мне несколько писем Дина, отправленных из исправительной школы для малолетних преступников в Нью-Мексико. Письма меня страшно заинтересовали, потому что их автор с очаровательным простодушием просил Чеда обучить его всему, что тот знает о Ницше и прочих замечательных интеллектуальных премудростях. Как-то мы с Карло разговаривали об этих письмах и сошлись на том, что с удивительным Дином Мориарти надо непременно познакомиться. Это было очень давно, когда Дин еще не стал таким, как теперь, а был еще окутанным тайной юным арестантом. Затем до нас дошли слухи, что Дин вышел из исправительной школы и впервые едет в Нью-Йорк. Еще поговаривали, что он уже успел жениться на девушке по имени Мерилу.

Однажды, околавываясь в университетском городке, я услышал от Чеда и Тима Грэя, что Дин остановился в какой-то халупе без отопления в Восточном Гарлеме — Испанском квартале. Накануне вечером Дин прибыл в Нью-Йорк со своей хорошенькой продувной цыпочкой Мерилу. Они вышли из междугородного автобуса на 50-й улице, завернули за угол в поисках места, где можно перекусить, и попали прямо к «Гектору». И с тех пор закусочная Гектора навсегда осталась для Дина главным символом Нью-Йорка. Они потратились на большие красивые глазированные пирожные и слойки со взбитым кремом.

Все это время Дин твердил Мерилу примерно следующее: «Вот мы и в Нью-Йорке, дорогая, и хотя я рассказал тебе еще не обо всем, о чем думал, пока мы ехали через Миссури, а главное — когда проезжали Бунвилльскую исправительную школу, которая напомнила мне о моих тюремных передрягах, — сейчас во что бы то ни стало надо отбросить на время всю нашу любовную дребедень и немедленно начать строить конкретные планы, как заработать на жизнь...» — и так далее, в той манере, которая была свойственна ему в прежние времена.

Мы с ребятами пришли в эту квартирку без отопления. Дверь открыл Дин в трусах. С кушетки спрыгнула Мерилу. Перед нашим визитом Дин отправил владельца квартиры на кухню — вероятно, сварить кофе, — а сам возобновил свои любовные занятия, ведь секс был его подлинным призванием и единственным божеством, и верность этому божееству он нарушал лишь в силу необходимости трудиться, чтобы заработать на жизнь. Волнуясь, он плядел в пол, подергивал и кивал головой, словно молодой боксер в ответ на наставления тренера, а чтобы не подумали, будто он пропустил хоть слово, вставлял тысячи «да» и «вот именно». В ту первую встречу меня поразило сходство Дина с молодым Джином Отри — стройный, узкобедрый, голубоглазый, с подлинным оклахомским выговором, — герой снежного Запада, отрастивший баки. Он и в самом деле, до того как жениться на Мерилу и приехать на Восток, работал на ранчо Эда Уолла в Колорадо. Мерилу была очаровательной блондинкой с морем вьющихся золотистых волос. Она сидела на краю кушетки, сложив руки на коленях, а ее наивные дымчато-голубые глаза были широко раскрыты и застыли в изумлении, ведь она попала в скверную, мрачную нью-йоркскую халупу, о каких была наслышана еще на Западе, и теперь чего-то ждала, напоминая женщину Модильяни — длиннотелую, истомленную, сюрреалистическую — в солидном кабинете. Однако милая маленькая Мерилу оказалась девицей недалекой, к тому же способной на дикие выходки. Той ночью мы все пили пиво, мерились силой рук и болтали до рассвета, а наутро, когда мы молча сидели, попыхивая в сером свете нового унылого дня собранными из пепельниц окурками, Дин нервно вскочил, походил, подумал и решил, что самое важное сейчас — заставить Мерилу приготовить завтрак и подмести пол.

— Другими словами, нам следует действовать порасторопнее, дорогая, вот что я тебе скажу, а то все как-то зыбко, нашим планам не хватает четкости и определенности.

Потом я ушел.

Всю следующую неделю Дин пытался убедить Чеда Кинга в том, что тот просто обязан преподать ему уроки писательского мастерства. Чед сказал ему, что писатель — я, ко мне, мол, и надо обращаться. К тому времени Дин нашел работу на автостоянке, подрался с Мерилу в их квартирке в Хобокене — одному Богу известно, зачем они туда переехали, — а та совершенно обезумела и так жаждала мести, что донесла на него в полицию, выдвинув в припадке истерики дутое, нелепое обвинение, так что из Хобокена Дину пришлось уносить ноги. Поэтому жить ему теперь было негде. Он сразу же отправился в Патерсон, Нью-Джерси, где я жил со своей тетушкой, и вот как-то вечером, когда я работал, раздался стук в дверь и возник Дин. Кланяясь и подобострастно расшаркиваясь во тьме коридора, он сказал:

— Привет, ты меня помнишь — Дин Мориарти? Я пришел учиться у тебя, как надо писать.

— А где Мерилу? — спросил я.

И Дин ответил, что она, скорее всего, заработала на панели несколько долларов и смоталась обратно в Денвер — «шлюха!». Мы отправились выпить пива, потому что не могли как следует поговорить при тетушке, которая сидела в гостиной и читала газету. Едва взглянув на Дина, она сразу же решила, что он сумасшедший.

В пивной я сказал Дину:

— Черт возьми, старина, я прекрасно понимаю, что ты не пришел бы ко мне только затем, чтобы стать писателем, да и знаю я об этом только одно — то, что в это дело надо врубаться с энергией бензедринщика...

Он же отвечал:

— Ну разумеется, мне эта мысль хорошо знакома, да я и сам сталкивался с подобными проблемами, но чего я хочу, так это реализации тех факторов, которые следует поставить в зависимость от дихотомии Шопенгауэра, потому что каждый внутренне осознанный... — и так далее, в том же духе, о вещах, в которых я

ровным счетом ничего не смыслил и в которых сам он смыслил еще меньше моего.

В те времена он и сам не понимал собственных речей. Короче говоря, он был юным арестантом, заиклившимся на радужной перспективе сделаться подлинным интеллектуалом, и любил употребить в разговоре, правда слегка путаясь, словечки, которые слышал от «подлинных интеллектуалов». Тем не менее, уверяю вас, в других вещах он не был столь наивен, и ему понадобилось всего несколько месяцев общения с Карло Марксом, чтобы полностью освоиться и с терминами, и с жаргоном. Несмотря ни на что, мы поняли друг друга на иных уровнях безумия, и я согласился, пока он не найдет работу, пустить его пожить, к тому же мы договорились когда-нибудь отправиться на Запад. Была зима 1947 года.

Как-то вечером, когда Дин ужинал у меня — он уже нашел работу на автостоянке в Нью-Йорке, — я сидел и барабанил на машинке, а он положил руку мне на плечо и сказал:

— Собирайся, старина, эти девицы ждать не будут, поторопись.

Я ответил:

— Подожди минуту, я только закончу главу, — а это была одна из лучших глав книги.

Потом я оделся, и мы помчались в Нью-Йорк на встречу с какими-то девицами. Когда мы ехали в автобусе сквозь таинственную фосфоресцирующую пустоту туннеля Линкольна, опираясь друг на друга, тыча пальцами в воздух, возбужденно и громко болтая, Диново помешательство начало передаваться мне. Он был всего лишь юношей, до умопомрачения опьяненным жизнью, и, будучи мошенником, мошенничал только потому, что очень хотел жить и иметь дело с людьми, которые иначе не обратили бы на него никакого внимания. Он надувал и меня, и я это знал (из-за жилья, харчей и того, «как-надо-писать»), а он знал, что я это знаю (и в этом суть наших отношений), но мне было наплевать, и мы прекрасно ладили — не докучая и не угождая друг другу. Деликатные, словно новоиспеченные друзья, мы обхаживали друг друга на цыпочках. Я начал у него учиться так же, как он, вероятно, учился у меня. Что до моей работы, то он говорил:

— Давай, давай, то, что ты делаешь, — великолепно!

Когда я писал рассказы, он заглядывал мне через плечо и орал:

— Да! Точно! Ого! Старина! — А еще: — Уфф! — и вытирал платком лицо. — Эх, старина, еще столько надо сделать, столько написать! Главное — *начать* бы все это записывать, да без всяких там лишних стеснений и препятствий вроде литературных запретов и грамматических страхов...

— Да, старина, вот это я понимаю!

И я видел нечто вроде священной молнии, рожденной на свет его волнением и его видениями, которые он обрисовывал так стремительно и многословно, что люди в автобусах оборачивались, чтобы разглядеть «перевозбужденного психа». Третью своей жизни на Западе он провел, играя на тотализаторе, треть — в тюрьме и треть — в публичной библиотеке. Видели, как он, нагруженный книгами, опрометью мчится с непокрытой головой по зимним улицам в тотализаторный зал автодрома или как карабкается по деревьям на чердаки своих приятелей, где он сутками читал, а то и скрывался от полиции.

Мы приехали в Нью-Йорк — чуть не забыл, с чего все началось — две цветные девицы, — и никаких девиц там не оказалось. Они должны были встретиться с Дино в дешевом ресторанчике, но так и не появились. Мы отправились на автостоянку, где у него были кое-какие дела: надо было переодеться в глубине домика, наскоро привести себя в порядок перед треснувшим зеркалом и все такое, а потом мы тронулись в путь. Именно в тот вечер Дин познакомился с Карло Марксом. И знакомство Дина с Карло Марксом имело потрясающие последствия. С их обостренным восприятием они сразу же приохотились друг к другу. Проницательный взгляд одного встретился с проницательным взглядом другого — святой мошенник с душой нараспашку повстречал печального мошенника-поэта с темной душой — Карло Маркса. С той минуты я видел Дина очень редко и был этим немного расстроен. Столкнулись во всеоружии их кипучие энергии, и мне, неуклюжему, было за ними не угнаться. Тогда и началось все, что должно было случиться, тогда и поднялся весь этот безумный вихрь; он затянет всех моих друзей и все, что осталось от моей семьи, в большое облако пыли над Американской Ночью. Карло рассказывал Дину о Старом Буйволе Ли, Элмере Хасселе, Джейн. Ли выращивает травку в Техасе, Хассел — на острове Райкер<sup>[1]</sup>, Джейн с ребенком на руках блуждает в бензедриновых галлюцинациях по

Таймс-сквер и оказывается в Бельвью<sup>[2]</sup>. А Дин рассказал Карло о неизвестных людях с Запада — вроде Томми Снарка, косолапого шулера с автодромного тотализатора, картежника и юродивого. Он рассказал ему о Рое Джонсоне, о Детине Эде Данкеле — приятелях детства, своих уличных дружках, о своих бесчисленных девицах, о сексуальных вечеринках и порнографических открытках, о своих героях, героинях и приключениях. Они вместе носились по улицам, врубаясь во все в своей тогдашней манере, которая позже стала куда более печальной, стала вдумчивой и бессмысленной. Но тогда они приплясывали на улицах как заведенные, а я плелся сзади, как всю жизнь плетусь за теми, кто мне интересен, потому что интересны мне одни безумцы — те, кто без ума от жизни, от разговоров, от желания быть спасенным, кто жаждет всего сразу, кто никогда не скучает и не говорит банальностей, а лишь горит, горит, горит, как фантастические желтые римские свечи, которые пауками распускаются в звездном небе, а в центре возникает яркая голубая вспышка, и тогда все кричат. «Ого-о-о!» Как называли таких молодых людей в Германии во времена Гёте? Страстно желая научиться писать, как Карло, Дин тотчас отдал ему любвеобильное пылкое сердце — такое, какое может быть только у плута.

— Теперь, Карло, дай мне сказать... вот что я скажу...

Я не видел их недели две, и за это время они скрепили свои отношения неразрывными, дьявольскими узами круглосуточных разговоров.

Потом настала весна — прекрасное время путешествий, и каждый, кто входил в эту разрозненную шайку, готовился пуститься в свой путь. Я был поглощен работой над романом, а когда дошел до середины, съездил с тетужкой на Юг к моему брату Рокко и был готов к самому первому путешествию на Запад.

Дин к тому времени уже уехал. Мы с Карло провожали его на автовокзале компании «Грейхаунд» на 34-й улице. Там, наверху, можно было за двадцать пять центов сфотографироваться. Карло снял очки и приобрел мрачный вид. Дин сфотографировался в профиль и стыдливо огляделся. Я позировал, глядя в объектив, отчего стал похож на тридцатилетнего итальянца, который убьет любого, кто скажет хоть слово против его матери. Эту фотографию Карло с Дином аккуратно разрезали пополам бритвой, и каждый положил свою

половинку себе в бумажник. Дин, отправляясь в долгий обратный путь в Денвер, нарядился в пиджачную пару настоящего жителя Запада; кончилось его веселое житье в Нью-Йорке. Я говорю «веселое», он же только и делал, что работал как вол на автостоянках. Самый эксцентричный служитель автостоянок на свете, он может в жуткой давке подать задним ходом со скоростью сорок миль в час и остановить машину у самой стены, выпрыгнуть, промчаться между боками автомобилей, вскочить в другую машину, покружить на ней в тесноте со скоростью пятьдесят миль в час, выбрать тесный пятак, вновь подать задом, сгорбиться и так наподдать по тормозам, что машина подпрыгивает, когда он из нее вылетает; затем, словно заправский спринтер, прямиком в будку кассира, отдать квитанцию, вскочить в только что прибывшую машину, владелец которой еще и наполовину не вылез, буквально прошмыгнуть под ним, пока тот делает шаг наружу, запустить мотор, одновременно захлопнув дверцу, с ревом домчаться до ближайшего свободного пятка, согнуться, что-то вставить, включить тормоза, выскочить — и бегом. И так без единой паузы, восемь часов каждый вечер — вечерние часы «пик» и послетеатральные часы «пик», в промасленных, залитых вином штанах, поношенной, отороченной мехом куртке и стоптанных шлепающих башмаках. И вот он купил новый костюм, чтобы отправиться в обратный путь; синий костюм в тонкую полоску, жилет и все такое — одиннадцать долларов на Третьей авеню, да еще часы с цепочкой и портативную пишущую машинку, с помощью которой он собирался начать писать в каком-нибудь денверском пансионе, как только найдет работу. На прощание мы полакомились сосисками с бобами у «Райкера» на Седьмой авеню, а потом Дин сел в автобус с надписью «Чикаго» и умчался в ночь. Вот и уехал наш ковбой. Я дал себе слово отправиться тем же путем, когда весна будет в разгаре и расцветет вся страна.

Именно с этого и начались мои дорожные приключения, и то, что ждало меня впереди, слишком невероятно и просто требует рассказа.

Да, я хотел узнать Дина поближе не только потому, что был писателем и нуждался в новых впечатлениях, а моя жизнь, связанная с университетским городком, достигла завершения своего цикла и стала бессмысленной, но еще и потому, что каким-то образом, несмотря на

несхожесть наших характеров, он напоминал мне некоего давно потерянного брата. При взгляде на его страдающее скуластое лицо с длинными баками и напряженную, мускулистую потную шею я вспоминал детство на свалках красилен, в купальнях и на берегах Пассейика в Патерсоне. Грязная рабочая одежда сидела на Дине так изящно, словно столь элегантный костюм был произведением не простого портного, а Природного Закройщика Природной Радости, да и тот еще надо было заслужить, что Дин и сделал — ценою своих невзгод. А в его возбужденной манере говорить мне вновь слышались голоса старых товарищей и братьев под мостом, среди мотоциклов, в завешанных бельем дворах и на сонных послеполуденных крылечках, где играли на гитарах мальчишки, пока их старшие братья были на фабрике. Все прочие мои тогдашние друзья были «интеллектуалами»: Чед — антрополог-ницшеанец, Карло Маркс с его серьезным пристальным взглядом, тихим голосом и безумными сюрреалистическими речами, Старый Буйвол Ли, ругавший все на свете, манерно растягивая слова. Или же это были преступники в бегах, вроде Элмера Хассела с его плумливой усмешкой и той же Джейн Ли, которая, развалившись на кушетке с восточным покрывалом, шмыгала носом, уставившись в «Нью-Йоркер». Но Дин обладал ничуть не менее здравым, блестящим и совершенным умом, к тому же без всей этой утомительной интеллектуальности. Да и в «уголовщине» его не было ни плумления, ни злости. Это был дикий положительный взрыв американского восторга; это был Запад, западный ветер, ода с Равнин, нечто новое, давно предсказанное и долгожданное (автомобили он угонял только потому, что любил кататься). К тому же все мои нью-йоркские друзья стояли на маниакальной пессимистической позиции критики общества и подводили под нее опостылевшую книжную, политическую или психоаналитическую базу. А Дин попросту мчался внутри общества, страстно желая хлеба и любви. И ему было безразлично все остальное, «пока я могу заполучить эту девчонку вместе с кое-чем промеж ног, старина», и «пока мы в состоянии жрать, сынок, слышишь меня? я голоден, я просто умираю с голодухи, давай немедленно поедим!» — и мы мчались есть, ведь, как сказано у Экклезиаста: «Это твоя доля под солнцем».



Дин, западный родственник солнца. Хоть тетушка и предупреждала, что он доведет меня до беды, я в молодые годы был способен услышать новый зов, увидеть новые горизонты и поверить и в то и в другое. А мелкие неприятности или даже то, что Дин вполне мог забыть о нашей дружбе, бросив меня на берущих голодным измором тротуарах или прикованным к постели, — какое все это имело значение? Я был молодым писателем, я хотел отправиться в путь.

Я знал, что где-то в пути будут девушки, будет все, и где-то в пути жемчужина будет мне отдана.

В июле 1947 года, накопив долларов пятьдесят из старых ветеранских пособий, я был готов ехать на Западное Побережье. Мой друг Реми Бонкур написал мне из Сан-Франциско, пригласив приехать и отправиться с ним в плавание на океанском лайнере. Он ручался, что устроит меня механиком в машинное отделение. Я ответил, что был бы рад любому грузовому суденышку и готов предпринять не одно плавание по Тихому океану, лишь бы привезти достаточно денег, чтобы продержаться в тетушкином доме и закончить книгу. Реми сообщил, что в Милл-Сити у него есть домик, где я смогу вволю писать, пока не закончится катавасия с устройством на корабль. Жил он с девушкой по имени Ли Энн. Он уверял, что она прекрасно готовит и все будет на высшем уровне. Реми был моим старым школьным другом, французом, воспитанным в Париже, и настоящим безумцем — а насколько он был безумен в то время, я и не подозревал. Он ждал меня не позже чем через десять дней. Тетушка восприняла весть о моей поездке на Запад с энтузиазмом; она сказала, что мне это будет полезно, ведь я всю зиму упорно трудился и слишком долго сидел взаперти. Она даже не стала возражать, когда я признался ей, что иногда придется добираться на попутных машинах. Хотела она только одного — чтобы я вернулся целым и невредимым. И вот, оставив на столе свою пухлую полурукопись и в последний раз скатав уютные домашние простыни, в одно прекрасное утро я вышел из дома с парусиновым мешком, в котором было только самое необходимое, и с пятьюдесятью долларами в кармане направился к Тихому океану.

В Патерсоне я месяцами сидел над картами Соединенных Штатов, даже читал книги про первых поселенцев, смакуя такие названия, как Платте, Симаррон и прочие, а на дорожной карте была одна длинная красная линия под названием «Дорога б», которая тянулась от оконечности мыса Код до самого Или, штат Невада, а там спускалась вниз, к Лос-Анджелесу. Вот по «шестерке» я и поеду до самого Или, сказал я себе и, уверенный в успехе своего предприятия, тронулся в путь. Чтобы добраться до «шестерки», я должен был подняться к Медвежьей горе. В предвкушении великих дел, которые

ждут меня в Чикаго, Денвере и, наконец, в Сан-Франциско, я сел в подземку на Седьмой авеню и доехал до конца — до 242-й улицы, а оттуда трамваем добрался до Йонкерса. В центре Йонкерса я пересел на трамвай, который довез меня до самой городской черты на восточном берегу реки Гудзон. Если вы уроните розу в Гудзон у его таинственных истоков в горах Адирондака, подумайте обо всех тех местах, мимо которых она пропутешествует, прежде чем навсегда исчезнуть в море, — подумайте о прекрасной долине Гудзона. Я начал свой подъем на попутках. За пять рейсов я добрался до желанного моста Медвежьей горы, где дугой шла из Новой Англии Дорога 6. Когда меня там высадили, начался проливной дождь. Кругом были горы. Дорога 6, придя из-за реки, огибала транспортную развязку и терялась среди девственной природы. Мало того что не было машин, так еще и дождь лил как из ведра, а укрыться было негде. Пришлось искать убежища под соснами, однако и это не спасало. Я орал, ругался и бил себя по лбу, недоумевая, почему оказался таким круглым идиотом. Нью-Йорк остался в сорока милях к югу. В течение всего подъема мне не давало покоя то, что в этот знаменательный первый день я только и делаю, что двигаюсь на север, а вовсе не в сторону вожделенного Запада. И вот я прочно застрял на своей самой северной остановке. Пробежав четверть мили до уютной, в английском стиле, заброшенной заправочной станции, я встал под карниз, с которого падали крупные капли. Лесистая громада Медвежьей горы обрушивала на меня с высоты внушающие священный ужас удары грома. Видны мне были лишь размытые очертания деревьев да уходящая в небеса мрачная дикая местность. «Какого черта я торчу тут наверху? — Проклиная себя, я рыдал от желания попасть в Чикаго. — В эту самую минуту все они веселятся, наверняка веселятся, а меня с ними нет, когда же я туда доберусь?!» — и все такое. Наконец у пустой бензоколонки остановилась машина. Сидевшие в ней мужчина и две женщины решили изучить карту. Я вышел из-под своего укрытия и принялся жестикулировать под дождем. Они посоветовались. Конечно, с мокрой головой и в хлюпающих башмаках я был похож на маньяка. На ноги я, круглый дурак, надел мексиканские гуарачи — нечто вроде решета из прутьев, совершенно не приспособленного ни для дождливой американской ночи, ни для сырой ночной дороги. И все же эти люди пустили меня в

машину и отвезли *назад*, в Ньюберг, что я счел за благо по сравнению с перспективой проторчать всю ночь в дикой безлюдной западне у Медвежьей горы.

— К тому же, — сказал мужчина, — по «шестерке» транспорт не ходит. Если хочешь попасть в Чикаго, лучше проехать по туннелю Холланда в Нью-Йорке и направиться в сторону Питсбурга.

И я знал, что он прав. Лопнула моя мечта, нелепая домашняя затея безмятежно прокатить через всю Америку по одной длинной красной линии, не испытывая разные дороги и маршруты.

В Ньюберге дождь кончился. Я пешком спустился к реке, откуда мне пришлось вернуться в Нью-Йорк на автобусе вместе с группой школьных учителей, проводивших выходные в горах, — болтовня, тары-бары, а я проклинал себя за потерянное время, за потраченные деньги и за то, что, собираясь поехать на запад, весь день и полночи катался вверх-вниз с юга на север и обратно, а с места так и не сдвинулся. И я поклялся, что завтра же буду в Чикаго, и для пущей убедительности взял билет на чикагский автобус, потратив при этом львиную долю денег, на что мне было уже наплевать, ведь назавтра меня ждал Чикаго.

Сперва это была обычная автобусная поездка с орущими детьми, палящим солнцем и сельскими жителями, входившими в автобус в каждом городке Пенсильвании, но потом мы добрались до равнин Огайо, по-настоящему разогнались, проехали Аштабьюлу и в ночи пересекли Индиану. В Чикаго я попал ранним утром, снял комнату в общежитии Христианской Ассоциации и завалился спать. Деньги уже подходили к концу. К вечеру я отменно выспался и отправился изучать город.

Ветер с озера Мичиган, «боп» в «Петле»<sup>[3]</sup>, прогулки в районе Саут-Холстеда и Норт-Кларка и одна долгая послеполуночная прогулка в район притонов, куда меня, приняв за подозрительного типа, сопровождала полицейская машина. В то время, в 1947-м, по Америке прокатилась безумная волна «бопа». Вот и в «Петле» музыканты играли, правда, со скучающим видом, потому что «боп» к тому времени уже миновал орнитологический период Чарли Паркера, не вступив еще в следующий, который начался позднее, с Майлза Дэвиса. И когда я сидел там, вслушиваясь в ту мелодию ночи, символом которой для каждого из нас стал «боп», я думал обо всех моих друзьях, разбросанных по стране, думал о том, что на самом-то деле все они живут на одном громадном заднем дворе нашего общего дома, и бесятся там, и мчатся по нему неизвестно куда. А на следующий день я впервые в жизни направился на Запад. Был теплый, идеальный для автостопа день. Чтобы выбраться из невероятной толчеи чикагских улиц, я доехал в автобусе до Джолиета, Иллинойс. Миновав джолиетскую тюрьму и пройдя по кривым тенистым улочкам, я занял пост у городской черты и вытянул руку. Весь путь от Нью-Йорка до Джолиета я проделал на автобусе и уже истратил добрую половину денег.

Первая поездка была на груженном динамитом грузовике с красным флажком — миль тридцать в гущь бескрайнего зеленого Иллинойса. Водитель показал мне место, где Дорога 6, по которой мы ехали, пересекается с Дорогой 66, и откуда обе они устремляются в невероятную даль, на запад. Около трех часов дня, после яблочного

пирога со сливочным мороженым в придорожном буфете, на мой призыв остановилась женщина в двухместном автомобильчике. Мчась к машине, я испытал приступ мучительного восторга, однако за рулем сидела женщина средних лет, к тому же имевшая сыновей, моих ровесников. Она хотела, чтобы кто-нибудь помог ей довести машину до Айовы, на что я охотно согласился. Айова! Там уж и до Денвера недалеко, а как только доберусь до Денвера, я смогу наконец сделать передышку. Первые несколько часов машину вела она и где-то по дороге — как будто мы были туристами! — уговорила меня осмотреть старую церквушку, а потом за руль сел я и, хоть не такой уж я великий шофер, проехал без остановок всю оставшуюся часть Иллинойса до самого Давенпорта, Айова, через Рок-Айленд. И там, впервые в жизни, я увидел любимую свою реку Миссисипи, сохнущую в летней дымке, обмелевшую, с ее резким дурманящим запахом, напоминающим запах обнаженного тела самой Америки, потому что река его омывает. Рок-Айленд — железнодорожные пути, лачуги, небольшой деловой район, — и через мост, в Давенпорт, такой же городок, насквозь пропахший опилками в лучах теплого среднезападного солнца. Оттуда моей даме предстояло отправиться в свой родной город в Айове другой дорогой, и я вылез из машины.

Садилось солнце. Выпив пару кружек холодного пива, я пошел пешком к окраине города, и идти пришлось долго. Ехали с работы мужчины в железнодорожных фуражках, бейсбольных кепках, всевозможных шляпах — все в точности как в любом другом городе после рабочего дня. Один из них подвез меня вверх по склону холма и высадил на пустынном перекрестке у края прерии. Место было чудесное. Попадались только фермерские машины. Фермеры бросали на меня подозрительные взгляды, машины громыхали мимо; возвращались домой коровы. Ни одного грузовика. Со свистом проносились редкие легковушки. В одной мелькнул юный лихач с развевающимся шарфом. Солнце уже село, а я все стоял в лиловом сумраке. И тогда мне стало не по себе. В сельской местности Айовы не горел ни один огонек; через минуту уже никто не смог бы меня заметить. К счастью, меня подбросил к центру городка парень, ехавший в Давенпорт. И я оказался там, откуда пришел.

Я решил посидеть на автобусной станции и все обдумать. Съел еще один яблочный пирог со сливочным мороженым. В пути через

страну я почти ничего больше не ел: я знал, что это питательно и к тому же вкусно. Поглазев на официантку в кафе автовокзала, я решил рискнуть, сел в автобус в центре Давенпорта и доехал до самой окраины, однако на этот раз вышел поблизости от бензозаправочной станции. Мимо с ревом пронеслись большие грузовики, и не прошло и двух минут, как один из них с визгом затормозил. Исполненный ликования, я бросился к нему. А что за водитель! — настоящий здоровенный головорез с глазами навывкате и хриплым скрипучим голосом. Колошматя руками и ногами по рычагам и педалям, он гнал себе машину вперед и не обращал на меня почти никакого внимания. Так что я мог дать небольшой роздых своей утомленной душе, ведь самая большая беда езды на попутках — это необходимость разговаривать с бесчисленным множеством людей, убеждать их в том, что они не совершили ошибки, взяв вас в попутчики, чуть ли не развлекать их, а все это требует огромного напряжения, особенно когда вы только и делаете, что едете и не собираетесь ночевать в гостинице. Этот же малый знай себе оплашал своим криком дорогу, мне оставалось лишь орать в ответ, и мы нисколько не напрягались. Так он и докатил свою машину до самого Айова-Сити, выкрикивая мне забавнейшие истории о том, как он объезжает закон в каждом городишке, где существуют несправедливые ограничения скорости, и то и дело повторяя: «Меня-то этим гнусным легавым вокруг пальца не обвести!» Как только мы прикатили в Айова-Сити, он увидел позади нас еще один грузовик и, так как должен был сворачивать на другую дорогу, мигнул тому малому стоп-сигналом и притормозил, давая мне возможность выпрыгнуть, что я и сделал, захватив свой мешок. А второй грузовик, подтверждая согласие на обмен, остановился, и я в мгновение ока оказался в другом просторном высоком экипаже, вполне готовом ехать сотни миль сквозь ночь, и как же я был счастлив! И новый шофер оказался таким же психом, как и его предшественник, и орал ничуть не меньше, а мне только и оставалось, что откинуться на сиденье и отдаться воле волн. Теперь я уже почти видел Денвер, неясно вырисовывающийся впереди, подобно Земле Обетованной — вдали под звездами, за прериями Айовы и равнинами Небраски, — а там, еще дальше, мне представлялась еще более величественная панорама Сан-Франциско, похожего на драгоценное ожерелье ночи. Шофер гнал грузовик вперед и часа два рассказывал

истории, потом, в одном городишке в Айове, где через несколько лет нас с Дином остановят по подозрению в том, что наша машина напоминает угнанный «кадиллак», он заснул на несколько часов на сиденье, поспал немного и я, а проснувшись, прогулялся вдоль унылых кирпичных стен, освещенных единственным фонарем. Каждая улочка терялась в прерии, а запах кукурузы освежал ночь, точно роса.

На рассвете шофер резко проснулся, и мы помчались дальше, а через час впереди, над зелеными кукурузными полями, показался дым Де-Мойна. Водителю надо было позавтракать, ему некуда было спешить, и мили четыре до Де-Мойна я проехал, подсев к двум парням из Айовского университета. Непривычно было сидеть в их новенькой удобной машине и слушать, как они болтают об экзаменах, пока мы плавно вкатываем в город. Я уже валился с ног от усталости и поэтому в надежде снять комнату отправился в Молодежную христианскую ассоциацию. Свободных комнат не было, и я машинально добрался до железнодорожных путей — а в Де-Мойне их полно, — попал в мрачную старую гостиницу «Равнины» рядом с паровозным депо — настоящий постоялый двор — и весь долгий день проспал на просторной кровати с белоснежными крахмальными простынями. На стене у изголовья были вырезаны похабные надписи, а выдавшие виды желтые шторы заслоняли от меня дымную сортировочную станцию. Проснулся я, когда багровое солнце уже клонилось к закату. И в это совершенно особое, самое удивительное мгновение моей жизни я вдруг забыл, кто я такой. Я находился далеко от дома, в дешевом гостиничном номере, каких никогда не видывал, был возбужден и утомлен путешествием, слышал шипение пара снаружи, скрип старого дерева гостиницы, шаги наверху и прочие печальные звуки, я смотрел на высокий потрескавшийся потолок и в течение нескольких необыкновенных секунд никак не мог вспомнить, кто я такой. Я не был напуган. Просто я был кем-то другим, неким незнакомцем, и вся моя жизнь была жизнью неприкаянной, жизнью призрака. Я проехал пол-Америки, добрался до пограничной линии, отделявшей Восток моей юности от Запада моего будущего, и потому-то, быть может, и произошло такое именно там и именно тогда, в тот странный багровый предвечерний час.



Однако пора было кончать с меланхолией и ехать дальше, поэтому я взял свой мешок, распрощался со старым хозяином гостиницы, сидевшим возле плевательницы, и отправился перекусить. Я съел яблочный пирог со сливочным мороженым — по мере того как я продвигался в глубь Айовы, и то и другое становилось лучше: пирог больше, мороженое жирнее. В тот день в Де-Мойне, куда бы я ни взглянул, всюду на глаза мне попадались стайки очаровательных девушек — они возвращались домой из школы, — но пока на подобные дела у меня не было времени, и я дал себе слово насладиться жизнью в Денвере. В Денвере уже был Карло Маркс. Там был Дин. Там были Чед Кинг и Тим Грэй — это же их родной город. Там была Мерилу. И еще я слышал о большой компании, куда входили Рэй Роулинс со своей красивой белокурой сестрой Бейб Роулинс, две официантки, подружки Дина — сестры Беттенкорт, и даже Роланд Мейджор, мой старый однокашник-писака, — и тот был там. Я с радостью и нетерпением предвкушал встречу со всеми этими людьми. Поэтому я несся вперед, мимо красивых девушек, а в Де-Мойне живут самые красивые девушки на свете.

Какой-то малый с настоящим инструментальным складом на колесах — грузовиком, полным инструментов, которым он управлял стоя, как это принято у нынешних молочников, — привез меня на вершину пологого холма, где меня сразу же взяли к себе в машину фермер с сыном, направлявшиеся в Эйдел, штат Айова. В этом городе, под громадным вязом возле бензоколонки, я познакомился с еще одним путешественником на попутках, типичным ньюйоркцем, ирландцем, который почти всю жизнь проработал водителем почтового грузовика, а теперь направлялся в Денвер — к девушке и навстречу новой жизни. По-моему, в Нью-Йорке ему что-то угрожало, скорее всего — закон. Этот отъявленный красноносый молодой пьянчуга лет тридцати, по идее, должен был мне быстро наскучить, если бы душа моя не была распахнута навстречу любому человеческому общению. Одет он был в заношенный свитер и мешковатые брюки и не имел при себе ничего даже отдаленно напоминающего сумку — ничего, кроме зубной щетки и носовых платков. Он предложил добираться до Денвера вместе. Мне бы следовало отказаться, потому что вид он на дороге имел жутковатый. Однако мы объединились, и какой-то неразговорчивый парень подвез

нас до Стюарта, Айова, городка, в котором мы крепко сели на мель. Стоя перед будкой железнодорожного кассира в Стюарте, мы до захода солнца, добрых пять часов ждали попутного транспорта на Запад и сначала коротали время рассказами о себе, потом он выдал несколько похабных анекдотов, а в конце концов мы попросту принялись отшвыривать ногами камешки и бестолково шуметь. Нас одолевала скука. Я решил истратить доллар на пиво; мы зашли в Стюарте в старую пивнушку и немного выпили. И попутчик мой напился там точно так же, как делал это на Девятой авеню, возвращаясь вечерами домой. Восторженно и громко пересказал он мне на ухо все низменные желания своей жизни. Мне он по-своему понравился; не потому, что был славным малым, как выяснилось позднее, а из-за его восторженности по отношению ко многим вещам. На дорогу мы вернулись, когда стемнело, и никто, конечно, не остановился, да и мало кто проезжал мимо. Так продолжалось до трех часов утра. Какое-то время мы пытались уснуть на скамейке железнодорожной кассы, однако всю ночь щелкал телеграф, и сон никак не шел, вдобавок снаружи гроыхали большие товарняки. Мы не умели вскакивать на ходу: раньше мы этого никогда не делали. Мы не знали, на восток они едут или на запад, не знали, как это выяснить, куда надо прыгать — в крытые вагоны, на вагоны-платформы, в размороженные рефрижераторы — все это нам было неведомо. Поэтому, когда перед самым рассветом подошел автобус до Омахи, мой попутчик вскочил в него и тут же присоединился к спящим пассажирам — я оплатил и его проезд, и свой. Его звали Эдди. Он напоминал мне двоюродного брата моей жены из Бронкса. Поэтому я к нему и привязался. Он казался мне старым другом, улыбочивым добродушным малым, с которым можно вволю подурачиться.

На рассвете мы прибыли в Каунсил-Блафс. Я выпянул в окошко. Всю зиму я читал о многочисленных отрядах переселенцев, которые держали там совет, прежде чем отправиться в своих фургонах по тропам Орегона и Санта-Фе. Теперь же там, разумеется, были только живописные пригородные коттеджи, окутанные унылой серой рассветной пеленой. Потом — Омаха, и — ей-богу! — первый увиденный мною ковбой, который шел вдоль мрачных стен оптовых мясных складов в десятигаллоновой шляпе и тexasских сапогах и, если не считать наряда, ничем не отличался от любого потрепанного

типа с Востока, где над такими же кирпичными стенами встает то же самое солнце. Мы вышли из автобуса и поднялись на самую вершину холма, пологого холма, тысячелетиями формировавшегося на берегу величественной Миссури, близ которой выросла Омаха. Выбравшись в сельскую местность, мы остановились и принялись голосовать. На короткое расстояние нас подвез богатый скотовод в десятигаллоновой шляпе, который утверждал, что долина Платте по красоте ничуть не уступает долине Нила в Египте, и едва он это сказал, как я увидел вдали вереницу высоких деревьев, змеящуюся вдоль русла реки, и бескрайние зеленеющие поля по обоим берегам и готов был с ним согласиться. Потом, когда мы голосовали на другом перекрестке и небо начинало хмуриться, еще один ковбой, на этот раз шести футов ростом и в скромной полугаллоновой шляпе, подозвал нас и спросил, не умеем ли мы водить машину. Эдди, конечно, умел, и у него, в отличие от меня, были права. Ковбой перегонял в Монтану два автомобиля. В Гранд-Айленде его ждала жена, и он хотел, чтобы мы пригнали туда одну из машин, а уж там за руль сядет она. Оттуда он собирался на север, и дальше нам с ним было не по пути. Однако это все-таки значило добрых сто миль в глубь Небраски, и мы ухватились за это предложение. Эдди вел машину один, мы с ковбоем ехали сзади, и не успели мы выбраться из города, как Эдди от избытка чувств принялся выжимать не меньше девяноста миль в час.

— Будь я проклят, что он делает! — заорал ковбой, бросившись в погоню.

Это начинало походить на гонки. В какой-то момент я решил, что Эдди хочет улизнуть вместе с машиной — и как знать, может, именно это он и собирался сделать. Но ковбой его не отпустил, он поравнялся с его машиной и дал гудок. Эдди сбавил скорость. Ковбой просигналил ему остановиться.

— Черт возьми, приятель, на такой скорости недолго превратиться в лепешку. Нельзя ли немного помедленней?

— Да черт меня подери, неужто я и впрямь выдал девяносто? — спросил Эдди. — На такой ровной дороге я и не заметил.

— Ты не слишком-то усердствуй, может, мы тогда и доберемся до Гранд-Айленда целехонькими.

— Ясное дело.

И мы вновь тронулись в путь. Эдди присмирел, а может быть, даже захотел спать. Так мы проехали сотню миль по Небраске, следуя вдоль извилистой Платте с ее зеленеющими полями.

— Во времена депрессии, — сказал мне ковбой, — я чуть ли не каждый месяц вскакивал на ходу в товарный поезд. В те дни люди сотнями набивались на грузовую платформу или в товарный вагон, это были не просто бродяги — кого там только не было, и все потеряли работу, все кочевали с места на место, а кое-кто и вовсе блуждал по свету без всякой цели. И так по всему Западу. В те времена тормозные кондуктора никого не трогали. Не знаю, как сейчас. Да и что проку в этой Небраске? Тогда, в середине тридцатых, это место было сплошным облаком пыли — куда ни глянь, всюду пыль. Нечем было дышать. Земля почернела. Пускай вернут Небраску индейцам, я не возражаю. Для меня это самое ненавистное место в мире. Теперь мой дом Монтана — Миссула. Приезжай как-нибудь, увидишь райский уголок.

Ближе к вечеру, когда он устал говорить, я заснул. Он был хорошим рассказчиком.

В пути мы остановились перекусить. Ковбой направился отдать в ремонт запасную покрышку, а мы с Эдди устроились в ресторанчике с домашней кухней. И тут раздался громкий смех, самый чудесный смех на свете, и в ресторанчик в сопровождении целой компании вошел настоящий кондовый небраский фермер. В тот день его рокочущий хохот разносился по всей равнине, по всему серому миру равнин. И все смеялись вместе с ним. А ему все было нипочем, и к каждому он относился с крайним почтением. Ого, сказал я себе, послушай, как смеется этот парень! Это же Запад, вот я и на Западе. Он с шумом ворвался в ресторанчик, окликнул хозяйку по имени, и та испекла самый сладкий во всей Небраске вишневый пирог, от которого и мне достался кусок, увенчанный горкой сливочного мороженого.

— Сваргань-ка мне, хозяйюшка, чего-нибудь пошамать, пока я самого себя в сыром виде не слопал, а то и не натворил чего поглупее! — И он упал на табурет и зашелся своим «хау-хау-хау-хау!». — И брось туда немного бобов!

Сам дух Запада сидел рядом со мной. Я пожалел, что не знаю ничего о его грешной жизни, не знаю, чем же, черт возьми, он всю

жизнь занимается, кроме того что так вот хохочет и орет. «Э-э-эх!» — восторженно пропел я в душе, и тут вернулся ковбой, и мы отправились в Гранд-Айленд.

Добрались мы туда в мгновение ока. Ковбой заехал за женой и направился навстречу своей судьбе, а мы с Эдди вновь вышли на дорогу. Нас взяли к себе двое ребят — пастухи, сельские подростки в ветхой самодельной колыхаге — и высадили где-то по дороге, под морозящим дождем. Потом старик, который не произнес ни слова — и одному Богу известно, почему он нас подобрал, — довез нас до Шелтона. Там Эдди в отчаянии застыл на дороге напротив колоритной компании низкорослых, коренастых омахских индейцев, которым некуда было идти и нечего было делать. По ту сторону дороги, у железнодорожного полотна, стояла цистерна для воды с надписью «Шелтон».

— Черт меня подери, — изумленно произнес Эдди, — я ведь уже бывал в этом городишке! Это было много лет назад, во время войны, ночью, поздней ночью, когда все спали. Я вышел на платформу покурить — и вот те на! — мы попали прямо в никуда, темень хоть глаз выколи, я поднял голову и увидел надпись «Шелтон» на той же самой цистерне. Ехали мы к Тихому океану, все эти чертовы безмозглые бездельники храпели, а мы остановились всего на несколько минут — наверно, запастись топливом, а потом двинулись дальше. Черт меня подери, это же Шелтон! Я всегда ненавидел это место, с тех самых пор!

В Шелтоне мы и застряли. Как и в Давенпорте, Айова, все машины почему-то оказывались фермерскими, лишь время от времени попадались туристские автомобили, что еще хуже — со стариками за рулем и их женами, тычущими пальцем в достопримечательности или изучающими карту, а то и с недоверием оглядывающими все вокруг, откинувшись на сиденье.

Дождь усилился, и Эдди схватил насморк: одет он был очень легко. Я извлек из своего парусинового мешка шерстяную клетчатую рубаху, и он ее надел. Ему стало немного лучше. Зато простудился я. В какой-то покосившейся индейской лавчонке я купил пастилки от кашля. Потом я зашел в крошечную, тесную почтовую контору и отправил тетушке грошовую открытку. Мы вернулись на мрачную дорогу. И вновь она была прямо напротив нас, эта надпись «Шелтон»

на цистерне. Мимо пронесся «Рок-Айленд». Замелькали размытые черты пассажиров пульмановских вагонов. Поезд с воем унесся по равнинам туда, куда мы так вожделенно стремились. Хлынул настоящий ливень.

Остановив машину на левой стороне дороги, к нам направился долговязый человек в галлоновой шляпе. Он был похож на шерифа. Каждый из нас принялся наскоро сочинять свою небылицу. Он не спеша подошел.

— Вы, ребята, едете, чтобы куда-то добраться, или просто едете?

Мы не поняли его вопроса, а это был чертовски хороший вопрос.

— А что? — спросили мы.

— Просто я владею разъездных аттракционов, они сейчас стоят в нескольких милях отсюда по этой дороге, и мне нужны ребята, которые не прочь подзаработать. У меня есть концессия на рулетку и концессия на деревянные обручи — знаете, хочешь попытать счастья — попробуй набросить их на кукол. Захотите на меня работать — получите тридцать процентов выручки.

— А жилье и харчи?

— Койку получите, а еду нет. Есть придется в городе. Мы же переезжаем с места на место.

Мы задумались.

— Это хороший шанс, — сказал он и стал терпеливо дожидаться нашего решения.

Мы были ошарашены и не знали, что сказать. Что до меня, то я не желал связываться ни с какими аттракционами. Мне страшно хотелось поскорее добраться до своей денверской шайки.

— Даже и не знаю, — сказал я, — по правде говоря, я очень спешу, боюсь, у меня просто нет времени.

Эдди ответил то же самое, и тогда старик махнул рукой, ленивой походкой вернулся к машине и уехал. Только мы его и видели. Ненадолго это привело нас в веселое расположение духа, и мы принялись фантазировать, что бы из всего этого вышло. Мне представился темный пыльный вечер на равнинах, представилось, как бредут мимо небрасские семьи с их румяными детишками, которые с благоговением смотрят вокруг, и я понял, что мне было бы просто противно дурачить их всеми этими дешевыми балаганными трюками. Да еще и чертово колесо, крутящееся в двухмерной тьме, и — Боже

милостивый! — печальная музыка карусели, и надо немедленно ехать — а я сплю на мешковине в каком-нибудь золоченом фургоне.

Попутчиком Эдди оказался довольно рассеянным. Мимо нас прокатил странный ветхий драндулет, которым управлял старик. Сооружен он был, кажется, из алюминия и по форме напоминал ящик — без сомнения, это был трейлер, но невообразимый, шаткий самодельный небрасский трейлер. Старик, который ехал очень медленно, остановился. Мы бросились к нему, а он заявил, что может взять только одного. Эдди, ни слова не говоря, вскочил в машину, которая с грохотом неторопливо скрылась из виду. А моя шерстяная клетчатая рубашка так и осталась на нем. Что ж, увы и ах! — пришлось мне с ней распрощаться. В конце концов, дорожил я ею лишь из сентиментальных соображений. В нашем несчастном, Богом забытом Шелтоне я прождал целую вечность — несколько часов, — и каждую минуту мне казалось, что вот-вот наступит ночь. На самом-то деле до вечера было еще далеко, просто день стоял пасмурный. Денвер, Денвер, как же мне добраться до Денвера? Оставив всякую надежду, я уже собрался было пойти куда-нибудь, посидеть и выпить кофе, как вдруг неподалеку остановилась совершенно новая машина с молодым парнем за рулем. Я рванулся с места как сумасшедший.

— Куда тебе ехать?

— В Денвер.

— Что ж, миль на сто могу подбросить.

— Это же грандиозно, ты спас мне жизнь!

— Я сам ездил на попутках и теперь всегда беру пассажиров.

— Будь у меня машина, я бы поступал точно так же.

Так мы поболтали, а потом он рассказал мне свою жизнь, которая оказалась не очень-то интересной, и я немного вздремнул, а проснулся вблизи Готенберга, городка, где парень меня и высадил.

И тут подъехала самая шикарная попутная машина в моей жизни — грузовик с прицепной платформой, на которой развалились шестеро или семеро парней, а водители, два молодых светловолосых фермера из Миннесоты, подбирали каждую одинокую душу, встреченную ими на этой дороге. О более улыбочивой, неунывающей парочке статных неотесанных парней не приходилось и мечтать. На обоих — хлопчатобумажные рубашки и комбинезоны, больше ничего; у обоих — сильные руки и широкие радушные улыбки для всех и каждого, кто попадетя в пути. Я подбежал, спросил: «Есть место?» Они ответили: «А как же, прыгай, места всем хватит».

Не успел я влезть на прицеп, как грузовик с ревом тронулся. Я пошатнулся, один из пассажиров меня подхватил, и я уселся. Кто-то передал мне бутылку с остатками дешевого виски. Обдуваемый первозданным, поэтичным, пропитанным изморозью ветерком Небраски, я сделал добрый глоток.

— Эге-гей, поберегись! — заорал парень в бейсболке, и ребята разогнали грузовик до семидесяти миль в час, обгоняя всех на своем пути.

— Эту чумовую колымагу мы оседлали еще в Де-Мойне. Ребята гонят без остановок. Вот и приходится то и дело орать, если уж вовсе не вмоготу, не то пришлось бы на ходу поливать, а держаться-то не за что, браток, не за что.

Я принялся разглядывать компанию. Два молодых фермера из Северной Дакоты в красных бейсболках — стандартном головном уборе фермеров Северной Дакоты. Они ехали зарабатывать на уборке урожая; старики на все лето отпустили их восвояси. Двое городских парней из Коламбуса, Огайо, футболисты школьной команды. Они жевали резинку, перемигивались и распевали песни на ветру. По их словам, за лето они собирались объездить автостопом всю страну.

— Мы едем в Лос-Анджелес! — крикнули они.

— Что вы там будете делать?

— Черт возьми, понятия не имеем! Какая разница?

Был там и высокий, худой малый с хитринкой во взгляде.



— Откуда ты? — спросил я.

На платформе мы лежали рядом. Бортов не было, и сесть без риска вылететь наружу было невозможно. Он медленно повернулся ко мне, раскрыл рот и произнес:

— Монта-на.

И наконец — Миссисипи Джин со своим подопечным. Миссисипи Джин был смуглым пареньком, ездившим по стране на товарных поездах, — тридцатилетний бродяга, однако с внешностью юноши, поэтому возраст его определить было невозможно. Поджав ноги по-турецки, он сидел на досках платформы, обзревал окрестные поля, не произнося ни слова на протяжении сотен миль, а в одно прекрасное мгновение повернулся наконец ко мне и спросил.

— А ты куда собрался?

Я сказал — в Денвер.

— У меня там сестра, вот только я уж позабыл, когда и видел-то ее в последний раз.

Речь его была мелодична и нетороплива. Он был исполнен смирения. Его подопечный, высокий шестнадцатилетний блондин, тоже был одет в выдавшие виды лохмотья. Другими словами, на обоих была потрепанная одежда, почерневшая от сажи железных дорог, грязи товарных вагонов и ночевок на голой земле. Светловолосого малыша тоже не было слышно. Похоже, ему грозила какая-то опасность, и, судя по тому, как он, облизывая губы, смотрел прямо перед собой, словно терзаемый тревожными снами, он был не в ладах с законом. Изредка с ними, ехидно улыбаясь, вкрадчиво заговаривал Долговязый Монтанец. Они даже не смотрели в его сторону. Долговязый был сама въедливость. Мне становилось не по себе от застывшей на его лице туповатой ухмылки, с которой он смотрел каждому в глаза и от которой выглядел полоумным.

— У тебя есть деньги? — спросил он меня.

— Черта с два! Разве что на пинту виски, чтоб дотянуть до Денвера. А у тебя?

— Я-то знаю, где можно пожить.

— Где?

— Да где угодно. В темном переулке всегда можно кого-нибудь облапошить, разве не так?

— В общем-то да.

— Когда мне и впрямь нужны деньжата, я такими делами не брезгую. Еду в Монтану повидать отца. В Шайенне придется слезать с этой телеги и двигать дальше другой дорогой. Эти чокнутые едут в Лос-Анджелес.

— Прямиком?

— Без пересадок. Если и ты туда же, считай, тебе повезло.

Я обмозговал ситуацию. Одна мысль о том, чтобы за ночь проскочить Небраску и Вайоминг, утром оказаться в пустыне Юта, а днем наверняка в пустыне Невада, да к тому же так скоро попасть в Лос-Анджелес, едва не заставила меня изменить планы. Но мне надо было в Денвер. В Шайенне мне тоже придется слезать и в Денвер добираться на попутках — еще девяносто миль на юг.

Я обрадовался, когда в Норт-Платте миннесотские фермеры — владельцы грузовика — решили остановиться перекусить. Мне хотелось на них взглянуть. Они вылезли из кабины и заулыбались всем нам.

— Оправка! — объявил один.

— Пора поесть! — сказал другой.

Но из всей компании только у них и были деньги на еду. Мы поплелись за ними в ресторанчик, которым заправляла целая женская команда, и там расселись, взяв кофе и гамбургеры, а водители наши принялись опустошать наполненные до краев тарелки, да с таким аппетитом, словно их уже вновь потчевала на кухне мамаша. Они были братьями. Перевозя фермерское оборудование из Лос-Анджелеса в Миннесоту, они неплохо на этом зарабатывали. Вот и подбирали они каждого встречного, возвращаясь порожняком на Побережье. Совершив уже пяток таких рейсов, они прекрасно себя чувствовали. Они просто наслаждались жизнью и непрестанно улыбались. Я попробовал с ними заговорить — нечто вроде дурацкой попытки подружиться с капитанами нашего корабля, — и единственным ответом мне были две ослепительные улыбки, обнажившие крупные белые, возвращенные на кукурузе зубы.

В ресторанчик с ними пошли все, кроме двух бродяг — Джина и его парнишки. Когда мы вернулись, они все так же сидели в кузове, всеми покинутые и несчастные. Смеркалось. Водители устроили перекур. Я с радостью ухватился за возможность сбегать за бутылкой

виски, которая не даст замерзнуть на порывистом, холодном ночном ветру. Когда я им об этом сказал, они заулыбались:

— Давай, только поторопись.

— И вам пара плотков достанется, — заверил я.

— Нет-нет, мы не пьем. Давай беги.

В поисках винной лавки вместе со мной по улицам Норт-Платте бродили Долговязый Монтанец и два школьника. Каждый из них добавил немного денег, и я купил бутылку. У зданий с декоративными фасадами стояли, наблюдая за нами, высокие угрюмые мужчины. Главная улица была застроена домами-коробками. Вдали, там, куда не доходила ни одна из этих унылых улиц, взору открывались необъятные равнины. В воздухе Норт-Платте я чувствовал что-то особенное, а что — не знал. Понял я минут через пять. Вновь забравшись в грузовик, мы помчались дальше. Быстро темнело. Все сделали по плотку, и вдруг я увидел, как начали исчезать зеленеющие фермерские поля долины Платте, а вместо них, так далеко, что не видать ни конца ни края, протянулась плоская песчаная пустошь, поросшая полынью. Я был поражен.

— Какого черта, что это? — крикнул я Долговязому.

— Степи начались, приятель. Дай-ка мне еще выпить.

— Ого-го-го! — орали школьники. — Пока, Коламбус! Вот бы сюда Спарки с ребятами, то-то подивились бы! Эге-е-ей!

Сменился за рулем водитель. Отдохнувший братец выжимал предельную скорость. Стала другой и дорога: посередине появились ухабы, а вдоль пологих обочин — канавы фута в четыре глубины, так что грузовик принялся подпрыгивать и вилять от обочины к обочине — чудесным образом в такие моменты навстречу не попадалось ни одной машины, — а я решил, что всем нам предстоит сделать сальто. Однако водителями братья оказались потрясающими. Ах как расправлялся грузовик с небрасским бугром — бугром, который выпирает над Колорадо! И вскоре до меня дошло, что я наконец-то и в самом деле над Колорадо и, хотя формально еще туда не въехал, уже ищу взглядом Денвер, что всего в нескольких сотнях миль к юго-западу. Я испустил вопль восторга. Мы передавали друг другу бутылку. Засияли яркие звезды, растаяли вдали оставшиеся позади холмы. Я чувствовал себя стрелой на туго натянутой тетиве.

И тут Миссисипи Джин спустился вдруг с заоблачной выси своих смиренных грез на землю, повернулся ко мне, наклонился поближе и заговорил:

— В этих равнинах есть что-то от Техаса.

— Ты из Техаса?

— Ист, сэр, я из Гринвелла, Мазз-сиппи. — Именно так он и сказал.

— А малыш откуда?

— В Миссисипи он попал в беду, вот я и решил помочь ему выкарабкаться. Парень ведь один еще никуда не ездил. Я приглядываю за ним как могу, он ведь еще совсем ребенок.

Хотя Джин был белым, в нем чувствовалось что-то от мудрого усталого старого негра. И еще он чем-то напоминал Элмера Хассела, нью-йоркского наркомана, только Хассела железных дорог, Хассела-путешественника, дважды в год пускающегося в свою одиссею через всю страну — зимой на юг, летом на север, и все лишь потому, что нет ему нигде пристанища, нет такого места, которое бы ему не надоело, и еще потому, что некуда ехать, кроме как куда угодно, лишь бы катить вперед под звездами, и почти всегда — под звездами Запада.

— Я пару раз был в Огдене. Если хочешь, поедем в Огден, там у меня друзья, у которых можно зарыться.

— Из Шайенна я еду в Денвер.

— Черт возьми, да ты уже почти приехал! Не каждый день такие попутные машины попадают.

Еще одно заманчивое предложение. Что там, в Огдене?

— Что это за Огден? — спросил я.

— Через это местечко едут почти все ребята, они всегда там собираются. Кого там только не встретишь!

В свое время я плавал на одном корабле с высоким костлявым малым из Луизианы по прозвищу Тощий Хазард, а по имени Уильям Холмс Хазард, бродягой по убеждению. Ребенком он увидел, как бродяга выпрашивает у его матери кусок пирога, который она ему и дала, а когда бродяга снова пустился в путь, мальчик спросил: «Кто этот парень, ма?» — «Да это же бродяга!» — «Ма, я хочу стать бродягой». — «Заткнись, Хазардам такое не пристало». Но тот день он так и не забыл и, когда вырос, отыграл какое-то время в футбол в студенческой лиге, а потом и в самом деле сделался бродягой. Мы с

Тощим ночи напролет рассказывали друг другу истории, сплевывая в бумажные пакеты пережеванный табак. Что-то в поведении Миссисипи Джина так напоминало мне Тощего Хазарда, что я спросил:

— Тебе случайно не попался парень по прозвищу Тощий Хазард?

И он ответил:

— Это не тот длинный, что громко смеется?

— Да, похоже, это он. Он из Растона, Луизиана.

— Точно. Иногда его зовут Долговязый Луизианец. Дассэр, Тощего я наверняка знаю.

— Он еще работал на нефтяных месторождениях в Восточном Техасе.

— Верно, в Восточном Техасе. А теперь он погонщик скота.

И это была чистая правда; а все-таки мне не верилось, что Джин и впрямь знает Тощего, которого я разыскивал уже несколько лет.

— А на буксирах в Нью-Йорке он не работал?

— Ну, насчет этого я ничего не знаю.

— Наверное, ты знал его только по Западу.

— Скорей всего. Я никогда не был в Нью-Йорке.

— Да, черт подери, просто поразительно, что ты его знаешь. Страна-то большая. И все же я был уверен, что ты должен его знать.

— Дассэр, Тощего я знаю неплохо. Когда у него есть деньги, он на них не скупится. А нрав у него крутой. Я видел, как в Шайенне, на станции, он одним ударом нокаутировал полицейского.

Похоже, это действительно был Тощий: он постоянно молотил кулаками воздух, тренируя этот свой удар. Он был похож на Джека Демпси, разве что на молодого Джека Демпси, который вдобавок пьет.

— Черт возьми! — крикнул я ветру и сделал еще один плоток. Теперь я чувствовал себя вполне прилично.

Порывистый ветер, набросившийся на открытый грузовик, начисто лишал каждый плоток его дурного действия, а польза благополучно оседала в желудке.

— Шайенн, я еду! — пропел я. — Жди меня в гости, Денвер!

Долговязый Монтанец повернулся ко мне, показал пальцем на мои башмаки и заметил:

— Думаешь, если зарыть их в землю, что-нибудь вырастет?

При этом он даже не улыбнулся, а остальные услышали и рассмеялись. Да, это были самые нелепые башмаки в Америке. Надел я их плавным образом для того, чтобы не потели ноги на раскаленных дорогах, и, если не считать дождя на Медвежьей горе, они оказались незаменимыми в путешествии. Поэтому я рассмеялся вместе со всеми. Теперь-то башмаки уже порядком поистрепались, во все стороны торчали лоскуты цветной кожи, напоминавшие ломтики свежего ананаса, и пальцы вылезали наружу. Смеясь, мы сделали еще по плотку. Как во сне летели мы сквозь неожиданно возникавшие в темноте маленькие городки на пересечении дорог, минуя в ночи длинные вереницы шатающихся без дела сборщиков урожая и ковбоев. Повернувшись в нашу сторону, они провожали нас взглядом, и мы видели, как в удаляющейся тьме другого конца городка они колотят себя от смеха по ляжкам — компания наша и впрямь выглядела презабавно.

В это время года в округе было полно народу — начался сезон сбора урожая. Ребята из Дакоты заерзали.

— По-моему, на следующей стоянке надо выйти. Похоже, работа в этих местах найдется.

— Главное — когда закончите здесь, двигайте на север, — порекомендовал Долговязый Монтанец, — и догоняйте себе урожай, пока не доберетесь до Канады.

Ребята рассеянно кивнули; они не очень-то нуждались в его советах.

Все это время юный светловолосый беглец сидел не меняя позы. Изредка Джин, воспаривший в своем буддийском трансе над стремительно проносящимися мимо равнинами, опускался на землю и что-то нежно шептал мальчику на ухо. Тот кивал. Джин заботился о нем и пытался умерить его капризы и страхи. Мне хотелось знать, куда они едут и какого черта собираются делать. У них не было сигарет. Я угощал их, пока не кончилась пачка, — так они пришлись мне по душе. Они благодарно мне улыбались, но сами не попросили ни разу — предлагал я. У Долговязого Монтанца тоже были сигареты, но он так и не протянул им свою пачку. Мы пронеслись мимо еще одного придорожного городка, миновали еще одну группу рослых, худощавых, одетых в джинсы парней, теснившихся в тусклом свете фонарей, словно мотыльки в пустыне, и вновь оказались в крошечной

тьме, а звезды над головой были чистыми и яркими, потому что воздух становился все более разреженным по мере того, как мы все выше поднимались на западное плато, а поднимались мы, как я слышал, с каждой милей на фут, и ни одно дерево нигде не заслоняло низких звезд. А однажды у самой дороги я мельком увидел в зарослях шалфея унылую беломордую корову. Мы ехали словно на поезде — так же равномерно и так же прямо.

Вскоре мы подъехали к очередному городку, сбавили скорость, и Долговязый Монтанец сказал: «Ага, стоянка», — однако миннесотцы не остановились, они миновали и этот городок.

— Черт подери, мне надо выйти, — сказал Долговязый.

— Давай на ходу, — посоветовал ему кто-то.

— Что ж, придется, — ответил он и под нашими взглядами начал медленно, осторожно продвигаться на боку к заднему краю платформы, изо всех сил стараясь удержаться. Наконец он свесил ноги наружу.

Кто-то постучал в окошко кабины, чтобы привлечь ко всему этому внимание братьев. Те обернулись, и их сияющие улыбки погасли. И едва Долговязый приготовился справить нужду, что было и без того небезопасно, они на скорости семьдесят миль в час пустили грузовик зигзагами. На мгновение Долговязый повалился на спину, и мы увидели в воздухе китовый фонтан. С превеликим трудом ему снова удалось сесть. Тогда братья резко вывернули грузовик. Бац! — он свалился на бок, поливая себя с ног до головы. Сквозь страшный грохот до нас доносилась его ругань — такая слабая, что, казалось, кто-то хнычет далеко за холмами. «Проклятье... проклятье...» — Он так и не понял, что мы все подстроили: он лишь боролся за существование, нестигаемый, как Иов. Закончив наконец, он вымок до нитки, и теперь ему предстоял обратный путь по трясущейся платформе, и он пустился в этот путь с самым удрученным видом, а все, кроме печального светловолосого мальчика, заливались смехом, хохотали и миннесотцы в кабине. В качестве компенсации за страдания я протянул ему бутылку.

— Что за черт, — сказал он, — они что, нарочно?

— Наверняка.

— Вот дьявольщина, как я сразу не понял! Ведь еще в Небраске я делал то же самое, и тогда все было куда как проще!

Неожиданно мы оказались в городке Огаллала, и тут миннесотцы с неподдельным торжеством объявили из кабины: «Стоянка! Можно *облегчиться!*» Долговязый, скорбя по упущенной возможности, понуро стоял возле грузовика. Ребята из Дакоты распрощались со всеми, рассчитывая именно отсюда начать сбор урожая. Мы смотрели, как они удаляются в ночь, в сторону лачуг на окраине городка, где, как сказал ночной сторож в джинсах, находится бюро по найму. Мне надо было купить сигареты. Желая размять ноги, со мной пошли Джин с Блондином. Я попал в самое неподходящее заведение — типичный для равнин унылый буфет с газировкой для местных подростков. Некоторые из них танцевали под музыкальный автомат. Когда мы вошли, наступило временное затишье. Джин с Блондином стояли ни на кого не глядя: кроме сигарет, им ничего не было нужно. Среди подростков были и хорошенькие девочки. И одна из них начала строить Блондину глазки, а тот так ничего и не заметил, да если бы и заметил, его бы это не тронуло — так он был потерян и грустен.

Я купил каждому по пачке. Они меня поблагодарили. Грузовик был готов ехать. Приближалась полночь, холодало. Джин, который ездил по стране столько раз, что не сосчитать на пальцах рук и ног, сказал, что сейчас, чтобы не замерзнуть, нам лучше всего потеснее прижаться друг к другу и накрыться брезентом. Таким вот способом, да еще с помощью того, что оставалось в бутылке, мы и согревались, когда ветер стал ледяным и засвистел у нас в ушах. Чем выше мы поднимались на Высокие Равнины, тем ярче казались звезды. Мы были уже в Вайоминге. Лежа на спине, я смотрел на величественный небосвод, упивался быстрой ездой и торжествовал оттого, что нахожусь так далеко от унылой Медвежьей горы. И еще я трепетал от возбуждения при мысли о том, что впереди Денвер — что бы там меня ни ждало. А Миссисипи Джин затянул песню. Он пел с южным акцентом, тихо и протяжно, и песня его была простой: «Моей милой лет шестнадцать, красивей ее не сыщешь». Повторяя эти слова, он вставлял и другие, о том, как он далеко, и как хотел бы к ней вернуться, и как все-таки ее потерял.

— Джин, это замечательная песня, — сказал я.

— Моя любимая, — ответил он с улыбкой.

— Надеюсь, ты доберешься туда, куда едешь, а там будешь счастлив.



— Как-нибудь не пропаду, мне всегда везет.

Долговязый Монтанец спал. Проснувшись, он обратился ко мне:

— Эй, Чернявый, как насчет того, чтобы вечерком вместе прошвырнуться по Шайенну, а уж потом отправишься в свой Денвер?

— Заметано! — Я был уже достаточно пьян, чтобы согласиться на что угодно.

Когда грузовик достиг окраины Шайенна, мы увидели наверху красные огоньки местной радиостанции, а потом неожиданно очутились среди снующей на тротуарах многочисленной толпы.

— Вот дьявольщина, это же Неделя Дикого Запада! — сказал Долговязый.

Толпы коммерсантов — толстых коммерсантов в сапогах и десятигаллоновых шляпах, со своими дюжими женами в нарядах девиц-ковбоев, с радостным гиком сновали по деревянным тротуарам старого Шайенна. Вдали протянулись огни проспектов нового делового района, но празднество сосредоточилось в Старом городе. Палили холостыми патронами. В переполненные салуны невозможно было войти. Я был поражен и одновременно чувствовал нелепость происходящего: не успел я попасть на Запад, как увидел, до какого абсурда он дошел в попытке сохранить свои благородные традиции. Нам пришлось спрыгнуть с грузовика и распрощаться. Миннесотцам ни к чему было там околачиваться. Грустно было смотреть, как они отъезжают, и я понял, что больше никого из них не увижу, но так уж вышло.

— Ночью вы отморозите задницы, — предупредил я их, — а завтра днем зажарите их в пустыне.

— Ну, если уж мы выкарабкаемся этой холодной ночью, остальное не страшно, — сказал Джин. И грузовик тронулся, осторожно пробираясь сквозь толпу, и никто не обращал внимания на странных ребят, завернувшихся в брезент и плазевших на город, словно укутанные одеялом грудные детишки. Я смотрел им вслед, пока они не исчезли в ночи.

Со мной остался Долговязый Монтанец, и мы с ним пустились в поход по барам. У меня было долларов семь, пять из которых я той ночью безрассудно промотал. Поначалу мы вместе со всеми этими псевдоковбоями — туристами, нефтепромышленниками и скотоводами — крутились у стоек, в дверях баров и на тротуаре. Потом я некоторое время тряс на улице Долговязого, которого от выпитого виски и пива начало слегка пошатывать — он был тот еще пьяница. Глаза его остекленели, и через минуту он уже что-то доказывал совершенно незнакомому человеку. Я зашел в мексиканскую забегаловку; прислуживавшая там мексиканка оказалась настоящей красавицей. Поев, я написал ей на обороте счета любовную записку. В закуской никого не было; все находились там, где можно было выпить. Я попросил официантку перевернуть счет. Она прочла и рассмеялась. Там было небольшое стихотворение о том, как бы я хотел пойти вместе с ней полюбоваться ночным весельем.

— С удовольствием, чикито, но я уже условилась со своим парнем.

— А нельзя ли от него избавиться?

— Нет-нет, нельзя, — сказала она грустно, и я влюбился в то, как она это сказала.

— Я как-нибудь еще зайду, — сказал я. А она ответила:

— В любое время, малыш.

Но я все не уходил, я взял еще кофе и смотрел на нее. Вошел ее парень и с мрачным видом пожелал узнать, когда она освободится. Она принялась суетиться, чтобы побыстрее закрыть заведение. Мне пришлось выметаться. На прощанье я улыбнулся ей. Снаружи все бурлило, как прежде, разве что пузатые пердуны стали пьянее, а восторженное гиканье — громче. Зрелище было довольно странное. В толпе, среди раскрасневшихся пьяных рож, с важным видом бродили индейские вожди с громадными украшениями в волосах. Я увидел ковыляющего куда-то Долговязого и подошел к нему.

— Я только что написал открытку папаше в Монтану. Как по-твоему, сможешь ты отыскать почтовый ящик и бросить ее? —

произнес он.

Необычная была просьба. Он отдал мне открытку и, пошатываясь, одолел двустворчатые двери салуна. По дороге к ящику я пробежал открытку глазами. «Дорогой папаша, я буду в среду. У меня все в порядке, и надеюсь, у тебя тоже. Ричард». Это изменило мое представление о Долговязом; к отцу он относился с нежной учтивостью. Я вошел в бар и подсел к Долговязому. Мы сняли двух девиц — юную хорошенькую блондинку и толстую брюнетку. Обе были неразговорчивы и угрюмы, и все-таки нам хотелось ими заняться. Мы привели их в покосившийся ночной ресторанчик, который уже закрывался, и там я потратил все, кроме последних двух долларов, на шотландское виски для них и пиво для нас. Я пьянел, ни о чем не задумываясь; все было прекрасно. Все мое существо, вся воля были устремлены на маленькую блондинку. Чего только я не делал, чтобы ее расшевелить! Я сжимал ее в объятиях и пытался что-то рассказать. Ночной ресторанчик закрылся, и все мы вывалились на кривые пыльные улочки. Я взглянул на небо: там все еще сияли чудесные чистые звезды. Девицам надо было на автобусную станцию, и мы пошли с ними, но оказалось, что там их ждет какой-то моряк — двоюродный брат толстушки, а с моряком еще и приятели. Я спросил блондинку: «В чем дело?» Она ответила, что хочет домой, в Колорадо, что живет у самой границы, к югу от Шайенна.

— Я поеду с тобой на автобусе, — сказал я.

— Автобус-то останавливается на шоссе, и мне приходится совсем одной шагать по этим чертовым прериям. Я и так целыми днями люблюсь этими прериями треклятыми, и мне вовсе не улыбается еще и ночью по ним ходить.

— Эй, послушай, это же здорово, мы с тобой прогуляемся среди цветов прерий!

— Нет там никаких цветов, — сказала она. — Я хочу уехать в Нью-Йорк. Мне это все осточертело. Кроме как в Шайенн, некуда податься, да и в Шайенне ничего нет.

— И в Нью-Йорке тоже.

— Черта с два! В Нью-Йорке-то! — сказала она с усмешкой.

Автобусная станция была набита битком. Кого там только не было! Одни ждали автобусов, другие просто болтались без дела. Были в этой толпе и индейцы, которые оценивали происходящее своим

неподвижным взглядом. Девиде наскучила моя болтовня, и она отошла к моряку с его компанией. Долговязый клевал носом на скамейке. Я сел. Полы всех автобусных станций страны одинаковы — они усыпаны окурками, заплеваны, они навевают ту особую грусть, какую чувствуешь только на автобусных станциях. На минуту мне почудилось, что я в Ньюарке, разве что снаружи была та величественная беспредельность, которую я так полюбил. Я сожалел о том, что нарушил чистоту путешествия, о том, что так безрассудно промотал деньги, оставив лишь жалкие гроши, да к тому же попусту терял время, волочаясь за этой угрюмой девиде. Меня одолевала досада. Однако я давно не ночевал в помещении и слишком устал, чтобы ругаться и волноваться по пустякам, и поэтому стал пристраиваться спать. Свернувшись калачиком на сиденье, я подложил под голову свой парусиновый мешок и под убаюкивающее бормотание и галдеж автовокзала, среди сотен спящих мимо людей, проспал до восьми утра.

Проснулся я с сильной головной болью. Долговязый исчез — наверно, уехал в Монтану. Я вышел наружу. И там, в лазурном воздухе, я в первый раз увидел вдальке громадные заснеженные вершины Скалистых гор. Я глубоко вздохнул. Мне немедленно надо было в Денвер. Первым делом я позавтракал, весьма скромно — тост, кофе и яйцо, а потом пустился наутек из города, стремясь скорее попасть на шоссе. Праздник Дикого Запада все продолжался: шло родео, с минуты на минуту должны были возобновиться прыжки и гиканье. Но для меня все это было уже позади. Мне хотелось повидать свою денверскую шайку. Перейдя по мостику железную дорогу, я добрался до скопления лачуг у развилки двух шоссе — оба вели в Денвер. Выбрав ближайшее к горам, чтобы как следует их разглядеть, я принялся голосовать в этом направлении. Меня сразу же подобрал молодой парень из Коннектикута, который ездил на своей колымаге по стране и рисовал с натуры. Он был сыном издателя с Востока. Болтал он без умолку. От выпитого и от высоты меня тошнило. Один раз мне едва не пришлось высунуться в окошко. Но еще до того, как он высадил меня в Лонгмонте, Колорадо, я вновь почувствовал себя нормально и даже принялся рассказывать ему о своих собственных путешествиях. Он пожелал мне удачи.

В Лонгмонте было просто чудесно. Под громадным старым деревом я углядел ухоженный зеленый газончик, принадлежавший бензоколонке, и попросил у служителя разрешения там вздремнуть. Возражений не последовало, и я расстелил шерстяную рубашку, улегся на нее ничком, выставив наружу локоть и, на мгновение увидав одним глазом согретые жаркими лучами солнца заснеженные Скалистые горы, провалился в сон. Чудеснейшим образом я проспал два часа, разве что изредка меня беспокоили колорадские муравьи. Вот я и в Колорадо! Я ликовал. Черт подери! Черт подери! Черт подери! Я почти у цели! И после освежающего сна, заполненного беспорядочными образами из прошедшей моей жизни на Востоке, я встал, умылся в туалете бензоколонки и в прекрасном расположении духа зашагал прочь. В придорожной закуской я немного охладил свой разгоряченный, измученный желудок стаканом густого жирного молочного коктейля.

Между прочим, сливки мне сбивала очаровательная колорадская девица. К тому же она непрерывно улыбалась. Я был благодарен ей, это было неплохой компенсацией за прошлую ночь. «Ого! — сказал я себе. — То ли еще будет в Денвере!» Не успел я выйти на раскаленную дорогу, как тут же умчался на новеньком автомобиле, за рулем которого сидел денверский коммерсант лет тридцати пяти. Он ехал со скоростью семьдесят. Все во мне трепетало от нетерпения, я считал минуты и вычитал пройденные мили. Скоро впереди, там, где колышутся пшеничные поля, золотящиеся под далекими снегами Истеза, я увижу наконец старый Денвер. Я представил себе, как уже вечером буду сидеть в денверском баре вместе со всей шайкой, и в их глазах я буду выглядеть чудаковатым оборванцем, и они примут меня за пророка, пересекшего пешком всю страну, чтобы принести им тайное Слово, а единственное Слово, которым я обладал, было «ура!». Мы с водителем вели долгий душевный разговор о жизненных планах друг друга, и, прежде чем до меня это дошло, мы уже ехали мимо оптовых фруктовых рынков на окраине Денвера. Появились дымовые трубы, копоть, сортировочные станции, дома красного кирпича, а в отдалении — здания деловой части города из серого камня. Вот я и в Денвере. Мой спутник высадил меня на Лаример-стрит. И с радостной, а вместе с тем и ехиднейшей улыбочкой на лице

я поковылял мимо старых бродяг и потрепанных ковбоев Лаример-стрит.

Дина в те времена я знал еще не так хорошо, как теперь, и, решив первым делом заглянуть к Чеду Кингу, занялся его розысками. Я позвонил ему домой, трубку сняла его мать: «Сал, ты? Как ты оказался в Денвере?» Чед — стройный блондин с лицом экзотического шамана, вполне соответствующим его увлечению антропологией и доисторическими индейцами. Под вьющимися золотистыми волосами торчит его слегка крючковатый, почти кремового цвета нос. Он привлекает грациозностью западного сорвиголова, из тех, что отплясывают в придорожных трактирах и изредка поигрывают в футбол. Говорит он дрожащим голосом: «Что мне всегда нравилось в индейцах Равнин, Сал, так это то, как они конфузятся, похвастав числом добытых скальпов. В „Жизни на Дальнем Западе“ Ракстона один индеец сгорает со стыда за то, что снял такую уйму скальпов, сломя голову удирает в глубь равнин и только там, в уединении, упивается своими подвигами. Просто умора, черт побери!»

Мать разыскала Чеда в местном музее, где в сонный денверский полдень он углублял свои познания в плетении индейских корзин. Туда я ему и позвонил. Явившись, он посадил меня в свой старенький двухместный «фордик», на котором обычно ездил в горы раскапывать индейскую утварь. В здание автовокзала он вошел в джинсах, сияя широкой улыбкой. А я, усевшись на свой брошенный на пол мешок рядом с тем самым моряком, которого видел еще на автобусной станции в Шайенне, пытался расспросить его про блондинку и так ему надоел, что он ни разу не потрудился ответить. Мы с Чедом забрались в «фордик», и оказалось, что первым делом ему надо взять в Законодательном собрании штата какие-то карты. Потом он должен был заехать к старому школьному учителю и все такое прочее, мне же хотелось только одного — пива. Вдобавок в голове у меня свербила мыслишка о Дине: где-то он теперь и что подделывает? Чед по неизвестной причине решил порвать с Дином и даже не знал, где тот живет.

— А Карло Маркс в городе?

— Да.

Но и с ним Чед больше не общался. Тогда-то Чед Кинг и начал отходить от нашей старой компании. Днем мне еще предстояло вздремнуть у него дома. А вообще-то Тим Грэй приготовил для меня на Колфакс-авеню квартиру, где уже ждал меня поселившийся там Роланд Мейджор. В воздухе пахло неким заговором, и заговор этот разбил компанию на две группировки: Чед Кинг, Тим Грэй и Роланд Мейджор, а заодно и Роулинсы приняли решение игнорировать Дина Мориарти и Карло Маркса. Я явился в Денвер в самый разгар этой увлекательной войны.

Война эта имела социальную подоплеку. Дин был сыном пропойцы, одного из самых пропащих бродяг Лаример-стрит, да и сам он, в общем-то, рос или на Лаример-стрит, или где-то неподалеку. Уже в шестилетнем возрасте он частенько выступал в суде, призывая освободить отца. Близ ларимерских трущоб он просил подаяние, а деньги украдкой носил отцу, который в компании старого друга дожидался его среди битых бутылок. Когда Дин подрос, он начал ошиваться на Гленарм-стрит, там, где заключают пари на гонках. Он установил рекорд Денвера по угону автомобилей и попал в исправительное заведение. С одиннадцати до семнадцати лет из исправительных школ он почти не вылезал. Основное занятие его состояло в том, что он угонял машины, днем охотился за выходящими из школы девочками, вез их в горы и, вволю ими насладившись, возвращался назад, чтобы переночевать в первой попавшейся гостиничной ванне города. Его отец, некогда уважаемый, трудолюбивый жестянщик, сделался алкоголиком, он запил вино, что еще хуже, чем виски, и ему осталось лишь кататься на товарняках, зимой в Техас, а летом — обратно в Денвер. У Дина были братья со стороны покойной матери — она умерла, когда он был совсем маленьким, однако они его недолюбливали. Дружки у него были только на автодроме.

Дин, обладавший кипучей энергией новоявленного американского святого, и Карло стали в ту пору в Денвере, вместе с тотализаторной шайкой, настоящими чудовищами подполья, и, словно желая обзавестись подходящим символом такой жизни, Карло снял на Грант-стрит подвальную квартиру, где не одну ночь просидели мы все



вместе до рассвета — Карло, Дин, я, Том Снарк, Эд Данкел и Рой Джонсон. Эти последние присоединились к нам позднее.

В первый свой денверский день я улегся спать в комнате Чеда Кинга, в это время его мать трудилась внизу по хозяйству, а сам Чед работал в библиотеке. День был жаркий, типичный для высоких равнин июльский день. Если бы не изобретение отца Чеда Кинга, я бы ни за что не уснул. Отцу Чеда Кинга, добрейшей души человеку, было за семьдесят. Старый и немощный, длинный и худой, он неторопливо, с увлечением рассказывал разные истории, и истории неплохие — о своем детстве, проведенном на равнинах Северной Дакоты в восьмидесятые годы, о том, как он забавлялся, разъезжая верхом на неоседланных пони и гоняясь с дубинкой за койотами. Позже он стал сельским учителем где-то на северо-западе штата Оклахома, а в конце концов занялся в Денвере сбытом разнообразных механизмов и устройств. Он все еще владел старым кабинетом, расположенным на той же улице, над гаражом, и там все еще стояло шведское бюро, забитое бесчисленными пыльными документами, свидетельствами минувших треволнений и прибыльных дел. Так вот, он изобрел особый кондиционер: вделав в оконную раму обыкновенный вентилятор, он каким-то образом пропускал по змеевику перед вращающимися со свистом лопастями холодную воду. Результат превзошел все ожидания — в пределах четырех футов от вентилятора, — однако в знойный день вода, по-видимому, превращалась в пар, и на первом этаже было так же жарко, как обычно. Я же улегся под самим вентилятором, на кровать Чеда, и под пристальным взором массивного бюста Гёте с комфортом отошел ко сну, чтобы уже через двадцать минут проснуться, дрожа от холода. Я укрылся одеялом, но согреться не смог. Наконец ударил настоящий мороз, и мне стало не до сна. Я спустился вниз. Старик спросил, как действует его изобретение. Я сообщил ему, что действует оно чертовски здорово, и при этом почти не покривил душой. Старик мне понравился. Он был буквально напичкан воспоминаниями.

— Однажды я придумал пятновыводитель, и потом его стали делать крупные фирмы на Востоке. Вот уже несколько лет я пытаюсь получить свои проценты. Будь у меня деньги на приличного адвоката...

Однако нанимать приличного адвоката было поздно, и старик в подавленном настроении сидел дома. Вечером мы полакомились превосходным обедом, приготовленным матерью Чеда, — бифштексом из оленины. А оленя подстрелил в горах Чедов дядя. Но куда подевался Дин?

Следующие десять дней были, как сказал У. К. Филдз<sup>[4]</sup>, «чреватые возвышенной опасностью» — и безумны. Я переехал к Роланду Мейджору, в роскошные апартаменты, принадлежавшие родственникам Тима Грэя. У каждого из нас была там кухонька с едой в леднике, а также огромная гостиная, где сидел в своем шелковом халате, сочиняя новый рассказ в хемингуэвском духе, сам Мейджор — краснолицый пухлый коротышка, желчный ненавистник всего на свете, который, однако, стоило реальной жизни явить ему в ночи свою отрадную сторону, мог пустить в ход самую сердечную, самую обаятельную в мире улыбку. Вот так он и сидел за своим письменным столом, а я в одних брюках военного образца носился по толстому мягкому ковру. Мейджор только что закончил рассказ про парня, который впервые приезжает в Денвер. Зовут его Фил. Его спутник — таинственный молчаливый тип по имени Сэм. Фил идет побродить по Денверу, и всюду его выводят из себя эстетствующие дилетанты. Он возвращается в гостиницу и мрачно говорит: «Сэм, их и здесь полно». А Сэм глядит себе печально в окно и отвечает: «Да, я знаю». Вся суть в том, что Сэму и не надо было никуда ходить, чтобы это понять. Эстетствующие дилетанты заволокли Америку, они пьют ее кровь. Мы с Мейджором были большими друзьями; он считал, что я-то к эстетствующим дилетантам ровно никакого отношения не имею. Мейджор любил хорошие вина — так же как и Хемингуэй. То и дело он предавался воспоминаниям о своей недавней поездке во Францию.

— Ах, Сал, посидел бы ты со мной в горах страны басков за бутылочкой охлажденного «Поньон-дю-неф», вот тогда бы ты понял, что на свете, кроме твоих товарных вагонов, есть и еще кое-что.

— Знаю. Просто дело в том, что я люблю товарные вагоны, люблю читать написанные на них названия: «Миссури Пасифик», «Грейт Норден», «Рок-Айленд Лайн». Господи, Мейджор, рассказать бы тебе все, что со мной было, пока я сюда добирался!

Роулинсы жили в нескольких кварталах от нас. Это была очаровательная семья — довольно молодая мать, совладелица ветхой гостиницы в заброшенной части города, с пятью сыновьями и двумя

дочерьми. Сладу не было лишь с повесой Рэем Роулинсом, другом детства Тима Грэя. Рэй с шумом ворвался к нам, чтобы вытащить меня из дома, и мы сразу пришли друг другу по душе. Мы отправились в питейные заведения Колфакса. Одной из сестер Рэя была красивая блондинка по имени Бейб — куколка с Западного побережья, увлекающаяся теннисом и серфингом. Она была девушкой Тима Грэя. А Мейджор, который находился в Денвере всего лишь проездом и все-таки жил с истинным размахом, в апартаментах, всюду появлялся в обществе сестры Тима Грэя, Бетти. Только у меня не было девушки. Я расспрашивал всех и каждого, не знает ли кто, где Дин. И все только улыбались, отрицательно качая головой.

Потом это наконец произошло. Зазвонил телефон, и это был Карло Маркс. Он дал мне адрес своего подвала. Я спросил:

— Что ты делаешь в Денвере? То есть чем занимаешься? Что происходит?

— Ах, потерпи, я тебе все расскажу.

Я помчался к нему. Вечерами он работал в универмаге Мэя. Оказывается, чокнутый Рэй Роулинс позвонил туда из бара и заставил уборщиков срочно разыскать Карло и сообщить ему, что кто-то умер. Карло, недолго думая, решил, что умер именно я. А в трубке услышал голос Роулинса: «Сал в Денвере» — и получил мой адрес и телефон.

— А где Дин?

— Дин в Денвере. Сейчас расскажу.

И он рассказал мне о том, что Дин крутит любовь одновременно с двумя девицами — с Мерилу, своей первой женой, которая ждет его в гостиничном номере, и Камиллой, новой девушкой, которая тоже ждет его в гостиничном номере.

— В перерывах между ними он мчится ко мне заниматься нашим с ним нескончаемым делом.

— А что за дело?

— Мы с Дином вступили в грандиозный период. Мы пытаемся общаться друг с другом с абсолютной откровенностью, выкладывать все, что у каждого из нас в душе. Приходилось и бензедрин принимать. Сидим по-турецки на кровати, друг против друга. Я наконец-то внушил Дину, что он может все, что захочет, — стать мэром Денвера, мужем миллионерши, а то и величайшим поэтом со времен Рембо. Вот только он то и дело убегает на гонки

малолитражек. И я иду с ним. От возбуждения он прыгает и орет. Знаешь, Сал, Дин просто помешан на подобных вещах. — Марк хмыкнул и погрузился в задумчивость.

— Какое расписание? — спросил я. В жизни Дина всегда было расписание.

— Расписание такое: полчаса назад я вернулся с работы. Дин в это время потягивает в гостинице Мерилу, и у меня есть возможность переодеться. Ровно в час он несется от Мерилу к Камилле — разумеется, ни одна из них не догадывается о том, что происходит, — и ставит ей пистон, а я как раз успеваю подойти туда ровно в час тридцать. Потом мы вместе уходим — сперва ему приходится отпрашиваться у Камиллы, которая уже начинает меня ненавидеть, — приходим сюда и говорим до шести утра. Мы могли бы сидеть и подольше, но сейчас возникают жуткие сложности, ему просто не хватает времени. Потом, в шесть, он возвращается к Мерилу... А завтра ему предстоит весь день бегать за бумагами для их развода. Мерилу целиком за, но пока требует, чтобы он с ней спал. Она говорит, что любит его. Впрочем, и Камилла утверждает то же самое.

Потом он рассказал мне, как Дин познакомился с Камиллой. Рой Джонсон, завсегда с автодрома, увидел ее в баре и привел в гостиницу. Тщеславие одержало верх над здравым смыслом, и он решил показать ее всей честной компании. Все сидели и болтали с Камиллой. Лишь Дин молча смотрел в окно. Потом, когда все разошлись, Дин просто взглянул на Камиллу, постучал по запястью и поднял четыре пальца (это означало, что в четыре он вернется), а потом вышел. В три дверь закрылась за Роем Джонсоном. В четыре она открылась, чтобы впустить Дина. Мне захотелось немедленно повидать этого сумасброда. К тому же он и меня обещал обеспечить: в Денвере он знал всех девиц.

Денверской ночью мы с Карло шли по узеньким кривым улочкам. Воздух был таким теплым, звезды такими ясными и так много сулил каждый булыжный переулочек, что я решил: не иначе, мне все это снится. Мы добрались до мебелированных комнат, где Дин вершил свои дела с Камиллой. Это было ветхое здание красного кирпича, окруженное деревянными гаражами и старыми деревьями, верхушки которых виднелись над оградами. Мы поднялись по крытым ковром ступенькам. Карло постучал, потом он метнулся назад и спрятался за

моей спиной. Он не хотел, чтобы Камилла его увидела. Я стоял перед дверью. Ее открыл Дин, совершенно голый. Я увидел на кровати брюнетку, прелестную кремовую ляжку в черных кружевах, кроткий вопрошающий взгляд.

— Да ведь это Са-а-ал! — сказал Дин. — Как же... ах... хм... да, конечно, ты приехал... ах ты, старый сукин сын, наконец-то и ты снялся с места. Да, слушай... нам надо... да-да, сейчас... нам надо, очень надо! Слушай, Камилла... — Он бросился на нее и заключил в объятия. — Приехал Сал, старый приятель из Нью-Йор-р-ка, это его первая ночь в Денвере, и мне во что бы то ни стало нужно вывести его в люди и обеспечить девушкой.

— А когда ты вернешься?

— Сейчас, — взгляд на часы, — ровно час четырнадцать. Я вернусь ровно в три четырнадцать, и мы с тобой часок пофантазируем, это будут сладкие грезы, любимая, а потом, как ты знаешь, как я тебе уже говорил и как мы с тобой условились, я пойду насчет бумаг к одноному адвокату — именно ночью, хоть это и может показаться странным, но я ведь все тебе подробно объяснил. (Это было прикрытие для randevu с Карло, который все еще прятался.) Поэтому сейчас, в эту самую минуту, я должен одеться, натянуть штаны, вернуться к жизни, то есть к внешней жизни — улица там и прочее, мы же договорились, уже почти час *пятнадцать*, а время бежит, бежит...

— Ну ладно, Дин, только прошу тебя, обязательно возвращайся в три.

— Я же сказал, дорогая, и не забудь — не в три, а в три четырнадцать. Разве не чисты мы друг перед другом в прекраснейших, сокровенных тайниках души, любимая?

И он подошел к ней, чтобы ее расцеловать. На стене висел рисунок, сделанный Камиллой и изображавший обнаженного Дина — чудовищных размеров болт и всякое такое. Я остолбенел. Сплошное безумие.

Мы умчались в ночь. Карло догнал нас в переулке. И мы двинулись по самой узкой, самой чудной и самой кривой из всех виденных мною городских улочек, в сердце денверского мексиканского квартала. Мы громко переговаривались в тиши спящего города.

— Сал, — сказал Дин, — у меня есть девушка, которая ждет тебя в эту самую минуту — если только она не на работе. — (Взгляд на часы.) — Официантка, Рита Беттенкорт, бесподобная цыпочка, правда, немного помешана на кое-каких сексуальных несуразностях, которые я пытался устранить, а у тебя, по-моему, это как раз должно получиться, шельмец ты этакий. Пойдем прямо туда... Надо пивка захватить, хотя нет, у них должно быть свое, и... проклятье! — воскликнул он, шмякнув кулаком в ладонь. — Я просто обязан сегодня вплотную заняться ее сестрицей Мэри!

— Что? — возмутился Карло. — Я думал, мы будем разговаривать.

— Да-да, после.

— Ох уж эта денверская хандра! — завопил Карло в небеса.

— Ну разве он не самый славный, не самый обаятельный малый на свете?! — произнес Дин, ткнув меня в бок. — Посмотри на него. *Посмотри* на него!

А Карло пустился в свой обезьяний пляс на улицах жизни, в который так часто на моих глазах пускался в Нью-Йорке. Я только и мог, что сказать:

— Ну и какого черта мы торчим в Денвере?

— Завтра, Сал. Я знаю, где найти работу, — сказал Дин, переходя на деловой тон. — Так что, как только избавлюсь на часок от Мерилу, я забегу к тебе, напрямиком в твои апартаменты, поприветствую Мейджора и довезу тебя на трамвае (у меня нет машины, черт возьми!) до рынка Камарго, где ты сразу сможешь приступить к работе, а в пятницу уже получишь жалованье. Мы тут все сидим без гроша. В последние недели у меня просто времени не остается, чтоб подзаработать. А в пятницу вечером мы втроем — Карло, Дин и Сал, старая троица, — вне всяких сомнений, должны сходить на гонки малолитражек, а подбросит нас туда один знакомый малый из центра... — Все дальше и дальше в ночь.

Мы подошли к дому, где жили сестры-официантки. Та, что предназначалась мне, еще не пришла с работы. Дома была сестрица, которую возжелал Дин. Мы уселись на ее кушетку. Как раз в это время я обещал позвонить Рэю Роулинсу. Я позвонил. Он тут же примчался. Не успев войти, он снял рубашку и майку и принялся тискать в объятиях абсолютно незнакомую ему Мэри Беттенкорт. Под ногами

катались бутылки. Стукнуло три часа. Дин умчался к Камилле на час фантазий. Вернулся он вовремя. Появилась вторая сестрица. Расшумелись мы уже дальше некуда, и теперь нам потребовался автомобиль. Рэй Роулинс позвонил приятелю с машиной. Тот приехал. Все набились внутрь. На заднем сиденье Карло пытался вести с Дином запланированную беседу, но попытка эта потонула во всеобщей неразберихе.

— Едем в мои апартаменты! — орал я.

Так мы и сделали. Как только машина остановилась, я выпрыгнул на траву и сделал стойку на голове. Выпали все мои ключи; я их так и не нашел. С криками мы ворвались в дом. Путь нам преградил Роланд Мейджор в своем шелковом халате.

— Ничего подобного в квартире Тима Грэя я не допущу!

— Что? — заорали мы хором.

Произошло замешательство, которым воспользовался Роулинс, чтобы поваляться на травке с одной из официанток. Мейджор нас так и не впустил. Мы клялись позвонить Тиму Грэю и легализовать вечеринку, а заодно пригласить его самого. Но вместо этого мы понеслись назад, в сторону значных мест денверского центра. Неожиданно я очутился на улице совершенно один, к тому же без денег.

Пять миль я тащился пешком по Колфакс-авеню, пока не добрался до своей уютной постели. Мейджору пришлось меня впустить. Мне хотелось знать, занялись ли Дин с Карло своей душевной беседой. Выяснение этого вопроса я отложил на потом. Ночи в Денвере прохладные, и я спал как убитый.



Потом все принялись готовить грандиозную экспедицию в горы. Началось все утром, ознаменовавшимся телефонным звонком, который лишь осложнил ситуацию, — это был мой давний спутник Эдди, решившийся позвонить наугад. Я называл ему некоторые имена, и он их запомнил. У меня появился шанс заполучить обратно рубашку. Эдди остановился у своей девушки, неподалеку от Колфакс. Он спросил, не знаю ли я, где можно найти работу, и я велел ему прийти, рассчитывая, что ему поможет Дин. Дин явился в спешке, в тот момент, когда мы с Мейджором наспех поглощали завтрак. Он даже не присел.

— У меня еще тысяча дел, даже в Камарго везти тебя некогда, однако поехали, старина.

— Надо дождаться моего попутчика Эдди.

Мейджору наши хлопоты представлялись весьма забавными. Сам он приехал в Денвер писать. К Дину он относился с крайним почтением. Дин же этого не замечал. Обращался Мейджор к Дину примерно так:

— Мориарти, я слышал, вы спите одновременно с тремя девицами, это так?

А Дин, шаркая ногами по ковру, отвечал:

— Да-да, так оно и есть, — и смотрел на часы, а Мейджор шмыгал носом.

Выбегая с Дином из дома, я чувствовал себя немного не в своей тарелке — Мейджор утверждал, что Дин слабоумный, к тому же шут гороховый. Конечно, это было не так, что я и хотел каким-то образом всем доказать.

Мы встретились с Эдди, на которого Дин едва взглянул, сели в трамвай и через знойный денверский полдень отправились на поиски работы. Мне даже думать о ней было противно. Эдди был в своем репертуаре и болтал без умолку. На рынке мы нашли человека, который согласился нанять нас обоих. Работа начиналась в четыре утра и заканчивалась в шесть вечера. Человек сказал:

— Я люблю работающих ребят.

— Я-то вам и нужен, — заявил Эдди, а вот насчет себя я так уверен не был. Придется совсем не спать, решил я. Впереди еще было столько интересного!

На следующее утро Эдди на работу явился, а я нет. Ночлегом я был обеспечен, Мейджор закупил полный ледник еды, в обмен на что я готовил и мыл посуду. События между тем затягивали меня все больше и больше. Как-то вечером у Роулинсов собралась большая компания. Мать Роулинсов была в отъезде. Рэй Роулинс обзвонил всех своих знакомых и каждому велел принести виски. Потом он прошелся по записной книжке на предмет девушек. Большую часть переговоров он поручил мне. Явилась целая команда девиц. Я позвонил Карло, чтобы выяснить, чем занят Дин. Карло ждал его к трем часам утра. К Карло я и направился после вечеринки.

Подвальная квартира Карло находилась на Грант-стрит, в старом краснокирпичном пансионе, неподалеку от церкви. Надо было пройти переулком, спуститься по нескольким каменным ступеням, открыть старую обшарпанную дверь и одолеть нечто вроде погреба, в конце которого была дверь Карловой комнаты. Походила эта комната на жилище русского святого: сиротливая кровать, горящая свеча, сочащиеся влагой каменные стены и отдаленно напоминающая икону нелепая штукovina, которую Карло соорудил сам. Он прочел мне свое стихотворение. Называлось оно «Денверская хандра». Карло проснулся утром и услышал, как на улице, возле его кельи, переговариваются «пошляки голуби»; он увидел, как на ветвях дремлют «печальные соловьи», они напоминали ему о матери. Город окутывала серая пелена. Горы, величественные Скалистые горы, которые, если посмотреть на запад, видны из любой части города, были «из папье-маше». Весь мир сошел с ума, окосел, стал абсолютно чужим. Дина Карло назвал «сыном радуги» — чьи тяжкие муки принимает на себя его исстрадавшийся фаллос. Он изобразил Дина «Эдиповым Эдди», которому приходится «соскребать с оконных стекол жевательную резинку». В своем подвале Карло предавался размышлениям над объемистым журналом, куда ежедневно заносил все происходящее — все, что делал и говорил Дин.

Дин явился точно по расписанию.

— Все улажено, — объявил он, — я развожусь с Мерилу, женюсь на Камилле, и мы с ней переезжаем в Сан-Франциско. Но только

сначала мы с тобой, дорогой Карло, съездим в Техас, полюбуемся на Старого Буйвола Ли, этого доходягу, с которым я еще не знаком, а ведь вы оба так много мне о нем рассказывали, ну а потом я отправлюсь в Сан-Фран.

Затем они перешли к делу. Усевшись по-турецки на кровать, они уставились друг другу в глаза. Я сидел сгорбившись в ближайшем кресле и все видел. Начали они с некой отвлеченной мысли и обсудили ее; напомнили друг другу еще один отвлеченный вопрос, позабытый в стремительном круговороте событий. Дин принес извинения, но дал обещание к этому вопросу вернуться и как следует его разобрать, пояснив примерами. Карло сказал:

— А когда мы ехали через Уази, я хотел поделиться с тобой своими ощущениями по поводу твоей безумной страсти к малолитражкам, помнишь, как раз тогда ты показал на старого бродягу в мешковатых штанах и сказал, что он в точности похож на твоего отца?

— Да-да, конечно помню. Кроме всего прочего, это дало толчок целой веренице моих собственных мыслей, это было что-то невероятное, я должен был тебе рассказать, да вот позабыл, но теперь ты мне напомнил...

И родились две новые темы. Они перемололи и их. Потом Карло спросил Дина, откровенен ли тот, а главное — не утаивает ли чего в глубине души от него, Карло.

— Зачем ты опять об этом?

— Я хочу понять раз и навсегда...

— Давай спросим Сала. Сал, дорогой, ты же тут сидишь, слушаешь, что ты скажешь?

И я сказал:

— Ничего нельзя понять раз и навсегда, Карло. Это никому не дано. Мы и живем-то надеждой, что когда-нибудь нам это удастся.

— Нет, нет и нет! Ты несешь абсолютную чушь, романтическую ахинею в духе Вулфа! — возмутился Карло.

А Дин сказал:

— Я вовсе не это имел в виду, однако позволим Салу иметь собственное суждение, и вообще, Карло, разве ты не видишь, с каким... достоинством, что ли, он сидит и слушает нас? А ведь этот

псих ехал сюда через всю страну... Нет, старик Сал вмешиваться не станет.

— Да не в том дело, что я не стану вмешиваться, — возразил я, — просто я не пойму, к чему вы оба клоните, чего пытаетесь добиться. По-моему, это чересчур для любого человека.

— Ты только и знаешь, что все отрицать.

— В таком случае объясните мне, чего вы хотите.

— Скажи ему.

— Нет, ты скажи.

— Нечего тут говорить, — сказал я и рассмеялся. На мне была шляпа Карло, я надвинул ее на глаза и произнес: — Я хочу спать.

— Бедняга Сал постоянно хочет спать.

Я промолчал. Они снова принялись за свое.

— Когда ты занял пятицентовик, которого не хватало на жареных цыплят...

— Нет, старина, на мясо по-мексикански! Вспомни-ка, «Звезда Техаса»!

— Да, я перепутал тот день со вторником. Так вот, когда ты занял пятицентовик, ты еще сказал... слушай, слушай, ты сказал: «Карло, это последний раз, когда я тебе навязываюсь», — будто мы с тобой и в самом деле договорились, что ты больше не будешь навязываться.

— Нет, нет, нет, я не это хотел сказать... выслушай лучше, если ты не против, дружище, я хочу вернуться к тому вечеру, когда Мерилу плакала в комнате, а я обратился к тебе, придав голосу особую искренность, которая, как мы оба знали, хоть и была наигранной, однако преследовала свою цель, короче, ломая комедию, я указал на то, что... Постой, это не то.

— Конечно, не то! Потому что ты забыл, что... Однако не буду я тебя попрекать. Ведь тогда я согласился... — И подобным образом они проговорили всю ночь напролет. На рассвете я очнулся. Они пытались уладить последние утренние разногласия.

— Когда я сказал тебе, что должен поспать *из-за* Мерилу, то есть из-за того, что мне надо повидать ее в десять утра, я позволил себе категорический тон не для того, чтобы оказать на тебя давление в связи с тем, что до этого ты говорил о ненужности сна, а только — *только*, уверяю тебя, ввиду того факта, что я, вне всякого сомнения, всенепременно и во что бы то ни стало просто обязан сейчас поспать,

я имею в виду, старина, что у меня глаза закрываются, они уже горят, они устали, болят, нет больше сил...

— Ах, дитя, — сказал Карло.

— Нам просто необходимо сейчас поспать. Остановим машину.

— Ты не можешь остановить машину! — во весь голос завопил Карло. Запели первые птицы.

— Сейчас я подниму руку, — сказал Дин, — и мы прекратим разговор. К чему склоки, ведь нам обоим вполне понятно, что мы попросту прекращаем разговор и идем спать.

— Так ты машину не остановишь!

— Остановите машину, — сказал я. Они повернулись ко мне.

— Он все это время не спал и слушал. О чем ты думал, Сал?

Я ответил им, что думал о том, какие они поразительные маньяки, что я всю ночь провел, слушая их так, словно следил за механизмом часов, которые оказались на самой вершине Бертодского перевала и, несмотря на это, оставались изящными часиками с тончайшим на свете механизмом. Они заулыбались. Я направил на них указующий перст и произнес:

— Если и дальше так пойдет, вы оба рехнетесь, однако держите меня в курсе событий.

Я вышел и сел в трамвай, идущий в сторону дома, а сделанные из папье-маше горы Карло Маркса алели, освещаемые громадным солнцем, встающим с восточных равнин.

Вечером я отправился вместе со всеми в горы и пять дней не видел ни Дина, ни Карло. На выходные дни Бейб Роулинс получила в свое распоряжение хозяйскую машину. Мы прихватили с собой костюмы, завесили ими автомобильные окна и тронулись в направлении Централ-Сити: Рэй Роулинс за рулем, Тим Грэй — откинувшись на заднем сиденье, а Бейб впереди. Я впервые смог увидеть глубинные районы Скалистых гор. Централ-Сити — это бывший шахтерский городок, который некогда называли Богатейшей Квадратной Милей на Свете. Какие-то старые хрычи, скитавшиеся по тамошним горкам, обнаружили в них настоящие залежи серебра. В одночасье разбогатев, они построили на крутом склоне, в самой гуще своих лачуг, живописный оперный театрик. Там пела Лилиан Рассел, пели и оперные дивы из Европы. Потом жители покинули Централ-Сити, он превратился в город-призрак и оставался им до тех пор, пока предприимчивые дельцы обновленного Запада не задумали его возродить. Они навели лоск на здание оперного театра, и там каждое лето стали выступать солисты Метрополитен-опера. Город превратился в место паломничества туристов со всех уголков страны, туда съезжались даже голливудские знаменитости.

Мы поднялись в гору и оказались среди узких улочек, битком набитых пижонами всех мастей. Мне вспомнился Мейджоров Сэм. Да, Мейджор был прав. Тут же был и сам Мейджор, он неизменно пускал в ход свою неотразимую светскую улыбку и совершенно искренне охал и ахал по всякому поводу.

— Сал, — воскликнул он, схватив меня за руку, — ты только полюбуйся на этот старый городок! Только представь себе, каким он был сто... да какого черта, всего восемьдесят, шестьдесят лет назад! У них есть опера!

— Да, — сказал я, подделываясь под одного из его персонажей, — но *они-то* здесь.

— Ублюдки! — выругался он и все же, взяв под руку Бетти Грэй, отправился наслаждаться жизнью.

Блондинка Бейб Роулинс оказалась девицей предприимчивой. На окраине она знала один старый шахтерский домик, где мужской части нашей компании можно было ночевать все выходные. Надо было только как следует там убраться. Там же можно было закатывать грандиозные вечеринки. Это была ветхая развалюха, внутри которой лежал дюймовый слой пыли. Имелась там и веранда, а во дворе — колодец. Тим Грэй и Рэй Роулинс засучили рукава и принялись за уборку — этот каторжный труд отнял у них полдня и часть вечера. Однако с помощью целого ведра пива они превосходно со всем управились.

Что до меня, в тот день я был включен в список приглашенных в оперу, куда и направился в сопровождении Бейб. На мне был костюм Тима. Всего несколько дней назад явился я в Денвер бродягой; ныне же, втиснутый в строгий костюм, под руку с привлекательной нарядной блондинкой, я раскланивался со знаменитостями и вел непринужденные беседы в фойе под роскошными люстрами. Хотелось бы мне знать, что бы сказал, увидев меня, Миссисипи Джин.

Давали «Фиделио». «Что за мрак!» — стонал баритон, выбираясь из-под громадной глыбы, завалившей вход в подземную темницу. Меня это проняло до слез. Именно такой мне и представлялась жизнь. Я был так поглощен оперой, что позабыл на время всю свою суматошную жизнь и с головой ушел в великие скорбные бетховенские звуки и густую рембрандтовскую атмосферу сюжета.

— Ну, Сал, как тебе новая постановка? — с гордостью спросил меня на улице Денвер Д. Долл. Он был связан с оперной ассоциацией.

— Что за мрак, что за мрак! — сказал я. — Просто умопомрачительно!

— Теперь тебе надо непременно познакомиться с членами труппы, — все так же церемонно продолжил он, однако, позабыв, к счастью, о своих словах в круговороте прочих дел, куда-то исчез.

Мы с Бейб вернулись в наш шахтерский домик. Я скинул свой наряд и подключился к уборке. Работа была тяжелейшая. Посреди уже убранной комнаты восседал Роланд Мейджор, отказавшийся помогать. На столике перед ним стояли бутылка пива и стакан. Пока мы носились взад-вперед с ведрами и вениками, он предавался воспоминаниям.

— Эх, попили бы вы со мной «Чинзано», послушали бы музыкантов Бандоля — вот это жизнь! А летняя Нормандия, деревянные башмаки, чудесный старый кальвадос! Ну-ка, Сэм, — обратился он к невидимому приятелю, — достань вино из воды, посмотрим, достаточно ли оно охладилось, пока мы ловили рыбу. — Это уже прямо из Хемингуэя.

Мимо по улице шли девушки. Мы их окликнули:

— Эй, помогите-ка нам убраться в этом притоне. Вечером приглашаем всех!

Они присоединились к нам. Теперь на нас работала целая бригада. Вдобавок появились и сразу принялись за дело певцы оперного хора, большей частью молодые ребята. Зашло солнце.

На славу потрудившись, мы с Тимом и Роулинсом решили прифрантиться перед вечерним весельем. Через весь город мы направились в меблированные комнаты, где жили оперные знаменитости. Во тьме слышались первые звуки вечернего представления.

— То, что надо, — сказал Роулинс. — Хватайте бритвы и полотенца, наведем красоту.

Нагрузившись вдобавок щетками для волос и пузырьками с одеколонами и лосьонами, мы отправились в ванную, где с песнями искупались.

— Вот это красотища! — то и дело твердил Тим Грэй. — Ванная комната, полотенца, лосьоны, электрические бритвы — и все это принадлежит оперным звездам!

Вечер выдался чудесный. Сентрал-Сити находится на высоте двух миль. Сначала эта высота пьянит, потом от нее устаешь и в душе селится лихорадочное возбуждение. По узкой темной улочке мы приблизились к сверкающему огнями оперному театру. Потом резко свернули вправо и наткнулись на ряд старых салунов с двухстворчатыми дверьми. Почти все туристы были в опере. Для начала мы взяли несколько больших кружек пива. В салуне стояла пианола. За дверьми черного хода виднелись освещенные луной горные склоны. Я испустил торжествующий клич. Вечер набирал обороты.

Мы поспешили обратно, в свою шахтерскую лачугу. Подготовка к грандиозной вечеринке была там в самом разгаре. Бейб и Бетти



наскоро разогрели сосиски с бобами, а потом мы начали танцевать и вплотную занялись пивом. Закончилась опера, и к нам целыми толпами повалили молоденькие девушки. У нас с Роулинсом и Тимом потекли слюнки. Немедленно сграбастав по девушке, мы пустились в пляс. Танцевали мы без всякой музыки. Гости все прибывали. Многие приносили выпивку. Мы умчались прошвырнуться по барам и моментально примчались назад. Ночь становилась все более бурной. Я пожалел, что с нами нет Дина и Карло, потом до меня дошло, что они чувствовали бы себя здесь не в своей тарелке. Ведь они были похожи на того выбирающегося из подземелья парня с его тюремным камнем и мраком — убогие хипстеры Америки, новое блаженное разбитое поколение, частью которого постепенно становился и я.

Появились ребята из хора. Они затянули «Милую Аделину», потом принялись распевать фразы типа «передай-ка мне пива» и «какого черта суешься», после чего пошли нескончаемые баритональные стоны из «Фи-де-лио!». «Ах, что за мрак!» — пел я. Девицы были неподражаемы. Они выходили с нами на задний двор целоваться и обниматься. В соседних комнатах были кровати, грязные и пыльные, на одну из них я усадил девицу и завел с ней разговор, но тут произошло внезапное вторжение молодых капельдинеров из оперы, которые, позабыв о приличиях, принялись тискать и целовать девушек. Эти подростки — пьяные, всклокоченные, возбужденные — испортили нам всю вечеринку. Через пять минут девиц и след простыл, и вечеринка под аккомпанемент криков и звона пивных бутылок вылилась в грандиозный мальчишник.

Мы с Рэем и Тимом решили совершить очередной набег на бары. Мейджор исчез, Бейб с Бетти исчезли. Мы поковыляли в ночь. Все бары от стойки до стены были забиты оперной публикой. Поверх голов что-то орал Мейджор. Энергичный очкастый Денвер Д. Долл пожимал всем и каждому руки со словами: «Добрый день, как поживаете?» Вот уже полночь настала, а он все твердил: «Добрый день, а вы как поживаете?» В один прекрасный момент я заметил, как он выходит на улицу с некой титулованной особой. Вернулся с женщиной средних лет. В следующую минуту он уже беседовал на улице с парочкой юных капельдинеров, а еще через минуту тряс мою руку, не узнавая меня и твердя: «С Новым годом, дружище!» Он опьянел не от спиртного, его пьянило то, что он по-настоящему

любил, — непрерывный людской водоворот. Его знали все. «С Новым годом!» — неустанно выкрикивал он, а иногда: «Веселого Рождества!» На Рождество же он принимался поздравлять всех с кануном Дня Всех Святых.

В баре был тенор, окруженный всеобщим вниманием. Денвер Д. Долл давно настаивал на том, чтобы я с ним познакомился, а я пытался этого знакомства избежать. Звали тенора, кажется, Д'Аннунцио или что-то в этом духе. С ним была жена. Они угрюмо сидели за столиком. У стойки стоял некий аргентинский турист. Роулинс отпихнул его, пытаясь заставить посторониться. Тот обернулся и что-то пробурчал. Тогда Роулинс вручил мне свой стакан и одним ударом припечатал туриста к медному поручню. Это был нокаут. Поднялся шум. Мы с Тимом подхватили Роулинса и пустились наутек. Была такая сумятица, что шериф не сумел даже пробраться сквозь толпу и отыскать жертву. Роулинса никто опознать не смог. Мы направились в соседние бары. Навстречу по темной улице шатаясь брел Мейджор.

— Что за черт? Драка? Что ж вы меня не позвали?!

Со всех сторон раздавался громовой хохот. А мне было любопытно узнать, о чем думает сейчас Дух горы, и, посмотрев вверх, я увидел освещенные луной корабельные сосны, увидел призраки давно забытых шахтеров и едва поверил своим глазам. Той ночью на всех темных восточных склонах Скалистых гор царило безмолвие, нарушаемое лишь шепотом ветра, и только в ущелье раздавались наши крики. А по ту сторону горного массива был громадный западный склон, было большое плато, которое простиралось до Стимбоут-Спрингз, а там круто шло вниз и переходило в пустыню Восточное Колорадо и пустыню Юта. Все было окутано тьмой, а мы бесились и орали в своем горном приюте — безумные пьяные американцы в необъятной стране. Мы были на самой крыше Америки, и сдается мне, только и могли, что вопить, пытаясь докричаться до края ночи на востоке Равнин, откуда, быть может, уже шагал к нам седовласый старец, несущий Слово Господне, и в любую минуту он мог появиться и заставить нас умолкнуть.

Роулинс настаивал на возвращении в бар, где он затеял драку. Нам с Тимом это было не по душе, но бросить его мы не могли. Роулинс подошел к Д'Аннунцио, тому самому тенору, и выплеснул

ему в лицо стакан виски. Мы вытащили Роулинса на улицу. Вместе с присоединившимся к нам баритоном из хора мы отправились в городской бар, где собираются местные завсегдатаи. Там Рэй обозвал официантку шлюхой. У стойки выстроилась компания мрачного вида парней; они терпеть не могли туристов. Один из них сказал. «Советую вам, ребята, убраться отсюда, пока я буду считать до десяти». Мы последовали совету. Доковыляв до своей лачуги, мы улеглись спать.

Наутро я проснулся и заворочался с боку на бок. С матраса поднялись большие клубы пыли. Я рванул на себя окно; оно было заколочено. На моей кровати оказался и Тим Грэй. Мы закашлялись и расчихались. Завтрак наш состоял из выдохшегося пива. Вернулась из гостиницы Бейб, и мы собрали пожитки.

Казалось, все кругом рушится. Когда мы шли к машине, Бейб поскользнулась и растянулась на земле. Бедняжка просто переутомилась. Мы с ее братом и Тимом помогли ей подняться. К нам в машину сели Мейджор и Бетти. Началось унылое возвращение в Денвер.

Неожиданно мы спустились с горы, и нашим взорам открылась безбрежная, как море, равнина Денвера. Словно из печи, на нас полыхнуло жаром. Мы затянули песни. Мне уже не терпелось отправиться в Сан-Франциско.

Вечером я разыскал Карло, и тот, к моему удивлению, сообщил мне, что был вместе с Дином в Сентрал-Сити.

— Чем же вы занимались?

— Да прошвырнулись по барам, а потом Дин угнал машину, и на обратном пути мы катились вниз по горным виражам со скоростью девяносто миль в час.

— Что-то я вас не видел.

— А мы и не знали, что ты тоже там.

— Знаешь, старина, я еду в Сан-Франциско.

— А Дин приберег тебе на вечер Риту.

— Вот как? Тогда отъезд откладывается.

У меня уже не было денег. Я отправил авиапочтой письмо тетушке с просьбой выслать пятьдесят долларов и с уверениями, что прошу деньги в последний раз. К тому же, как только я попаду на корабль, она сама начнет получать от меня деньги.

Затем я встретился с Ритой Беттенкорт и повел ее в свою квартиру. После долгих уговоров в темной передней я затащил ее в спальню. Она была милой девушкой, простодушной и искренней, и страшно робкой в постели. Я уверял ее, что все будет превосходно, и желал ей это доказать. Доказать это она мне позволила, но я был слишком нетерпелив и ничего доказать не смог. В темноте она вздохнула.

— Чего ты ждешь от жизни? — спросил я. Я всегда задавал девушкам этот вопрос.

— Не знаю, — ответила она. — Буду просто работать официанткой и жить дальше.

Она зевнула. Я прикрыл ей рот рукой и попросил не зевать. Я пытался рассказать ей о том, как меня волнует жизнь, и о том, чем бы мы могли с ней вдвоем заниматься. Говорил я ей все это, а сам намеревался не позже чем через два дня покинуть Денвер. Она устало отвернулась. Лежа на спине, мы глядели в потолок и думали, зачем это Бог сотворил жизнь такой печальной. Мы строили смутные планы встретиться в Фриско.

Подходила к концу моя короткая остановка в Денвере. Я отчетливо осознал это, когда проводил Риту домой и на обратном пути растянулся на лужайке перед старой церквушкой. Послушав разговоры собравшихся там нищих бродяг, я вновь захотел отправиться в путь. То и дело кто-нибудь из них вставал и сшибал у прохожего монетку. Они толковали о движущихся на север урожаях. Стояла мягкая теплая погода. Мне захотелось снова увидеть Риту, захотелось еще многое ей сказать и на этот раз заняться с ней любовью по-настоящему, унять ее страхи перед мужчинами. В Америке парни и девушки так уныло проводят время друг с другом. Желая выдать себя за людей искушенных, они сразу же, даже для приличия не поговорив, отдаются во власть секса. А говорить нужно не слова обольщения — нужен простой, откровенный разговор о душе, ведь жизнь священна и драгоценно каждое ее мгновение. До меня донесся рев паровоза. Это удалялся в сторону гор поезд Денвер — Рио-Гранде. Меня вновь влекла моя путеводная звезда.

По ночам мы с Мейджором вели грустные беседы.

— Ты читал «Зеленые холмы Африки»? Это лучшая вещь Хемингуэя.

Мы пожелали друг другу удачи, договорившись встретиться в Фриско. На улице, в тени большого дерева, я увидел Роулинса.

— Прощай, Рэй. Свидимся ли еще?

Я отправился на поиски Карло и Дина — и нигде не смог их найти. Тим Грэй помахал мне рукой и сказал:

— Значит, уезжаешь, эй? — Так мы обращались друг к другу: «эй».

— Ага, — сказал я.

Еще несколько дней я бесцельно бродил по Денверу. Каждый бродяга на Лаример-стрит казался мне отцом Дина Мориарти. Старый Дин Мориарти, Жестянщик — так его звали. Я зашел в гостиницу «Виндзор», где когда-то жили отец с сыном и где как-то ночью Дина разбудил, до смерти его напугав, безногий на роликовой доске, который делил с ними номер. Через всю комнату он прогрохотал на своих ужасных колесиках, чтобы дотронуться до мальчика. На углу Куртис и 15-й мне попала на глаза коротконогая женщина-карлик, она продавала газеты. Я заходил в унылые притоны Куртис-стрит, шлялся среди молодых парней в джинсах и красных рубахах. Груды

арахисовой скорлупы, шатры-кинотеатры, тиры. Там, где кончалась сверкающая огнями улица, была тьма, а за этой тьмой — Запад. Я должен был ехать.

На рассвете я отыскал Карло. Полистал его толстенный журнал, немного вздремнул, а утром, дождливым и серым, пришли Эд Данкел — шестифутовый великан, красавец Рой Джонсон и косолапый шулер Том Снарк. Рассевшись, они, смущенно улыбаясь, принялись слушать, как Карло Маркс читает им свои безумные апокалиптические стихи. Совершенно измочаленный, я тяжело опустился в свое кресло.

— О, денверские пташки! — орал Карло.

Потом мы гуськом вышли и зашагали по типичной денверской бульжной улочке, между вяло дымящимися мусоросжигателями. «По этой улочке я когда-то катал обруч», — говорил мне Чед Кинг. Мне захотелось увидеть, как он это делает, увидеть Денвер десять лет назад, когда все они были детьми — вся эта шайка — и солнечным весенним утром Скалистых гор катили свои обручи среди цветущих вишен по радостным улочкам, сулившим тогда так много. А Дин, грязный и оборванный, в полном одиночестве крался стороной, охваченный своими безумными страстями.

Мы с Роем Джонсоном прогулялись под морозящим дождем. Я зашел к девушке Эдди забрать свою шерстяную клетчатую рубаху, рубаху времен Шелтона, Небраска. Она была на месте, завернутая в бумагу и перевязанная, — не рубаха, а безмерная грусть в упаковке. Рой Джонсон сказал, что мы увидимся во Фриско. Во Фриско собирались все. Как раз подоспели тетушкины деньги. Зашло солнце, и Тим Грэй доехал со мной на трамвае до автобусной станции. Я купил билет до Сан-Франциско, потратив половину из своих пятидесяти долларов, и в два часа дня сел в автобус. Тим Грэй помахал мне на прощание рукой. Автобус оставил позади легендарные, полные страсти улицы Денвера. «Клянусь Богом, я вернусь посмотреть, что еще здесь произойдет!» — такое я дал себе обещание. Позвонив в последнюю минуту, Дин сказал, что они с Карло, быть может, приедут ко мне на Побережье. Задумавшись над его словами, я осознал, что за все это время не говорил с Дином и пяти минут.

К Реми Бонкуру я опоздал на две недели. Автобусная поездка из Денвера во Фриско прошла без приключений, разве что душа моя трепетала тем сильнее, чем ближе мы подъезжали к Фриско. Снова Шайенн, на этот раз днем, оттуда через горный кряж на запад, в полночь оставили позади Крестон и Скалистые горы, а на рассвете достигли Солт-Лейк-Сити — города поливальных машин, самого неподходящего места для появления Дина на свет. Потом Невада в лучах палящего солнца, к вечеру — Рио с его мерцающими китайскими улочками, дальше — Сьерра-Невада, сосны, звезды, горные домики, атрибуты романтических историй о Фриско, плачущая девочка на заднем сиденье: «Мама, когда же мы приедем домой, в Траки?» И сам Траки, по-домашнему уютный Траки, а потом — вниз по склону холма, к равнинам Сакраменто. Внезапно до меня дошло, что я уже в Калифорнии. Теплый пальмовый ветерок — ветерок, который можно поцеловать, — и пальмы. Скоростная магистраль вдоль легендарной реки Сакраменто, снова холмы, подъемы, спуски, и вдруг — бескрайняя гладь залива (перед самым рассветом), украшенная гирляндами сонных огней Фриско. На Оклендском мосту я впервые после Денвера крепко уснул, а на автобусной станции на углу Маркет и Четвертой резко встрепенулся, вспомнив, что нахожусь за три тысячи двести миль от тетушкиного дома в Патерсоне, Нью-Джерси. Словно изможденный призрак, выбрался я из автобуса — вот наконец и Фриско: длинные, не защищенные от ветра улицы с трамвайными проводами, окутанными туманом и белизной. Еле передвигая ноги, я одолел несколько кварталов. На углу Мишн и Третьей потребовали у меня утренней мелочи странного вида бродяги. Где-то звучала музыка. «Еще успею на все это насмотреться! А сейчас надо разыскать Реми Бонкура».

Милл-Сити, где жил Реми, являл собой скопление домиков в долине — муниципальных домиков, построенных во время войны для рабочих военно-морской верфи. Располагался он в довольно глубоком каньоне, склоны которого сплошь поросли деревьями. Специально для жителей новостройки были открыты лавки, парикмахерские и

портняжные мастерские. По слухам, это была единственная община в Америке, где добровольно селились вместе белые и негры. И оказалось, что это чистая правда, — с тех пор я не видел больше такого буйного и счастливого места. На двери лачуги Реми была записка, приколотая три недели назад:

«Сал Парадайз! (Огромными печатными буквами.)  
Если дома никого нет, влезай в окно.

Подпись:

*Реми Бонкур».*

Бумага уже посерела и имела потрепанный вид.

Я влез, а он был дома и спал со своей девушкой, Ли Энн, на кровати, которую, как он сказал потом, стащил с торгового судна. Вообразите себе палубного механика торгового корабля, который под покровом ночи крадетсЯ через борт с кроватью, а потом, из последних сил налегая на весла, гребет к берегу, и вы получите некоторое представление о Реми Бонкуре.

Я так подробно рассказываю о том, что произошло в Сан-Франциско, потому что все это тесно связано с последующими событиями. С Реми Бонкуром я познакомился много лет назад, еще на курсах по подготовке в колледж. Но по-настоящему сблизила нас с ним моя бывшая жена. Как-то вечером он явился ко мне в студенческое общежитие и сказал: «Вставай, Парадайз, тебя пришел навестить старый маэстро». Я поднялся и, натягивая брюки, обронил на пол несколько монеток. Было всего лишь четыре часа. В колледже я только и делал, что спал. «Давай, давай и не разбрасывай по всей комнате свое золотишко. Я познакомился с бесподобной девочкой и вечером иду с ней в „Логово льва“». И он потащил меня с собой. Уже через неделю она стала моей девушкой.

Реми — высокий, красивый, смуглый француз (в те времена он чем-то напоминал двадцатилетнего спекулянта с марсельского черного рынка). Будучи французом, он изъяснялся на мудреном американском. Английский же его был безупречен, как и французский. Одеваться он любил щеголевато и придерживался студенческого стиля. Любил он и бывать в обществе экстравагантных



блондинок и сорить деньгами. Он никогда не винил меня в том, что я увел его девушку, это, скорее, связывало нас. Одному Богу известно, почему этот малый был мне так предан, за что питал ко мне такие нежные чувства.

К тому утру, когда я отыскал Реми в Милл-Сити, он уже успел впасть в нищету и переживал те черные дни, которые подстерегают молодых людей в середине третьего десятка. В ожидании судна он болтался на берегу, а на жизнь зарабатывал, служа в охране особого назначения в бараках за каньоном. Ли Энн обладала несносным характером и ежедневно устраивала Реми разносы. Всю неделю они сэкономили, а в субботу наведывались в город, чтобы за три часа истратить пятьдесят долларов. Дома Реми ходил в трусах и нелепой армейской фуражке. Ли Энн расхаживала с накрученными на бигуди волосами. Принаряженные таким образом, они всю неделю орали друг на друга. Отродясь не видывал я подобной грызни. А в субботу вечером, любезно улыбаясь друг другу, они с видом преуспевающих голливудских персонажей отбивали развлекаться.

Реми проснулся и увидел, как я лезу в окно. В ушах у меня зазвенел его дивный смех, едва ли не самый дивный на свете.

— А-а-а, Парадайз! Он лезет в окно, он точно следует инструкции! Где ты пропадал, ты же опоздал на две недели!

Он похлопал меня по спине и пихнул в бок Ли Энн. Привалясь к стене, он хохотал до слез, он так колотил по столу, что слышно было по всему Милл-Сити, а его великолепному долговому «а-а-а-а!» вторило эхо в каньоне.

— Парадайз! — орал он. — Единственный и неповторимый, незаменимый Парадайз!

Перед тем как появиться у Реми, я миновал рыбацкую деревушку Сосалито, и первое, что я произнес, было:

— В Сосалито, должно быть, полно итальянцев.

— В Сосалито, должно быть, полно итальянцев! — во весь голос закричал Реми. — А-а-а-а! — Он стукнул себя по лбу, грохнулся на кровать и едва не свалился на пол. — Ты слыхала, что сказал Парадайз? В Сосалито, должно быть, полно итальянцев! Аа-аа-х-х-аа-а! Ого-го! Блеск! Ну и ну! — От смеха он покраснел, как свекла. — Ох, доконаешь ты меня, Парадайз, ты же самый потешный малый на

свете, наконец-то ты явился, он влез в окно, видела, Ли Энн, он последовал инструкции и влез в окно! А-а-ах! О-о-ох!

По соседству с Реми жил негр по имени мистер Сноу, и, что самое удивительное, его-то смех, уже вне всякого сомнения, не имел себе равных на всем белом свете — могу поклясться в этом на Библии. Смеяться этот мистер Сноу начинал за ужином, стоило его старухе-жене ляпнуть что-нибудь невпопад. Явно задыхаясь, он вставал из-за стола, прислонялся к стене, закатывал глаза и, издав стон, начинал. Шатаясь и опираясь о соседские стены, он вываливался на улицу и, пьяный от смеха, брел через погрузившийся в темноту Милл-Сити, призывая своим оглушительным победным кличем некоего дьявола-искусителя, который, должно быть, и подбивал его на подобные выходки. Не знаю, доел ли он хоть раз свой ужин. Не исключено, что Реми, сам того не подозревая, поднаторел в своем смехе благодаря этому удивительному мистеру Сноу. И хотя Реми испытывал острую нехватку денег и страдал от вздорного характера любимой женщины, смеяться он, по крайней мере, научился чуть ли не лучше всех на свете, и я уже ясно видел, как весело мы заживем в Фриско.

Расположились мы так: я — на раскладушке у окна, а Реми с Ли Энн на кровати у противоположной стены. Притрагиваться к Ли Энн мне было запрещено. Перво-наперво Реми произнес следующую речь:

— Я бы не хотел однажды обнаружить, что вы любезничаєте за моей спиной. Не учите старого маэстро новому мотиву. Это моя свежая поговорка.

Я взглянул на Ли Энн. Аппетитное создание с золотисто-медовой кожей, она была лакомым кусочком, однако глаза ее горели ненавистью к нам обоим. Пределом ее мечтаний было выйти за богатого. Для этого она и приехала из заштатного городка в Орегоне и теперь проклинала тот день, когда связалась с Реми. В один из своих грандиозных, бьющих на эффект уик-эндов он потратил на нее сотню долларов, и она вообразила, что встретила наследного принца. Взамен она попала в эту лачугу, где за неимением лучшего и застряла. Во Фриско она нашла работу и каждое утро вынуждена была садиться на перекрестке в междугородный автобус. Реми она так и не простила.

Я был обязан засесть в лачуге и написать выдающийся сценарий для одной голливудской студии. С этим пухлым творением под

мышкой Реми намеревался совершить перелет на стратосферном лайнере и всех нас обогатить. Ли Энн он хотел взять с собой, чтобы представить ее отцу своего приятеля, знаменитому режиссеру и близкому другу У. К. Филдза. Так что первую неделю я не вылезал из лачуги в Милл-Сити и яростно строчил некую печальную историю из нью-йоркской жизни, которая, как я полагал, удовлетворит голливудского режиссера, но беда была в том, что история получилась чересчур грустной. У Реми едва хватило сил дочитать сценарий до конца, но через несколько недель он все-таки отвез его в Голливуд. А Ли Энн так все надоело, так сильно она нас ненавидела, что ей было и вовсе не до чтения. Бесконечными дождливыми часами я выводил свои каракули и поглощал кофе. В конце концов я заявил Реми, что сценарий не пойдет. Надо было искать работу. Даже сигареты я был вынужден брать у них с Ли Энн. По лицу Реми скользнула тень разочарования — его нередко охватывало уныние из-за самых смехотворных вещей. Воистину у него было золотое сердце.

Реми договорился, чтобы меня тоже взяли охранником в бараки, где служил он сам. Пройдя все неизбежные формальности, я был удивлен, когда эти ублюдки меня все-таки наняли. Тамошний начальник полиции привел меня к присяге, мне выдали значок и дубинку, и я превратился в полицейского особой службы. Мне не давала покоя мысль о том, что бы по этому поводу сказали Дин, Карло и Старый Буйвол Ли. В дополнение к моей черной куртке и полицейской фуражке я должен был носить темно-синие брюки. Первые две недели мне приходилось надевать брюки Реми, а так как он был довольно высок и вдобавок от скуки не знал меры в еде и завел себе брюшко, в первую ночь я отправился на работу подпрыгивающей походкой Чарли Чаплина. Реми дал мне фонарик и автоматический пистолет тридцать второго калибра.

— Где ты взял эту пушку? — спросил я.

— Прошлым летом я ехал на Побережье, и в Норт-Платте, Небраска, выпрыгнул из вагона размять ноги. Смотрю — в витрине выставлен этот диковинный пистолет, я его, недолго думая, и купил. Еле успел на поезд.

Тут я попытался объяснить ему, что значит Норт-Платте для меня, рассказать, как я покупал там с ребятами виски, он же похлопал меня по плечу и заявил, что я самый потешный малый на свете.

Освещая себе дорогу фонариком, я поднимался по крутому южному склону каньона, выбирался на шоссе, забитое потоком мчащихся в ночи в сторону Фриско машин, с трудом, едва не падая, спускался по противоположному склону и оказывался на дне ущелья, где у ручья стоял фермерский домик и где каждую божью ночь меня облаивал один и тот же пес. Потом — торопливым шагом по серебристой пыльной дороге, под черными как смоль деревьями Калифорнии. Дорога эта напоминала дорогу в «Знаке Зорро» и все дороги во второразрядных вестернах. Во тьме я вынимал пистолет и изображал ковбоя. Одолев еще один подъем, я наконец попадал прямо к баракам. Бараки эти были предназначены для временного расселения рабочих, нанявшихся на заокеанские стройки. Приехавшие туда люди ждали, когда за ними придет корабль. Большинство направлялось на Окинаву. Почти все они от чего-то скрывались — и в основном от тюрьмы. Были среди них и уголовники из Алабамы, и аферисты из Нью-Йорка — всякий сброд отовсюду. И отлично понимая, какой тяжкий труд ждет их в течение целого года на Окинаве, они пили. Охрана особого назначения обязана была следить за тем, чтобы они не разнесли бараки. В главном здании — наспех сколоченной деревянной хибаре с разгороженными дощатыми стенами кабинетами — располагалась наша штаб-квартира. Там мы и сидели за шведским бюро, то вскидывая с бедра револьверы, то позевывая, а старые копы рассказывали всякие небылицы.

Исключая Реми и меня, это было гнусное сборище людей с полицейскими душонками. Мы с Реми всего лишь зарабатывали на жизнь, а тем хотелось производить аресты и в городе получать благодарности от начальника полиции. Судя по их словам, если ты не арестуешь хотя бы одного человека в месяц, тебя уволят. От одной перспективы произведения ареста у меня перехватывало дыхание. Ну а в ту ночь, когда в поселке поднялся адский шум, я, по правде говоря, и сам напился почище любого обитателя бараков.

График дежурств был составлен так, что в ту ночь я на целых шесть часов остался один-единственный коп на всю округу. И именно той ночью в бараках напились, казалось, все до единого. Это случилось потому, что наутро отплывал их корабль. Вот они и пили, словно моряки в ночь перед поднятием якоря. Я сидел в конторе, задрал ноги на стол и углубившись в чтение «Голубой книги»,

повествующей о приключениях в Орегоне и на севере страны, когда внезапно осознал, что привычную тишину ночи нарушает неумолчный гул бурной деятельности. Я вышел наружу. Почти каждая треклятая хибара в округе была освещена. Отовсюду неслись крики и звон бьющихся бутылок. Для меня это означало победить или погибнуть. Я взял фонарик, подошел к двери самого шумного барака и постучал. Дверь приоткрылась дюймов на шесть.

— А тебе чего надо?

— Я сегодня караулю бараки, и вам, ребята, полагается вести себя как можно тише.

Вот такую глупость я сморозил. Дверь захлопнулась у меня перед носом. Я стоял, уставившись в эту деревянную дверь. Все происходило по законам вестерна: пришло время отстаивать свои права. Я снова постучал. На этот раз дверь широко распахнулась.

— Послушайте, братва, — сказал я, — мне вовсе не хочется вам мешать, но если вы будете так шуметь, я потеряю работу.

— Кто ты такой?

— Я здесь работаю охранником.

— Что-то я тебя раньше не видел.

— Вот мой значок.

— А что это за пугач у тебя на заднице?

— Это не мой, — оправдывался я, — я его взял на время.

— Сделай одолжение, выпей стаканчик.

Я сделал одолжение и выпил два. Уходя, я сказал:

— Лады, ребята? Шуметь не будете? Иначе — сами понимаете, мне не поздоровится.

— Все в порядке, дружище, — ответили они. — Иди, делай свой обход. Захочешь еще выпить — заходи.

Таким вот образом я прошелся по всем баракам и довольно скоро был не трезвее всех прочих. На рассвете в мои обязанности входило поднятие американского флага на шестидесятифутовый шест. В то утро я поднял его вверх тормашками и отправился домой отсыпаться. Вечером, когда я вернулся, в конторе сидели кадровые копы, и вид у них был зловещий.

— Слушай-ка, друг, что это за шум тут был прошлой ночью? Поступили жалобы от людей, которые живут в домах за каньоном.

— Не знаю, — сказал я, — сейчас, по-моему, довольно тихо.

— Весь контингент уже отбыл. А ночью тебе полагалось поддерживать здесь порядок. Шеф, по твоей милости, рвет и мечет. И еще — тебе известно, что за поднятие американского флага на государственный шест вверх тормашками ты можешь попасть в тюрьму?

— Вверх тормашками?! — Я ужаснулся. Да и не мудрено было не заметить. Ведь каждое утро я проделывал это машинально.

— Дассэр, — сказал толстый коп, который двадцать два года прослужил охранником в Алькатрасе. — За такое можно угодить в тюрьму.

Остальные мрачно закивали. Сами-то они только и делали, что сиднем сидели, не отрывая задниц. Они гордились своей работой. Они бережно ухаживали за своим оружием и подолгу о нем рассуждали. У них руки чесались кого-нибудь пристрелить. Меня и Реми.

Пузатому копу, который служил охранником в Алькатрасе, было около шестидесяти. Он ушел в отставку, но не мог обойтись без атмосферы, всю жизнь дававшей пищу его пресной душе. Каждый вечер он приезжал в своем «Форде-35», минута в минуту отмечался и усаживался за шведское бюро. С превеликим трудом он пытался вникнуть в простенький бланк, который все мы должны были заполнять каждую ночь, — обходы, время, происшествия и так далее. Потом откидываясь на спинку стула и заводил свои рассказы:

— Жаль, тебя не было здесь месяца два назад, когда мы с Кувалдой, — (еще один коп, юнец, который хотел стать техасским рейнджером, но вынужден был довольствоваться тогдашней своей участью), — арестовали пьяного в бараке «Джи». Видел бы ты, как лилась кровь, приятель! Сегодня ночью я тебя туда отведу и покажу пятна на стене. Он у нас от стенки к стенке летал. Сперва Кувалда ему врезал, а потом я, и тут уж он угомонился и пошел как миленький. Этот малый поклялся нас убить, когда выйдет из тюрьмы, — ему дали тридцать дней. Прошло уже *шестьдесят* дней, а он и носа не кажет.

В этом была вся соль рассказа. Они его так запугали, что у него не хватило духу вернуться и попытаться отомстить. После этого старый коп предался сладостным воспоминаниям об ужасах Алькатраса:

— На завтрак они у нас маршировали, словно армейский взвод. Все до единого шагали в ногу. Все было рассчитано по минутам.

Жаль, ты этого не видал. Двадцать два года я прослужил там охранником. И ни разу не попал в переплет. Ребята знали, что с нами шутки плохи. Многие из тех, кто караулит заключенных, начинают проявлять мягкотелость, а такие-то как раз в переплет и попадают. Взять хотя бы тебя — судя по моим наблюдениям, ты этим людям даже *сочувствуешь*. — Он поднес ко рту свою трубку и пристально посмотрел на меня. — Знаешь, они этим злоупотребляют.

Я знал. Я сказал ему, что я не создан для работы в полиции.

— Да, но ты сам *просился* на эту работу. Однако теперь тебе придется решать окончательно, иначе ты никогда ничего не добьешься в жизни. Это твой долг. Ты принял присягу. В таких вещах отступать нельзя. Правопорядок надо поддерживать.

Мне нечего было ему возразить: он был прав. Я же мечтал только об одном: ускользнуть бы в ночь, где-нибудь скрыться, а потом взять да разузнать, чем занимаются люди в этой стране.

Другой полицейский, Кувалда — высокий, мускулистый, с бобриком черных волос и нервно подергивающейся шеей, — напоминал постоянно рвущегося в бой боксера. Разодет он был, словно техасский рейнджер былых времен. На бедре, довольно низко, он носил револьвер с патронной лентой, в руках — нечто вроде ременной плети, и весь он был в кожаной бахrome — не человек, а ходячая камера пыток. Плюс ко всему до блеска начищенные башмаки, длинная куртка, лихо заломленная шляпа — не хватало лишь сапог. Он то и дело демонстрировал мне борцовские приемы: подхватывал за промежность и проворно приподнимал. Если уж мериться силой, то я мог бы тем же приемом подбросить его до потолка и прекрасно это понимал. Однако Кувалде этого узнать так и не довелось — я опасался, что ему взбредет в голову устроить борцовский поединок. А поединок с подобным типом непременно закончился бы стрельбой. Я не сомневался, что стреляет он лучше: у меня в жизни не было пистолета. Мне и заряжать-то его было страшновато. Кувалда питал неистребимую страсть к арестам. Как-то ночью, когда мы дежурили с ним вдвоем, он вернулся с обхода багровый от бешенства.

— Я велел ребятам в одном бараке вести себя потише, а они все еще шумят. Я им два раза это сказал. Я всем даю только два шанса. Но не три. Сейчас я туда вернусь и арестую их, ты пойдешь со мной.

— Может, я дам им третий шанс, — сказал я. — Я с ними поговорю.

— Нет, сэр. Я никому никогда не даю больше двух шансов.

Я вздохнул. Мы подошли к комнате нарушителей, Кувалда распахнул дверь и велел всем выходить по одному. Всем нам, попавшим в эту нелепую ситуацию, было чертовски стыдно. Вот вам типичная американская история. Каждый делает то, что, по его мнению, обязан делать. Что из того, если несколько человек громко разговаривают и коротают ночь за выпивкой? Однако Кувалде хотелось что-то нам всем доказать. На тот случай, если ребята на него набросятся, он прихватил с собой меня. А они вполне могли это сделать. Парни эти приходились друг другу братьями, они приехали из Алабамы. Мы все побрели в участок — возглавлял шествие Кувалда, я плелся сзади.

Один из ребят мне сказал:

— Передай этой жопе с ушами, что слишком усердствовать не стоит. Нас могут выгнать, и мы не доберемся до Окинав.

— Я с ним поговорю.

В участке я попросил Кувалду не давать этому делу хода. Зардевшись от смущения, он ответил так, чтобы слышали все:

— Я всем даю только два шанса!

— Черт подери, тебя же не убудет, — сказал алабамец, — а мы можем потерять работу.

Кувалда молча заполнил протоколы ареста, однако арестовал он только одного. Он вызвал городскую патрульную машину, и парня забрали. Остальные угрюмо отправились восвояси.

— Что скажет теперь мамаша? — произнес кто-то из них.

Один подошел ко мне:

— Скажи этому тexasскому сукину сыну, что если мой брат завтра к вечеру не выйдет на свободу, пускай задницу бережет.

Я передал это Кувалде, немного смягчив выражения, но он ничего не ответил. К счастью, арестованного быстро отпустили и все обошлось. Контингент вышел в море, на его место прибыла новая буйная команда. Если бы не Реми Бонкур, я не остался бы на этой работе и двух часов.

Но частенько мы дежурили по ночам вдвоем с Реми Бонкуром, и тогда все шло как по маслу. Мы лениво совершали наш первый



вечерний обход. Реми дергал все дверные ручки, надеясь обнаружить незапертую дверь. Он говорил:

— Я уже давненько подумываю сделать из какого-нибудь пса первоклассного вора. Он бегал бы у меня по комнатам и таскал у ребят из карманов доллары. Я бы так его выдрессировал, чтобы он, кроме зелененьких, ничего не брал. Он бы их у меня круглые сутки вынюхивал. Будь такое в человеческих силах, я научил бы его брать одни двадцатки.

Реми был буквально напичкан безумными идеями. Про этого пса он твердил несколько недель. А незапертую дверь он обнаружил лишь однажды. Мне вся эта затея была не по душе, и я не спеша двинулся дальше по коридору. Реми украдкой отворил дверь — и оказался лицом к лицу с управляющим бараками. Лицо этого человека Реми ненавидел. Как-то он спросил меня: «Как звали того русского писателя, о котором ты все время говоришь, — он еще засовывал себе в башмак газеты, а цилиндр свой нашел на помойке? — Эта чепуха пришла Реми в голову после моих рассказов о Достоевском. — Ага, вспомнил, ну конечно — Достюфски. С такой рожей, как у этого управляющего, можно иметь только одну фамилию — Достюфски». И единственная незапертая дверь, которую он наконец обнаружил, как раз и оказалась дверью Достюфски. Сквозь сон Д. услышал, как кто-то возится с дверной ручкой. Он вскочил и, как был, в пижаме, с видом вдвое более грозным, чем обычно, направился к двери. Когда Реми ее открыл, его взору предстало искаженное злобой и слепой яростью заспанное лицо.

— Что это значит?

— Я только попробовал, заперта ли дверь... Я думал, это... э-э... чулан. Я искал швабру.

— То есть как швабру?

— Ну, э-э...

Я шагнул вперед и сказал:

— Наверху один парень наблевал, в коридоре. Надо вытереть.

— Это не чулан. Это моя комната. Еще один подобный случай, и я потребую, чтобы с вами разобрались и вышвырнули вас на улицу! Вам это понятно?

— Наверху один парень наблевал, — повторил я.

— Чулан дальше по коридору. Вон там. — Он показал пальцем и принялся наблюдать, как мы ищем швабру, а потом с идиотским видом тащим ее наверх. Я сказал:

— Черт подери, Реми, вечно мы из-за тебя попадаем в дурацкие истории. Может, хватит? Что это тебе приспичило воровать?

— Дело в том, что этот мир мне кое-что задолжал. И нечего учить старого маэстро новому мотиву. Будешь и дальше толкать такие речи — и тебя стану звать Достюффски.

Реми был просто ребенок. Еще давным-давно, во Франции, в тоскливые школьные годы, он был лишен всего. Приемные родители попросту запихивали его в школу и бросали на произвол судьбы. Его унижали и запугивали и выгоняли почти из каждой школы. Он бродил в ночи по дорогам Франции и, пользуясь своим невинным словарным запасом, изобретал проклятия. Теперь же он стремился вновь заполучить все, что потерял. А потерям его не было конца; казалось, это будет тянуться вечно.

Любимым нашим местом была закусочная при бараках. Сначала мы убеждались, что за нами никто не наблюдает, а главное — что нас тайком не выслеживает ни один из наших дружков-полицейских. Затем я садился на корточки, а Реми вставал мне на плечи и лез наверх. Он открывал окно, которое всегда оказывалось незапертым, потому что он заботился об этом еще с вечера, протискивался внутрь и спрыгивал на разделочный стол. Я был попроворней и, подтянувшись, влезал следом. Потом мы направлялись к буфетной стойке, возле которой становились явью мои детские мечты: я вскрывал шоколадное мороженое, запускал в коробку пятерню и, вытащив громадный кусок, принимался его облизывать. После чего мы доверху набивали коробки из-под мороженого едой, не забывая при этом о шоколадном сиропе, а иногда и о клубнике, обследовали кухни и открывали ледники, чтобы посмотреть, нельзя ли чего унести еще и в карманах. Случалось, я отдирал кусок ростбифа и заворачивал его в салфетку.

— Знаешь, что сказал президент Трумэн? — говорил по этому поводу Реми. — Мы должны снизить стоимость жизни.

Как-то ночью я долго ждал, пока Реми заполнит всякой всячиной громадную коробку, которую мы потом не сумели пропихнуть в окно. Реми пришлось все вынимать и класть на место. Той же ночью, когда

его дежурство закончилось и я остался один, произошла странная история. Я прогуливался по старой тропе вдоль каньона, надеясь повстречать оленя (Реми олени попадались, даже в 1947 году те места были еще дикими). Вдруг в темноте раздался страшный шум. Кто-то пыхтел и отдувался. Решив, что во тьме на меня собирается напасть носорог, я выхватил пистолет. Во мраке каньона я увидел высоченное существо с огромной головой. И тут меня осенило — это же Реми с гигантской продуктовой коробкой на плече. Под ее невероятной тяжестью он стонал и охал. Где-то отыскав ключ от закуской, он все-таки вынес свою провизию через главный вход. Я сказал:

— Реми, я думал, ты давно дома. Какого черта тебе тут надо?

— Парадайз, — отвечал он, — я уже устал повторять тебе слова президента Трумэна: мы *должны снизить стоимость жизни*. — И он, пыхтя и отдуваясь, скрылся во тьме.

Кстати, я уже описывал ту ужасную тропу, что по горам по долам вела к нашей лачуге. Реми вскоре вернулся ко мне, спрятав продукты в высокой траве.

— Сал, одному мне это не донести. Давай разложим все в две коробки, и ты мне поможешь.

— Я же на дежурстве.

— Я тут посторожу, пока тебя не будет. Жить становится все труднее. Нам только и остается, что напрягаться из последних сил, вот и весь сказ. — Он вытер лицо. — Ох! Я уже сколько раз тебе говорил, Сал: мы с тобой друзья-приятели, и делать нам все это надо сообща. Другого выхода просто нет. Все эти Достиффски, копы, Ли Энн — все гнусные медные лбы на всем белом свете готовы с нас шкуру содрать. Все они плетут против нас интриги, и не сносить нам с тобой головы, если не будем держаться вместе. У них припасено для нас кое-что пострашнее, чем обычные мелкие пакости. Запомни это. И не учи старого маэстро новому мотиву.

И тут я спросил:

— Собираемся ли мы когда-нибудь наниматься на корабль?

Уже десять недель мы занимались одним и тем же. Я зарабатывал пятьдесят пять долларов в неделю и около сорока из них высылал тетушке. За все это время я выбрался в Сан-Франциско только на один вечер. Жизнь моя замкнулась в лачуге, в созерцании баталий Реми и Ли Энн, а на ночь я уходил в бараки.

Но Реми уже исчез во тьме, а вернулся со второй коробкой. Мы с ним потащились по старой дороге Зорро. Милей выше мы вывалили продукты на кухонный стол Ли Энн. Она проснулась и вытаращила глаза.

— Знаешь, что сказал президент Трумэн?

Ли Энн была в восторге. Неожиданно мне пришло в голову, что в Америке все — прирожденные воры. У меня и у самого начались заскоки, я даже пытался проверять запоры на дверях. Остальные копы уже начинали что-то подозревать. Читая все в наших глазах, они, с их неизменным чутьем, догадывались, что у нас на уме. Многолетний опыт позволял им разбираться в таких, как мы с Реми.

Днем мы вышли из дома с пистолетом и среди холмов попытались подстрелить перепелку. Реми подкрался к квохчущим птицам и футов с трех произвел залп из своего 32-го калибра. Он промазал. Леса Калифорнии, да и вся Америка, огласились его потрясающим хохотом.

— Пришла пора нам с тобой навестить Бананового Короля.

Была суббота. Мы принарядились и направились на перекресток к автобусной станции. В Сан-Франциско мы принялись слоняться по улицам. И всюду нас сопровождало эхо звонкого хохота Реми.

— Ты должен написать рассказ про Бананового Короля, — твердил он. — И не вздумай провести старого маэстро и написать о чем-нибудь другом, Банановый Король — вот твоя тема. Вон он стоит, Банановый Король.

Банановый Король оказался стариком, торгующим на углу бананами. Я затосковал. Но Реми пихал меня в бок и даже тащил за ворот.

— Когда ты напишешь о Банановом Короле, ты напишешь о том, как интересен каждый человек.

Я заявил, что мне наплевать на Бананового Короля.

— Пока ты не поймешь, как много значит Банановый Король, ты так ничего и не узнаешь о том, насколько интересен каждый человек на свете, — убежденно повторил Реми.

В бухте стояло на якоре старое, проржавевшее грузовое судно, которое использовалось как бакен. Реми горел желанием туда сплавать, поэтому в один прекрасный день Ли Энн уложила в сумку завтрак, мы взяли напрокат лодку и отплыли. Реми прихватил с собой

какие-то инструменты. На судне Ли Энн разделась догола и улеглась на мостике загорать. Я любовался ею со стороны. Реми сразу же спустился в котельное отделение, где сновали крысы, и принялся колошматить по стенам в поисках медной обшивки, которой там не оказалось. Я расположился в полуразрушенной офицерской кают-компании. Этот старый-престарый корабль был когда-то прекрасно оборудован — остались еще завитки орнамента на дереве и встроенные матросские сундучки. Это был призрак Сан-Франциско времен Джека Лондона. Я грезил, сидя за столом в залитой солнцем кают-компании. Давным-давно, в незапамятные времена, здесь обедал голубоглазый капитан.

Я спустился в недра судна к Реми. Он энергично отдирает все подряд.

— Ничего! Я-то думал, тут будет медь, думал, будет хоть парочка старых гаечных ключей. Этот корабль обчистила целая шайка воругов.

Корабль стоял в бухте долгие годы. Рука, укравшая медь, уже давно перестала быть рукой. Я сказал Реми:

— С каким наслаждением я бы переночевал на этом старом суденышке! Только представь: сгустился туман, посудина вся скрипит, и слышно, как завывают бакены.

Реми был поражен; его восхищение мною удвоилось.

— Сал, если у тебя хватит духу это сделать, я заплачу тебе пять долларов. Ты что, не понимаешь, ведь на посудину могут являться призраки бывших капитанов! Да я не просто дам тебе пятерку, я привезу тебя сюда на лодке, обеспечу едой и вдобавок оставлю одеяла и свечи.

— По рукам! — сказал я.

Реми помчался рассказать о нашем уговоре Ли Энн. Я готов был броситься на нее с мачты, однако держал слово, данное мною Реми. И старался на нее не смотреть.

Тем временем я стал чаще бывать в Фриско. Чего только я не предпринимал, чтобы завести себе девушку! Однажды я до самого рассвета просидел на скамейке с одной блондинкой из Миннесоты — и безуспешно. В городе было полно гомиков. Несколько раз я брал с собой в Сан-Фран пистолет, и как только в уборной бара ко мне приближался гомик, я доставал пистолет и говорил: «Что-что? Что ты сказал?» — он удирал. Сам не знаю, зачем я это делал. У меня было

множество знакомых гомиков во всех концах страны. Наверно, все дело было в том, что в Сан-Франциско я страдал от одиночества, да еще в том, что у меня был пистолет. Должен же я был кому-то его показывать! Проходя мимо ювелирной лавки, я едва не поддался внезапному искушению выстрелить в витрину, забрать, самые лучшие кольца и браслеты и подарить их Ли Энн. Потом мы с ней могли бы сбежать в Неваду. Я понял, что если в ближайшее время не уеду из Фриско, то попросту свихнусь.

Я писал длинные письма Дину и Карло, которые в ту пору гостили у Старого Буйвола, в его хижине в районе болотистой техасской дельты. Они отвечали, что с удовольствием приедут ко мне в Сан-Фран, как только будет готово то да се. А между тем у нас с Реми и Ли Энн все пошло наперекосяк. Начались сентябрьские дожди, а с ними — и взаимные упреки. Реми с Ли Энн слетали в Голливуд с моим никчемным, дурацким киносценарием, и ничего у них не вышло. Знаменитый режиссер был пьян и даже не взглянул в их сторону. Они поколачивались возле его коттеджа в Малибу-Бич, где на глазах у прочих гостей затеяли драку, а потом вернулись домой.

Печальный итог всему этому подвела поездка на ипподром. Сунув в карман свои сбережения — около сотни долларов, Реми выдал мне кое-что из одежды, подхватил под руку Ли Энн, и мы отправились на ипподром «Золотые ворота», что неподалеку от Ричмонда, на противоположном берегу залива. Как бы в доказательство широты своей души Реми сложил половину ворованных продуктов в огромный бумажный пакет и отвез знакомой бедной вдове, которая жила в Ричмонде, в таком же муниципальном поселке, как наш, где развеивается в лучах калифорнийского солнца выстиранное белье. Мы поехали туда вместе с ним. Нас встретили грустные маленькие оборвыши. Женщина поблагодарила Реми. Она была сестрой одного моряка, которого он едва знал.

— Не беспокойтесь, миссис Картер, — произнес Реми самым своим деликатным и учтивым тоном. — Там, где мы это взяли, осталось намного больше.

На ипподроме Реми делал невероятные двадцатидолларовые ставки и уже к седьмому заезду был разорен. Поставил он и последние два доллара, припасенные нами на еду, и проиграл. В Сан-Франциско нам пришлось возвращаться автостопом. Вновь я был в

дороге. Какой-то господин подвез нас на своей шикарной машине Я сел впереди рядом с ним. Реми пытался на ходу сочинить историю о том, как он потерял под трибунами ипподрома бумажник.

— Если уж начистоту, — сказал я, — мы проиграли все деньги на скачках и, чтобы не ездить больше с ипподрома на попутках, с сегодняшнего дня будем ходить только к букмекеру, верно Реми?

От стыда Реми залился краской. В конце концов наш водитель признался, что является одним из управляющих ипподрома «Золотые ворота». Он высадил нас у первого класса отеля «Палас», и мы смотрели ему вслед, пока он не исчез из виду, скрывшись в сиянии роскошных люстр — с гордо поднятой головой, битком набитый деньгами.

— Ох, не могу! — стонал Реми на вечерних улицах Фриско. — Парадайс едет с человеком, который держит ипподром, и *клянется* перейти на букмекеров! Ли Энн, Ли Энн! — Он принялся ее тормошить и тискать. — Нет, он решительно самый потешный малый на свете! В Сосалито, должно быть, полно итальянцев! А-а-ах-ха-ха! — Чтобы всласть насмеяться, он обхватил руками столб.

Ночью полил дождь. Ли Энн то и дело бросала на нас презрительные взгляды. В доме не осталось ни цента. Дождь барабанил по крыше.

— Зарядил на неделю — сказал Реми.

Он снял свой элегантный костюм и вновь был в жалких трусах, футболке и армейской фуражке. Опустив свои чудесные печальные карие глаза, он разглядывал дощатый пол. На столе лежал пистолет. Слышно было, как где-то в дождливой ночи помирает со смеху мистер Сноу.

— Мне уже осточертел этот сукин сын, — раздраженно произнесла Ли Энн.

Ей не терпелось нарваться на скандал. Она принялась подначивать Реми, который был занят просмотром своей черной книжечки с именами людей, большей частью моряков, задолжавших ему деньги. Рядом с этими именами он красными чернилами выводил ругательства. Я содрогался при мысли о том, что тоже могу в один прекрасный день угодить в эту книжечку. В последнее время я стал посылать тетушке столько денег, что на продукты у меня оставалось лишь четыре-пять долларов в неделю. Придерживаясь того, о чем

говорил президент Трумэн, я добавлял еще на несколько долларов провизии. Но Реми казалось, что я свою долю не вношу, поэтому он с некоторых пор начал обклеивать стены ванной счетами из бакалейной лавки, длинными лентами счетов с перечнем цен, чтобы, глядя на них я все осознал. Ли Энн была убеждена, что Реми прячет от нее деньги. По правде говоря, она и меня в этом обвиняла. Она грозилась уйти от Реми.

Реми презрительно скривил губы:

— И куда же ты пойдешь, интересно знать?

— К Джимми.

— К Джимми? К кассиру с ипподрома?! Слышишь, Сал? Ли Энн собирается надеть хомут на ипподромного кассира. Не забудь прихватить с собой метлу, дорогуша, лошади на этой неделе до отвала нажрут овса на мою сотнягу.

Дело принимало все более серьезный оборот. Шумел дождь. Ли Энн поселилась в этом доме раньше, поэтому она велела Реми собирать вещи и уматывать. Он начал укладываться. Представив себе, каково мне будет сидеть в поливаемой дождем лачуге наедине с этой бешеной мегерой, я попытался вмешаться. Реми оттолкнул Ли Энн. Та метнулась к пистолету. Реми отдал пистолет мне и велел его спрятать; в пистолете была обойма с восемью патронами. Ли Энн принялась орать, а наоравшись, надела плащ и отправилась в слякоть на поиски полицейского, к тому же ей понадобился не просто полицейский, а не кто иной, как наш старый приятель Алькатрас. К счастью, того не оказалось дома. Она вернулась, насквозь промокшая. Я забился в свой угол и уткнулся лицом в колени. Господи зачем я торчу здесь, в трех тысячах миль от дома? Зачем я сюда приехал? Где-то теперь мой неспешный корабль в Китай?

— И еще одно, ты, потаскун! — вопила Ли Энн. — С сегодняшнего дня я больше не готовлю тебе ни твои похабные мозги с яйцами, ни твоего похабного барашка, приправленного керри, нечего тут набивать свое похабное брюхо, хватит жиреть и налететь у меня на глазах!

— Очень хорошо, — тихо сказал Реми. — Просто превосходно. Когда я с тобой связался, я и не ждал роз и фантазий, не удивлен я и на этот раз. Я пытался кое-что для тебя сделать — да и ради вас обоих я из сил выбивался. И оба вы меня подвели. Я страшно, страшно в вас



разочарован, — продолжал он совершенно искренне. — Я-то думал, мы вместе на что-то способны, на что-то настоящее, долговечное, я ведь старался — летал в Голливуд, нашел Салу работу, покупал тебе красивые платья, я пытался представить тебя самым замечательным людям Сан-Франциско. Вы же оба отказывались выполнять даже самые мелкие мои просьбы. Да я и не просил ничего в ответ. Теперь же я прошу об одном, последнем одолжении, и больше мне от вас ничего не надо. В субботу вечером приезжает в Сан-Франциско мой отчим. Все, о чем я прошу, — это чтобы вы поехали со мной и постарались вести себя так, будто все, что я ему писал, — правда. Короче, ты, Ли Энн, — моя девушка, а ты, Сал, — мой друг. В субботу я договорился занять сотню долларов. И собираюсь позаботиться о том, чтобы отец не скучал и мог уехать спокойно, не имея ни малейшего повода за меня беспокоиться.

Я был удивлен. Отчим Реми был известным врачом, имевшим практику в Вене, Париже и Лондоне. Я сказал:

— Ты что, серьезно собираешься потратить на отчима сто долларов? Да ты и в глаза не видел столько денег, сколько есть у него! Ты же влезешь в долги, старина!

— Все правильно, — тихо произнес Реми, и в голосе его послышались нотки человека, потерпевшего поражение. — Я прошу вас только об одной последней вещи — *постарайтесь* сделать так, чтобы все хотя бы выглядело пристойно, *постарайтесь* произвести хорошее впечатление. Я люблю своего отчима и уважаю его. Он приезжает с молодой женой. И надо отнестись к нему учтиво.

Бывали моменты, когда трудно было сыскать более добропорядочного джентльмена, чем Реми. Ли Энн была потрясена, она уже с нетерпением ждала встречи с отчимом. Она считала, что он может послужить добычей, которой так и не стал его сын.

Настал субботний вечер. Я уже бросил полицейскую службу, успев унести ноги, пока меня не выгнали за недостаточное количество арестов, и вечер этот должен был стать моим прощальным. Перво-наперво Реми и Ли Энн направились к отчиму в его гостиничный номер. У меня были деньги на дорогу, и я накачался спиртным в баре на первом этаже. Потом, страшно опоздав, я поднялся к ним. Дверь открыл отец Реми — представительный высокий мужчина в пенсне.

— А, — выговорил я, увидев его. — Мсье Бонкур, как поживаете?  
*Je suis haul!*

Эти слова я выкрикнул в полной уверенности, что по-французски они должны означать: «Я немного навеселе», однако ровным счетом ничего они по-французски не означали. Доктор растерялся. Так я начал с того, что подложил свинью Реми, которому пришлось за меня краснеть.

Обедать мы отправились в шикарный ресторан — к «Альфреду» в Норт-Бич, где бедняга Реми истратил на нас пятерых добрые полсотни долларов — на напитки и все такое прочее. И тут случилось самое страшное. В баре у «Альфреда» сидел не кто иной, как мой старый друг Роланд Мейджор! Он только что прибыл из Денвера и уже получил работу в одной сан-францисской газете. Пьян он был как сапожник. Он даже не удосужился побриться. Подлетев к нам, он с размаху ударил меня по спине в тот самый момент, когда я подносил ко рту стакан виски. Потом он шлепнулся на сиденье нашей кабинки рядом с доктором Бонкуром и, желая поговорить со мной, наклонился над его супом. Реми был красный как рак.

— Ты не представишь нам своего друга, Сал? — выдавив улыбку, спросил Реми.

— Роланд Мейджор из сан-францисской «Аргус», — произнес я, пытаясь сохранять невозмутимость. Ли Энн готова была лопнуть от злости.

Мейджор попытался завести непринужденную беседу с месье.

— Ну и как, нравится вам преподавать в школе французский? — прокричал он ему в самое ухо.

— Пardon, но я не преподаю французский.

— Разве? А я-то думал, вы преподаете французский. — Мейджор грубил совершенно сознательно. Мне вспомнилась та ночь в Денвере, когда он не дал нам устроить вечеринку; но я его простил.

Я простил всех, я махнул на все рукой, я напился. С молодой женой доктора я заговорил о розах и фантазиях. Пил я так много, что каждые две минуты вынужден был выходить в уборную, а для этого приходилось прыгать через колени д-ра Бонкура. Все разваливалось на части. Мне больше нечего было делать в Сан-Франциско. Никогда больше Реми не будет со мной разговаривать. Это было ужасно, потому что я очень любил Реми, и вдобавок я был одним из тех очень

немногих людей, которые знали, какой он благородный, искренний малый. Чтобы весь этот кошмар остался для него позади, потребуются годы. Все случившееся было просто катастрофой в сравнении с тем, о чем я писал ему из Патерсона, когда планировал пересечь Америку по красной линии дороги номер шесть. И вот я добрался до самого края Америки — дальше уже не было земли, и некуда было ехать, только назад. Я принял решение совершить хотя бы небольшое турне: тотчас же отправиться в Голливуд, а оттуда — через Техас, чтобы повидать свою болотную шайку. И к черту все остальное.

Мейджора вышвырнули из «Альфреда». Обед все равно кончился, так что я ушел с ним. Вернее, уйти мне посоветовал Реми, вот я и отправился с Мейджором пить. Мы уселись за столик в «Железном котелке», и Мейджор громко произнес:

— Сэм, не нравится мне этот педик у стойки.

— Да, Джейк? — отвечивал я.

— Сэм, — сказал он, — кажется, я сейчас встану и дам ему в хайло.

— Нет, Джейк, — сказал я, все так же подделываясь под Хемингуэя, — давай-ка наладимся отсюда, а там посмотрим, что из этого выйдет.

На углу мы шатаясь разошлись в разные стороны. Наутро, пока Реми и Ли Энн спали, я с некоторой грустью оглядел большую кипу белья, которую мы с Реми наметили постирать в стоявшей в глубине лачуги машине «Бендикс» (действие это всегда вызывало бурную радость темнокожих соседак и помирающего со смеху мистера Сноу), и решил ехать. Я вышел на крыльцо.

— Нет, черт возьми, — сказал я себе, — я же обещал, что не уеду, пока не взберусь вон на ту гору. — Это был большой склон каньона, непостижимым образом ухилившийся к Тихому океану.

И я провел там еще одно утро. Было уже воскресенье. Стояла невыносимая жара. День обещал быть прекрасным, в три солнце побагровело, и жара спала. Я начал восхождение и в четыре добрался до вершины горы. Склоны ее поросли восхитительными калифорнийскими тополями и эвкалиптами. На подступах к вершине деревьев уже не было — только камни и трава. Там, на высоких прибрежных лугах, пасся скот. А вдали, за предгорьями, раскинулся Тихий океан, синий и безбрежный, с его громадной стеной белизны,

надвигающейся на город с легендарной картофельной грядки, где рождаются туманы Фриско. Еще час, и эта стена перенесется сквозь Золотые Ворота, чтобы окутать белизной этот романтический город, и молодой парень возьмет за руку свою девушку и неторопливо пойдет вверх по длинному белому тротуару с бутылкой токайского в кармане. Это и есть Фриско: и прекрасные женщины, стоящие в белых дверях в ожидании своих мужчин, и Башня Койт, и Эмбар-кадеро, и Маркет-стрит, и одиннадцать густонаселенных холмов.

Я вертелся на одном месте, пока не закружилась голова. Мне казалось, что, словно во сне, я упаду сейчас прямо в пропасть. Где же девушка, которую я люблю? Я размышлял и смотрел во все стороны, как прежде смотрел во все стороны в маленьком мирке внизу. А впереди была суровая выпуклая громада моего Американского континента. Где-то далеко, на другом краю, выбрасывал в небо свое облако пыли и бурого дыма мрачный, сумасшедший Нью-Йорк. В Востоке есть что-то бурое и священное; а Калифорния бела, как вывешенное на просушку белье, и легкомысленна — по крайней мере, так я думал тогда.

Реми и Ли Энн еще спали, когда я тихо уложил вещи, выскользнул в окно — тем же путем, что пришел, — и со своим парусиновым мешком покинул Милл-Сити. Так я и не провел ночь на старом корабле-призраке — он назывался «Адмирал Фриби», — и мы с Реми проиграли друг другу.

В Окленде я выпил пива в полном бродяг салуне с фургонным колесом на фасаде — снова я был в дороге. Пройдя пешком весь Окленд, я добрался до шоссе на Фресно. За две поездки я покрыл четыреста миль к югу, до Бейкерсфилда. Первая была безумная, с упитанным светловолосым малым в старой машине с форсированным двигателем.

— Видишь этот палец на ноге? — спросил он, выжимая из своей колымаги восемьдесят миль в час и обгоняя всех на своем пути. — Смотри. — Палец был замотан бинтами. — Мне его сегодня утром ампутировали. Эти ублюдки хотели, чтоб я остался в больнице. А я собрал манатки и смотался. Подумаешь, палец!

Это уж точно, решил я, мы-то так легко не отделаемся. Я весь напрягся. Свет не видывал подобного болвана за рулем. В мгновение ока мы оказались в Трейси. Трейси — это железнодорожный поселок. В закусных близ путей едят свою грубую пищу тормозные кондуктора. С ревом уносятся в долину поезда. Долго заходит багровое солнце. Мелькают наяву все волшебные названия долины: Мантека, Мадера — все. Вскоре сгустились сумерки — виноградные сумерки, лиловые сумерки над мандариновыми рощами и нескончаемыми бахчами; солнце цвета давленого винограда, раненое солнце цвета красного бургундского; поля цвета любви и испанских тайн. Я высунулся в окошко и несколько раз глубоко вдохнул ароматный воздух. Это было прекраснейшее мгновение.

Мой безумец работал тормозным кондуктором в компании «Сазерн Пасифик» и жил в Фресно. Отец его тоже был тормозным кондуктором. Палец он потерял на сортировочной станции в Окленде — как именно, до меня так толком и не дошло. Он довез меня до шумного Фресно и высадил у его южной черты. Я наскоро плотнул

кока-колы в крошечной бакалейной лавчонке у железнодорожных путей, а вдоль красных товарных вагонов прошел грустный американский юноша, в ту же секунду взвыл паровоз, и я сказал себе, да-да, настоящий сарояновский городок.

Путь мой лежал на юг, и я вышел на дорогу. Подобрал меня парень в новеньком пикапе. Он был из Лаббока, Техас, и занимался торговлей жилыми автоприцепами.

— Хочешь купить прицеп? — спросил он меня. — Как захочешь, разыщи меня. — Он рассказал мне о своем отце, живущем в Лаббоке: — Как-то вечером мой старик позабыл на сейфе всю дневную выручку — память отшибло. И вот те на — ночью явился вор с ацетиленовой горелкой и всем прочим, вскрыл сейф, наскоро просмотрел бумаги, перевернул несколько стульев и ушел. А та тысяча долларов преспокойненько осталась лежать на сейфе, как тебе это нравится?

Он высадил меня южнее Бейкерсфилда. Там-то и началось мое приключение. Похолодало. Надев тонкий армейский плащ, купленный за три доллара в Окленде, я стучал зубами на дороге. Напротив меня был нарядный, в испанском стиле, мотель, который сверкал, как драгоценный камень. Мимо неслись в сторону Лос-Анджелеса автомобили. Я махал руками как ненормальный. Холод был невыносимый. Проклиная все на свете, я простоял там до полуночи, битых два часа. Повторялась история со Стюартом, Айова. Оставалось одно: потратить два с лишним доллара и проехать остаток пути до Лос-Анджелеса на автобусе. Я отправился пешком вдоль шоссе назад, в Бейкерсфилд, вошел в автовокзал и уселся на лавку.

Я уже купил билет и ждал лос-анджелесский автобус, как вдруг мне на глаза попала миловидная мексиканочка в брюках. Она приехала в одном из автобусов, только что остановившихся с громким вздохом пневматических тормозов; пассажиры выходили размяться на остановке. Грудь девушки прямо и откровенно выпирала, маленькие бедра выпядели аппетитно, волосы были длинные и атласно-черные, а глаза — огромные и голубые, и в них притаилась застенчивость. Я был в отчаянии оттого, что не еду с ней в одном автобусе. Мое сердце пронзила боль, возникавшая всякий раз, как я видел девушку, которую люблю и которая направляется в противоположную сторону этого слишком большого мира. Диктор объявил посадку на лос-

анджелесский автобус. Я взял свой мешок и вошел, а там, совсем одна, сидела именно та самая мексиканка. Опустившись на сиденье прямо напротив нее, я немедленно начал разрабатывать план действий. Таким одиноким я был, таким печальным и усталым, таким продрогшим, разбитым и измученным, что мне пришлось собрать в кулак всю свою решимость — решимость, необходимую для того, чтобы подойти к незнакомой девушке. И я это сделал. Однако еще добрых пять минут, пока автобус набирал скорость, я лишь нервно похлопывал себя во тьме по ляжкам.

Ты должен, должен, иначе тебе конец! Заговори же с ней, чертов идиот! Что с тобой? Неужели ты еще не устал от самого себя? И, сам не сознавая, что делаю, я наклонился к ней через проход (она пыталась уснуть) и сказал:

— Мисс, может, вы подложите под голову мой плащ?

Она с улыбкой взглянула на меня и ответила:

— Нет, большое спасибо.

Весь дрожа, я сел на место; потом зажег окурочек сигареты, подождал, пока девушка не посмотрела на меня с примесью печали и любви во взгляде, и тогда встал, склонился над ней:

— Можно сесть рядом с вами, мисс?

— Пожалуйста.

Я сел.

— Куда едете?

— В Эл-Эй<sup>[5]</sup>.

Я влюбился в то, как она сказала «Эл-Эй»; я влюблен в то, как все на побережье говорят «Эл-Эй». В конце концов, это их единственный и неповторимый золотой город.

— Так ведь и я еду туда же! — вскричал я. — Я очень рад, что вы разрешили мне с вами сесть, мне было страшно одиноко, я чертовски долго путешествовал.

И мы принялись рассказывать каждый свою историю. Ее рассказ был таким: у нее были муж и ребенок. Муж бил ее, поэтому она бросила его в Сабинале, к югу от Фресно, и ехала теперь в Лос-Анджелес пожить какое-то время у сестры. Маленького сынишку она оставила у родных, которые были сборщиками винограда и жили среди виноградников в маленькой хижине. Ей же только и оставалось, что предаваться скорби и сходить с ума. Мы болтали без умолку, а я

чувствовал неодолимое желание ее обнять. Она призналась, что ей очень нравится со мной разговаривать. А вскорости уже жалела, что не может уехать со мной в Нью-Йорк.

— А почему бы и нет? — Я рассмеялся.

Автобус, пыхтя, въехал на Виноградный перевал, и мы начали спуск к раскинувшимся до самого горизонта огонькам. Не сговариваясь, мы взяли за руки, и так же молча было принято прекрасное, целомудренное решение: когда я сниму номер в лос-анджелесской гостинице, она останется там со мной. Всем существом я стремился к ней. Я зарылся головой в ее прекрасные волосы. Ее слабые узкие плечи сводили меня с ума, я крепко обнял ее. И она этого хотела.

— Я люблю любовь, — сказала она, закрыв глаза.

И я пообещал ей прекрасную любовь. Я так и пожирал ее взглядом. Истории наши были рассказаны, и мы погрузились в молчание, полное сладких предчувствий. Все оказалось на удивление просто. Так что пускай вам достаются хоть все раскрасавицы на свете — все Бетти, Мерилу, Риты, Камиллы и Инессы, — а я нашел свою девушку, потому что искал девушку именно с такой душой, и я ей об этом сказал. Она призналась, что заметила, как я наблюдал за ней на автобусной станции.

— Я еще подумала, что ты просто славный студентик.

— А я и есть студентик, — подтвердил я.

Автобус прибыл в Голливуд. На рассвете, сером и ненастном, похожем на тот рассвет в фильме «Странствия Салливана», когда Джоэл Маккри встретил в ресторанчике Веронику Лейк, она спала у меня на коленях. Я с жадностью глядел в окошко: оштукатуренные дома, пальмы и драйв-ины<sup>[6]</sup> — весь сумасшедший набор, обшарпанная обетованная земля, причудливый рай Америки. Мы вышли из автобуса на Мэйн-стрит, которая ничуть не отличалась от тех улиц, где вы выходите из автобуса в Канзас-Сити, Чикаго или Бостоне, — красный кирпич, грязь, мимо дрейфуют подозрительные тины, в безысходном рассвете скрипят трамваи, блудливый дух большого города.

И тут, сам не знаю почему, я вдруг потерял голову. Меня стала преследовать идиотская навязчивая идея: я решил, что Тереза, или Терри, — так ее звали — всего-навсего обыкновенная проституточка,



которая работает в автобусах и вытягивает из парней денежки, договариваясь о таком свидании, как наше в Лос-Анджелесе, — сперва ведет своего молокососа завтракать в такое место, где уже ждет ее сутенер, а потом в какую-нибудь гостиницу, куда тот врывается с пистолетом или уж не знаю с чем. Во всем этом я ей так и не признался. Мы завтракали, а за нами наблюдал сутенер; я вообразил себе, что Терри с ним исподтишка переглядывается. Я устал и чувствовал себя чужим и потерянным в этом далеком гнусном месте. Кретинский страх лишил меня остатков разума и заставил поступить мелочно и недостойно.

— Ты знаешь этого парня? — спросил я.

— О каком парне ты говоришь, милый?

Я осекся. Она все делала неторопливо; еда отняла у нее много времени. Жевала она не спеша, уставившись в пространство, а доев, закурила, и все это время непрерывно болтала, я же сидел измочаленный, как призрак, и каждый ее жест вызывал у меня подозрение, я был уверен, что она умышленно тянет время. Я был просто-напросто болен. Когда мы, взявшись за руки, шли по улице, я взмок от пота. В первой же гостинице оказался свободный номер, и, прежде чем до меня это дошло, я уже запираю за собой дверь, а Терри сидела на кровати и снимала туфли. Я смиренно поцеловал ее. Лучше бы ей ни о чем не догадываться. Я знал: чтобы успокоить нервы, нам необходимо виски — особенно мне. Выбежав на улицу, я в спешке промчался кварталов десять и наконец увидел в газетном киоске выставленную на продажу пинту виски. Из последних сил я побежал назад. Терри прихорашивалась в ванной. Я налил в стакан большую порцию на двоих, и мы стали по очереди отхлебывать виски. Ах как оно было приятно на вкус! И одно это с лихвой оправдывало все мои скорбные странствия. Я встал позади нее у зеркала, и прямо в ванной мы принялись танцевать. Я завел разговор о друзьях, которых оставил на Востоке.

— Вот бы тебе познакомиться с одной великолепной девушкой, ее зовут Дори. В ней добрых шесть футов росту, и вдобавок она рыжая. Если приедешь в Нью-Йорк, она поможет тебе найти работу.

— Это что еще за шестифутовая рыжая? — с подозрением спросила она. — Зачем ты мне о ней рассказываешь?

Ее бесхитростная душа не могла постичь, почему я так взбудоражен. Я оставил эту тему. Уже в ванной она начала пьянеть.

— Пойдем в койку, — твердил я.

— Шестифутовая рыжая, говоришь? А я-то думала, ты милый студентик, увидела тебя в этом прелестном свитере и сказала себе: хм-м, ну не милашка ли он? Нет! Нет! И нет! Ты наверняка просто гнусный сутенер, как и все они!

— О чем это ты?!

— Нечего тут стоять и доказывать, что эта шестифутовая рыжая не мадам, мне ведь стоит услышать про мадам, как я ее тут же распознаю, а ты — ты просто сутенер, как и все, кто мне попадается, все вы сутенеры!

— Послушай, Терри, никакой я не сутенер. Могу поклясться на Библии. Да и почему это я должен быть сутенером? Меня интересуешь только ты.

— А я-то все время думала, что встретила милого мальчика. Я была так рада, я поздравила сама себя и сказала: вот наконец милый мальчик, а не сутенер.

— Терри, — молил я всей душой. — Пожалуйста, выслушай меня и пойми: я не сутенер.

Еще час назад я думал, что она проститутка. Как это было грустно! Наши мозги, с их неиссякаемым запасом безумия, попросту сдвинулись набекрень. О мерзкая жизнь, как я ныл и умолял! А потом вконец рехнулся и вообразил, что молю тупую мексиканскую девчонку, и так ей и сказал, после чего, сам не соображая, что делаю, я поднял с пола ее красные туфельки, швырнул их о дверь ванной и велел ей убираться:

— Давай сматывай удочки!

Я просплюсь и все забуду; у меня была своя жизнь своя собственная печальная и вечно неустроенная жизнь. В ванной наступила мертвая тишина. Я разделся и улегся спать. Терри вышла из ванной со слезами сожаления на глазах. Своим незамысловатым забавным умишком она дошла, что сутенеры не швыряют туфли женщины в дверь и не велят ей убираться. В исполненной благоговения сладкой тишине она сбросила с себя всю одежду, и ее маленькое тело скользнуло ко мне под простыни. Оно было смуглым, как виноградные гроздья. Я увидел ее плоский животик со шрамом от

кесарева сечения: бедра ее были такими узкими, что родить она могла, только будучи чуть ли не надвое рассеченной. Ножки ее напоминали палочки. Ростом она была всего четыре фута десять дюймов. В сладостном утреннем нетерпении мы занялись любовью. А потом мы, два усталых ангела, заброшенные судьбой в Лос-Анджелес и всеми позабытые, познав ни с чем не сравнимое очарование близости, уснули и проспали почти до вечера.

Следующие пятнадцать дней мы делили и радость и горе. Проснувшись, мы решили вместе добираться автостопом до Нью-Йорка и там не расставаться. Я предвидел безумные сложности с Дином и Мерилу, да и со всеми прочими, — сезон, новый сезон. Первым делом надо было заработать деньги на поездку. Терри же горела желанием немедленно отправиться в путь с теми двадцатью долларами, которые у меня еще оставались. Я был против. И как полоумный целых два дня пытался решить эту проблему, изучая в закуточных и пивных объявления о найме, помещенные в сумасшедших лос-анджелесских газетах, подобных которым я в жизни не видывал. За это время моя двадцатка превратилась в десятку с мелочью. В своем тесном гостиничном номере мы были неподдельно счастливы. Как-то плубокой ночью, не в силах уснуть, я встал, натянул покрывало на обнаженное смуглое плечико моей малютки и принялся изучать лос-анджелесскую ночь. Что за гнусные, душные, оглашаемые жалобным воем сирен там были ночи! Напротив, на той стороне улицы, случилось несчастье. Ветхий, покосившийся захудалый пансион превратился в сценические подмостки для какой-то трагедии. Внизу стояла полицейская машина, и копы допрашивали седовласого старика. Изнутри доносились рыдания. Я слышал все вперемежку с жужжанием нашего гостиничного неона. Большей печали я не чувствовал за всю свою жизнь. Лос-Анджелес — самый унылый и жестокий из американских городов; в Нью-Йорке зимой страшно холодно, но кое-где, на некоторых улицах, выручает чувство сумасбродного товарищества. А Эл-Эй — это настоящие джунгли.

Саут-Мэйн-стрит, где мы с Терри прогуливались, подкрепляясь сосисками, была невообразимым карнавалом огней и буйства. Почти на каждом углу кого-нибудь обыскивали копы в высоких сапогах, тротуары кишели самыми разбитными типами в стране — и все это под теми тусклыми южнокалифорнийскими звездами, что теряются в буром ореоле над гигантским лагерем, коим и является Лос-Анджелес на самом деле. Можно было учуять, как в воздухе носится запах чайка, травки — то есть марихуаны, — смешанный с запахами

сдобренных жгучим красным перцем бобов и пива. Из пивных выплывали великолепные, неистовые звуки «бопа»; в американской ночи они сливались в попури со всевозможными ковбойскими мелодиями и буги-вуги. Все до одного были похожи на Хассела. Смеясь, шли неукротимые негры в кепочках стиля «боп» и с эспаньолками; потом — измученные длинноволосые хипстеры, свернувшие с ведущей из Нью-Йорка Дороги 66; за ними — старые контрабандисты из пустыни, навьюченные узлами и спешащие занять скамейку в сквере на Плаза; затем — методистские священники с протертыми на локтях рукавами и одинокий святой отшельник с бородой и в сандалиях. Мне хотелось познакомиться со всеми, с каждым поговорить, но мы с Терри были слишком поглощены добыванием денег.

Мы отправились в Голливуд в надежде получить работу в аптеке на углу Сансет и Вайн. Вот это был угол! Тротуар был запружен целыми семействами из глубинки, вылезшими из своих колымаг и стоявшими разинув рты в предвкушении встречи с кинозвездой, а кинозвезда все никак не появлялась. Когда мимо проезжал роскошный лимузин, они нетерпеливо мчались к бордюру и приседали, пытаясь заглянуть внутрь: там, рядом с увешанной драгоценностями блондинкой, сидел некий тип в темных очках.

— Дон Амече! Дон Амече!

— Нет, Джордж Мерфи! Джордж Мерфи!

Они кружили в толпе и приглядывались друг к другу. Повсюду разгуливали смазливые тщеславные гомики с холеными руками, приехавшие в Голливуд играть ковбоев. Все, как одна, в брючках прошмыгнули прекраснейшие девушки на свете: они приезжали в надежде стать звездами экрана, а кончали в драйв-инах. В этих драйв-инах и мы с Терри попытались найти работу. Всюду была полнейшая безнадега. Голливудский бульвар был нескончаемым, оглушительным автомобильным безумием: по меньшей мере раз в минуту происходили небольшие аварии. Все мчались в сторону самой дальней пальмы — а там, за ней, была пустыня, ничто. У шикарных ресторанов стояли голливудские кутилы, споря между собой точно так же, как спорят бродвейские кутилы у «Джакобс-Бич» в Нью-Йорке, разве что костюмы на здешних были попроще, да и сами споры банальней. Мимо протрусили высокие, смертельно бледные

проповедники. Бульвар перебежали толстые крикливые женщины, стремившиеся занять очередь на викторину. Я видел, как покупал автомобиль в «Бьюик Моторс» Джерри Колонна: он стоял за громадной витриной зеркального стекла и теребил свои *musta-chio*. В центре мы с Терри поели в закусочной, которая была отделана под пещеру, украшенную металлическими сиськами, пускающими во все стороны струи воды, и громадными каменными ягодицами, принадлежащими безликим божествам, возглавляемым покрытым мыльной пеной Нептуном. Среди этих водопадов поедали свои скорбные блюда люди с позеленевшими от тоски по пище лицами. Все полицейские в Лос-Анджелесе были похожи на смазливых альфонсов; наверняка они приехали в Эл-Эй заниматься киноискусством. Все приезжали туда заниматься киноискусством, даже я. В конце концов мы с Терри докатились до того, что стали искать работу на Саут-Мэйн-стрит, среди падших приказчиков и посудомоек, которым, впрочем, было начхать на свое падение, но и там ничего не выгорело. У нас оставалось десять долларов.

— Слушай, я забираю у сестрицы свою одежду, и мы отправляемся автостопом в Нью-Йорк, — сказала Терри. — Поехали, дружище. Так и сделаем. «Раз ты не танцуешь буги, буду я тебя учить».

Эту песенку она напевала постоянно. Мы поспешили к дому ее сестры, который стоял среди серебристых мексиканских лачуг где-то на задворках Аламеда-авеню. Я остался ждать на темной улочке позади мексиканских кухонек, потому что сестре ни к чему было меня видеть. Мимо бегали собаки. Крошечные крысиные улочки освещались тусклыми фонарями. Слышно было, как в тихой теплой ночи Терри спорит с сестрой. Я был готов ко всему.

Терри вышла и отвела меня за руку на Централ-авеню — красочную главную улицу Лос-Анджелеса. Ну и безумное же это место — с забегаловками, едва способными вместить музыкальный автомат, а музыкальный автомат не играет ничего, кроме блюза, бопа и джампа. По замызганным ступеням мы поднялись в комнату, где жила подруга Терри, Маргарина, которая одолжила Терри юбку и пару туфель. Маргарина была привлекательной мулаткой, а муж ее был черен, как пиковая масть, и добродушен. Желая принять меня как подобает, он сбегал за пинтой виски. Я хотел внести часть денег, но он

не взял. У них было двое детишек. Они резвились на кровати — своей площадке для игр. Обхватив меня ручонками, они принялись с удивлением разглядывать незнакомого дядю. Бурная рокошущая ночь Сентрал-авеню — ночь «Пробки на Сентрал-авеню» Хампа — все ревела и гудела снаружи. Пели в коридорах, пели в окнах — так и хотелось послать все к черту и пойти полюбоваться. Терри взяла свои вещи, и мы распрощались. Зайдя в одну из забегаловок, мы послушали музыкальный автомат. Парочка чернокожих что-то шептала мне на ухо про чаёк. Один доллар. Я сказал, годится, несите. Появился их поставщик. Он жестом позвал меня в подвальную уборную, где я тупо стоял, пока он твердил:

— Поднимай, старина, поднимай.

— Что поднимать? — спросил я.

Он уже взял мой доллар и теперь боялся показать пальцем на пол. Там лежало нечто напоминающее маленькую бурую какашку. Парень был до нелепости осторожен.

— Приходится остерегаться, дела на этой неделе стремные.

Я поднял какашку, которая оказалась свернутой из коричневой оберточной бумаги сигаретой, вернулся к Терри, и мы отправились в гостиницу кайфовать. Кайфа, однако, не вышло. Это был табак «Булл Дарем». Оставалось лишь пенять на себя за столь безрассудную трату денег.

Мы с Терри должны были раз и навсегда решить, что нам делать. И решили голосовать до Нью-Йорка с оставшимися у нас деньгами. Еще вечером она взяла у сестры пятерку, и теперь у нас было долларов тринадцать. Чтобы не платить еще за один день проживания в номере, мы собрали вещи и на какой-то красной машине добрались до Аркадии, Калифорния, где под укрытыми снегом горами расположен ипподром «Санта Анита». Настала ночь. Мы стремились в глубь Американского континента. Взявшись за руки, мы прошли несколько миль по дороге, чтобы выбраться из населенной местности. Когда мы стояли под фонарным столбом и голосовали, мимо нас вдруг промчались полные подростков машины с развевающимися вымпелами. «Ура! Ура! Мы победили!» — орали они. Потом они начали громкими криками приветствовать нас, шумно ликуя по поводу того, что увидели на дороге парня с девушкой. Проехало несколько дюжин таких заполненных молодыми людьми машин,

откуда раздавались, как говорится, «гортанные юные голоса». Я возненавидел каждого из этих юнцов. Что они о себе мнили, крича на каждого встречного только потому, что были молокососами из средней школы, а их родители по субботам нарезали за столом ростбиф? Что они о себе мнили, смеясь над девушкой, доведенной до нищеты, и над парнем, который хочет любить и быть любимым? Мы же в их дела не лезли. И ни одна треклятая машина не остановилась. Пришлось пешком вернуться в город. Больше всего на свете нам хотелось кофе, и, на беду, мы зашли в единственное открытое заведение, которое оказалось буфетом для школьников, а там были все те же ребята, и они нас помнили. Теперь они увидели, что Терри — мексиканка, нищая дикарка из мексиканского квартала, а парень ее — и того хуже.

Терри почуяла опасность и выбежала оттуда, и в темноте мы принялись бродить вдоль кювета. Я тащил сумки. Мы дышали туманом, насыщавшим холодный ночной воздух. Наконец я решил вместе с Терри укрыться от мира еще на одну ночь, а утром — пропади все пропадом. Мы отправились в мотель, и доллара за четыре сняли уютный маленький номер: душ, полотенца, радио на стене и все такое прочее. Мы крепко прижались друг к другу. Приняв душ, мы долго, серьезно говорили о многих важных вещах — сперва при свете, потом в темноте. Что-то я ей доказывал, в чем-то убеждал, а она соглашалась, и во тьме, задыхаясь, счастливые, как ягнята, мы заключили договор.

Наутро мы смело взялись за осуществление нашего нового плана. Мы решили поехать на автобусе в Бейкерсфилд и поработать на сборе винограда, а потом, через несколько недель, направиться в Нью-Йорк нормальным путем — на автобусе. В Бейкерсфилд мы с Терри ехали просто замечательно: откинулись на сиденье, расслабились, болтали, разглядывали проносившуюся мимо сельскую местность, и ничто на свете нас не тревожило. Приехали мы под вечер. Согласно плану, мы должны были пройтись по всем оптовым торговцам фруктами в городе. Терри сказала, что мы сможем жить в палатке, прямо на рабочем месте. Идея жить в палатке, а прохладным калифорнийским утром собирать виноград пришлась мне по душе. Вот только работу нам никто не предложил, все лишь запутывали нас бесчисленными добрыми советами, а самой работой и не пахло. Однако настроение



наше поднялось после обеда в китайском ресторанчике, откуда мы вышли, основательно подкрепившись. Перейдя железную дорогу, мы попали в мексиканский квартал. Терри принялась щебетать со своими собратями, пытаясь выяснить, где можно найти работу. Наступил вечер, и засиявшая огнями мексиканская улочка стала похожа на один громадный фонарь: шатры с кинозалами, фруктовые киоски, пассажи с грошовыми лавчонками, сотни стоящих рядами полуразвалившихся грузовиков и заляпанных грязью легковушек. Целые семейства мексиканских сборщиков фруктов бродили, жуя кукурузные хлопья. Терри с каждым вступала в разговор. Меня начало охватывать отчаяние. Что мне было необходимо — да и Терри бы не помешало — так это выпивка, поэтому мы купили за тридцать пять центов кварту калифорнийского портвейна и отправились пить на сортировочную станцию. Там мы отыскивали место, где бродяги сдвинули к костру упаковочные корзины. Усевшись на них, мы принялись за вино. Слева от нас стояли товарные вагоны, унылые и черновато-красные в лунном свете; прямо перед нами были огни и аэродромные вышки Бейкерсфилда; справа — громадный сборный алюминиевый пакгауз. Да, это была прекрасная ночь, теплая ночь, хмельная и лунная — ночь, когда надо сжимать в объятиях свою девушку, болтать, и поплевывать, и быть на седьмом небе от счастья. Чем мы и занимаюсь. Терри оказалась просто маленькой пьянчужкой, она и меня заткнула за пояс и до полуночи беспрерывно болтала. Мы словно приросли к нашим корзинам. Изредка мимо шли бродяги, мексиканки с детьми, подъехала патрульная машина, и коп вышел отлить, но в общем-то мы были одни, все теснее и теснее сливались наши души, и вот уже стало ясно, как тяжело будет сказать друг другу «прощай». В полночь мы поднялись и потащились к шоссе.

У Терри появилась новая идея. Мы доберемся на попутках до Сабинала, ее родного города, и проживем в гараже ее брата. А я был согласен на что угодно. На дороге я усадил Терри на мой мешок, и она стала похожа на женщину, попавшую в беду. В ту же минуту остановился грузовик, и мы, ликуя, помчались к нему. Парень оказался неплохим; его грузовик — никудышным. С грохотом он еле полз по долине. До Сабинала мы добрались перед самым рассветом. Пока Терри спала, я прикончил вино и был мертвецки пьян. Мы выбрались из машины и побрели по тихой, поросшей зеленью

площади маленького калифорнийского городка — полустанка на железнодорожной линии «Сазерн Пасифик». Шли мы на поиски дружка Терриного брата, который мог знать, где тот находится. Дома никого не оказалось. Когда начало светать, я лежал на спине на газоне посреди городской площади и только и знал, что твердил: «Ты же не скажешь, что он делал в травке, верно? Что он делал в травке? Ты же не скажешь, а? Что он делал в травке?» Это из фильма «О мышах и людях», там Берджес Мередит разговаривает с управляющим ранчо. Терри хихикала. Ей нравилось все, что бы я ни делал. И валяйся я так до того момента, когда пойдут в церковь местные дамы, ее бы и это не смутило. Однако в конце концов я воспрял духом, решив, что уж братец-то ее нам должен помочь, и отвел Терри в старую гостиницу у железной дороги, где мы с комфортом улеглись спать.

Ясным солнечным утром Терри поднялась спозаранку и отправилась на поиски брата. Я проспал до полудня. Проснувшись, я выпянул в окно и неожиданно увидел проезжавший мимо товарняк компании «Сазерн Пасифик» с сотнями бродяг, развалившихся на вагонах-платформах, подложив под голову свои котомки; одни хохотали, уставившись в газетный юмор, другие чавкали подобранным по дороге замечательным калифорнийским виноградом.

— Черт подери! — вскричал я. — Вот это да! Вот она, земля обетованная!

Все они ехали из Фриско; через неделю они в том же роскошном стиле покатают назад.

Пришла Терри с братом, его дружкой и своим ребенком. Братец оказался щеголеватым пылким мексиканцем, к тому же большим любителем выпить, короче — парнем что надо. Его высокий располневший дружок, тоже мексиканец, говорил по-английски почти без акцента, он был криклив и просто горел желанием угождать. Я заметил, что он явно неравнодушен к Терри. Ее славному темноглазому Джонни было семь лет. Наконец все были в сборе, и начался еще один безумный день.

Братца звали Рики. У него был «Шевроле-38». Мы набились в машину и отправились неизвестно куда.

— Куда мы едем? — спросил я.

За разъяснения взялся дружок, которого все звали Понзо. От него воняло. Оказалось, он продает фермерам навоз; у него был грузовик.

Рики всегда имел в кармане доллара три-четыре и ко всему относился беспечно. Он то и дело повторял: «Все в порядке, старина, ты же едешь — ты же е-ешь, ты же е-ешь!» И ехал. Из своей старой развалюхи он выжимал семьдесят миль в час, а ехали мы в Мадеру, что за Фресно, повидать каких-то фермеров по поводу навоза. У Рики была бутылка.

— Сегодня пьем, завтра работаем. Ты же е-ешь, старина, ну-ка плотни!

Терри с малышом устроились на заднем сиденье. Я обернулся и увидел, как она раздумянулась, радуясь возвращению домой. За окошком с сумасшедшей скоростью проносилась прекрасная зеленеющая сельская местность октябрьской Калифорнии. Я снова был в стельку пьян и уже едва соображал.

— Куда мы сейчас едем, старина?

— Надо найти фермера, у которого есть немного навоза. Завтра вернемся за ним на грузовике. Мы заработаем кучу денег, дружище. Ни о чем не беспокойся.

— Мы все заодно! — завопил Понзо. Я видел, что это так и есть. Куда бы я ни приехал, везде все были заодно. Мы промчались по сумасшедшим улицам Фресно и свернули в долину, где у проселочных дорог жили нужные нам фермеры. Понзо вылезал из машины и заводил со старыми фермерами-мексиканцами бессвязный разговор. Разумеется, все было впустую.

— Что нам нужно, так это выпить! — заорал Рики, и мы направились в салун на перекрестке. По воскресеньям после полудня американцы всегда пьют в салунах на перекрестках. Они берут с собой своих малышей; они пьют пиво и затевают бессмысленные ссоры и драки — развлеченьице хоть куда! К вечеру детишки поднимают рев, а родители уже пьяны. Пошатываясь, они возвращаются домой. В каком бы конце Америки я ни попадал в салун на перекрестке, везде пили целыми семьями. Малыши жуют кукурузные хлопья и картофельную стружку и резвятся поблизости. Так было и здесь. Рики, я, Понзо и Терри сидели, пили и пытались перекричать музыку. Малютка Джонни дурачился с другими детьми возле музыкального автомата. Солнце уже стало багровым. Так ничего и не было сделано. А что надо было сделать?

— *Mañana*<sup>[7]</sup>, — сказал Рики, — *тайна*, дружище, мы все сделаем. Выпей еще пивка, старина, ты же е-ешь, *ты же е-ешь!*

Мы вывалились наружу и забрались в машину. Теперь мы направлялись в бар на шоссе. Понзо был здоровенным, шумным и горластым типом, знавшим всех и каждого в долине Сан-Хоакин. Выйдя из бара на шоссе, мы с ним сели в машину и отправились на поиски фермера, однако оказались в мексиканском квартале Мадеры, где принялись глазеть на девиц, попытавшись заодно кое-кого из них снять — для него и для Рики. А потом, когда на виноградную страну опустились лиловые сумерки, я обнаружил, что молча сижу в машине, а Понзо препирается у кухонной двери со старым американцем, пытаясь сбить цену на арбуз, который старик вырастил у себя на заднем дворе. Арбуз мы заполучили и немедленно съели, а корки выбросили на грязный тротуар у стариковского дома. По темнеющим улицам шли хорошенькие девочки. Я сказал:

— Какого черта, где мы?

— Не волнуйся, дружище, — ответил здоровяк Понзо. — Завтра мы заработаем кучу денег, а сегодня не о чем волноваться.

Мы вернулись обратно, захватили Терри с братом и малышом и сквозь ночные шоссежные огни покатали во Фресно. Все были безумно голодны. Во Фресно, проскочив железнодорожное полотно, мы выехали на буйные улицы мексиканского квартала. Из окон высовывались поглазеть на вечерние воскресные улицы странного вида китайцы. Важно расхаживали мексиканочки в брючках, из музыкальных автоматов гремели звуки мамбо. Словно в канун Дня Всех Святых, все было увешано гирляндами огней. Мы направились в мексиканский ресторан, где заказали тако и пюре из пятнистых бобов в тортильях; обед был просто отменный. Я вынул свою последнюю замусоленную пятерку, которая еще как-то связывала меня с побережьем Нью-Джерси, и заплатил за нас с Терри. Теперь у меня оставалось четыре доллара. Мы с Терри посмотрели друг на друга.

— Где мы будем ночевать, крошка?

— Не знаю.

Рики был пьян. Произносил он уже только одно: «Ты же е-ешь, старина... ты же е-ешь» — слабым, усталым голосом. Это был длинный день. Никто из нас не понимал ни что происходит, ни что сулит нам впереди божественное провидение. Бедняжка Джонни

уснул у меня на руках. Мы поехали назад, в Сабинал. По пути мы резко затормозили у придорожной закусочной на Дороге 99 — Рики захотелось напоследок выпить пива. Позади закусочной, среди палаток и жилых прицепов, стояло ветхое здание с несколькими комнатками — нечто вроде мотеля. Справившись о цене, которая была два доллара, я спросил Терри, как ей эта идея, и идея ей показалась превосходной, ведь на руках у нас был малыш, его надо было удобно устроить. Поэтому, выпив несколько кружек пива в салуне, где под музыку ковбойского ансамбля кружились угрюмые странствующие сезонники, мы с Терри и Джонни пошли в мотель и приготовились отправиться на боковую. Понзо все не уходил: ему негде было ночевать. А Рики удалился спать в отцовскую лачугу, стоявшую среди виноградников.

— Где ты живешь, Понзо? — спросил я.

— Нигде, дружище. Вообще-то я жил у Большой Розы, но вчера ночью она меня выгнала. Переночую-ка я сегодня в своем грузовике.

Звенели гитары. Мы с Терри глазели на звезды и целовались.

— *Mañana*, — сказала она. — Правда, завтра все будет хорошо, Сад? Правда, любимый?

— Конечно, малышка, *mañana*. — Всегда только *mañana*. Всю следующую неделю я только и слышал что это чудесное слово — *mañana*, которое наверняка означает «небеса».

Малыш Джонни, не раздеваясь, шмыгнул в постель и тут же уснул. Из его башмачков посыпался песок — песок Мадеры. Среди ночи мы с Терри поднялись и стряхнули песок с простыней. Утром я встал, умылся и вышел прогуляться. Мы были в пяти милях от Сабинала, среди хлопковых полей и виноградников. Я спросил дородную владелицу ночлежки, нет ли у нее свободных палаток. Свободной оказалась самая дешевая — доллар в день. Я выудил из кармана доллар и стал владельцем палатки. В ней были кровать, плита и треснутое зеркало на столбе. Чтобы войти, мне пришлось согнуться в три погибели, а когда я вошел, там уже были моя малышка и мой мальчуган. Рики и Понзо должны были заехать за нами на грузовике. Заехали они с пивом и тут же, в палатке, принялись усердно напиваться.

— А как же навоз?

— Сегодня уже поздно. Завтра, старина, мы заработаем кучу денег. А сегодня выпьем немного пивка. Ты как насчет пивка?

Упрашивать меня не пришлось.

— Ты же е-ешь! Ты же е-ешь! — завопил Рики.

Я начал понимать, что никаких денег мы на нашем навозном грузовике не заработаем. Грузовик стоял возле палатки. Он издавал тот же запах, что и Понзо.

Той ночью мы с Терри легли спать на свежем ночном воздухе, в нашей покрытой росой палатке. Я уже почти уснул, когда она сказала:

— Хочешь меня любить?

— А как же Джонни? — спросил я.

— Ему все равно, он спит.

Джонни, правда, не спал, но не сказал ни слова.

На следующий день ребята снова явились и отправились на навозном грузовике за виски. Вернувшись в палатку, они радостно напились. Ночью Понзо заявил, что на улице похолодало, и улегся спать у нас на полу, завернувшись в здоровенный кусок брезента, всю ночь издававший запах коровьих лепешек. Терри его люто возненавидела. Она сказала, что Понзо вертится возле ее брата, чтобы быть поближе к ней.

Нас с Терри ждала неминуемая голодная смерть, поэтому утром я начал обходить округу, пытаюсь наняться сборщиком хлопка. Все советовали мне перейти шоссе и обратиться на ферму, расположенную напротив нашего палаточного лагеря. Туда я и направился. Фермер был с женщинами на кухне. Выйдя, он выслушал меня и предупредил, что платит всего три доллара за сто фунтов собранного хлопка. Вообразив, что за день легко соберу фунтов триста, я согласился. Фермер вынес из амбара несколько больших парусиновых мешков и сказал, что сбор хлопка начинается на рассвете. Исполненный ликования, я помчался к Терри. На шоссе наскочил на ухаб грузовик, перевозивший виноград, и на раскаленный асфальт высыпались громадные виноградные гроздья. Я подобрал их и принес домой. Терри была страшно рада.

— Мы с Джонни пойдем тебе помогать.

— Вот еще! — сказал я. — Только этого не хватало!

Позавтракали мы виноградом, а вечером явился Рики с батоном хлеба и фунтом рубленого шницеля, и мы устроили пикник. В палатке

побольше, что стояла рядом с нашей, жило целое семейство странствующих сборщиков хлопка. Дед целыми днями сидел на стуле — для такой работы он был слишком стар; сын и дочь со своими детьми на рассвете гуськом переходили шоссе, направляясь на плантацию моего фермера, и приступали к работе. На следующее утро я отправился туда вместе с ними. Они сказали, что на рассвете хлопок тяжелеет от росы и можно заработать больше денег, чем днем. Однако сами они трудились весь день, от зари до зари. Их дед приехал из Небраски во время великого бедствия тридцатых годов — того самого облака пыли, о котором рассказывал мой ковбой из Монтаны, — приехал вместе со всей семьей на грузовике-развалюхе. С тех пор они не покидали Калифорнии. Они любили работать. За десять лет сын старика довел число своих детей до четырех, и некоторые из них уже подросли и могли собирать хлопок. И за это время из нищих оборванцев с плантаций Саймона Легри<sup>[8]</sup> они превратились в довольных собой, уважаемых людей, имеющих для жилья вполне приличные палатки, — вот и вся история. Своей палаткой они очень гордились.

— Вы когда-нибудь вернетесь в Небраску?

— Вот еще! Что там делать? Вот жилой прицеп купить нам и впрямь надо.

Мы согнулись и начали собирать хлопок. Эти было просто здорово. За полем стояли палатки, а еще дальше — увядающие бурые хлопковые плантации, скрывавшиеся из вида близ изрытых сухими речными руслами предгорий, за которыми начинались покрытые снегом и окутанные голубым утренним воздухом Сьерры. Да, это вам не посуду мыть на Саут-Мэйн-стрит! Вот только о сборе хлопка я не имел ни малейшего понятия. Уйма времени уходила у меня на то, чтобы отделить белый шарик от его хрустящего основания; остальные делали это одним щелчком. Более того, у меня начали кровоточить кончики пальцев; я нуждался либо в перчатках, либо в большем опыте. С нами в поле была пожилая негритянская семейная пара. Они собирали хлопок с той же благословенной Богом покорностью, что и их деды в Алабаме еще до Гражданской войны. Согбенные и унылые, они двигались вдоль своих рядов, и мешки их становились все более пухлыми. У меня заболела спина. Однако стоять на коленях, прячась в земле, было просто чудесно. Почувствовав желание отдохнуть, я

отдыхал, зарывшись лицом в подушку бурой влажной земли, и слушал пение птиц. Я решил, что нашел свое призвание. Появились машущие мне с края разогретого притихшим жарким полднем поля Джонни и Терри, они тоже включились в работу. Будь я проклят, если малыш Джонни не оказался проворней меня! А уж Терри была проворней вдвое. Они ушли вперед и оставляли мне груды очищенного хлопка, которые я перекидывал в мешок. Терри укладывала свой хлопок искусно, а Джонни — в маленькие игрушечные кучки. Стараясь не слишком отставать, я с грустью плелся сзади. Что я за старик такой, что не в состоянии содержать собственную задницу, не говоря уж о близких мне людях?! Весь день они провели со мной. Когда солнце стало багровым, мы в изнеможении потащились назад. У края поля я бросил свою ношу на весы; в ней оказалось пятьдесят фунтов, и я получил полторы монеты. Потом я одолжил у одного из сезонников велосипед и съездил по Дороге 99 в бакалейную лавку у перекрестка, где купил консервированные вареные спагетти с тефтелями, хлеб, масло, кофе и торт, и покатил назад с висящей на руле сумкой. Навстречу мне неслись машины в сторону Лос-Анджелеса; те, что ехали во Фриско, преследовали меня по пятам. Всю дорогу я поднимал глаза к темному небу и молил Бога дать мне хоть какой-то просвет в жизни, дать еще один шанс что-то сделать для маленьких людей, которых я люблю. Там, наверху, никто не обращал на меня никакого внимания. Мне надо было искать этот шанс самому. А покой моей душе вернула Терри — в палатке она разогрела еду на плите, а я так устал и проголодался, что обед показался мне несравненным. Вздыхая, словно старый чернокожий сборщик хлопка, я откинулся на кровать и выкурил сигарету. В прохладной ночи лаяли собаки. Рики и Понзо по вечерам больше не заходили, и меня это вполне устраивало. Терри свернулась калачиком рядом со мной, Джонни уселся мне на грудь, и они принялись рисовать в моем блокноте зверей. Свет нашей палатки терялся в пугающе бескрайней равнине. Из придорожного трактира доносилась до нас через поля исполненная печали ковбойская музыка. Мне было грустно и хорошо. Я поцеловал свою малютку, и мы погасили свет.

Наутро палатка провисла от росы. Я встал, взял полотенце и зубную щетку и отправился в общий туалет мотеля. Вернувшись, я надел брюки, которые изодрал, ползая на коленях по земле, и которые



вечером зашила Терри, надел свою потрепанную соломенную шляпу, раньше служившую Джонни игрушкой, взял парусиновый мешок для хлопка и направился на ту сторону шоссе.

Каждый день я зарабатывал около полутора долларов. Их как раз хватало на продукты, за которыми я ездил по вечерам на велосипеде. Шли дни. Я позабыл о Востоке, о Дине с Карло и о распроклятой дороге. Мы с Джонни непрерывно играли; он любил падать на кровать, после того как я подброшу его в воздух. Терри сидела и чинила одежду. Я был полнокровным земным человеком, таким, каким видел себя в мечтах в Патерсоне. Поговаривали, что муж Терри вернулся в Сабинал и разыскивает меня; к встрече с ним я был готов. Как-то ночью в придорожном трактире обезумели сезонники: привязав к дереву человека, они до неузнаваемости избили его палками. Тогда я спал и лишь потом услышал об этом. После этого случая я принес в палатку большую палку — ведь им вполне могло прийти в голову, что мы, мексиканцы, оскорбляем своим присутствием их трейлерный лагерь. Разумеется, они и меня считали мексиканцем; в какой-то мере я им и был.

Но наступил октябрь, и ночами стало намного холоднее. У семейства сезонников была дровяная печь, и они собирались остаться на зиму. У нас не было ничего, вдобавок подходило время платить за палатку. Мы с Терри с горечью поняли, что пора уезжать.

— Возвращайся к своим, — сказал я. — Ради Бога, ты же не можешь мотаться по палаткам с таким малюткой, как Джонни. Бедный малыш совсем продрог.

Терри заплакала, решив, что я осуждаю ее за отсутствие материнских инстинктов, у меня же и в мыслях этого не было. Когда в один из хмурых дней появился на грузовике Понзо, мы решили навестить семью Терри — выяснить, что у них на уме. Но мне нельзя было им показываться, я должен был прятаться в виноградниках. Мы отправились в Сабинал. Грузовик сломался, и одновременно начался проливной дождь. Сидя в кабине, мы проклинали все на свете. Понзо вылез и усердно трудился под дождем. В конце концов он оказался неплохим малым. Мы пообещали друг другу закатить еще одну грандиозную гулянку и направились в ветхий покосившийся бар в мексиканском квартале, где часок просидели за пивом. Подошла к концу моя поденная работа на хлопковой плантации. Я вновь ощутил

призывную тягу к прежней жизни. Через всю страну я отправил тетушке грошовую открытку, попросив еще пятьдесят долларов.

Мы поехали к домику, где жила семья Терри. Он стоял на старой дороге, которая бежала среди виноградников. Когда мы добрались туда, уже стемнело. Терри с Понзо высадили меня в четверти мили от домика и подъехали к самой двери. Оттуда хлынул свет. Шестеро братьев Терри играли на гитаре и пели. Старик пил вино. Мне были слышны перекрывающие пение выкрики и ругань. Терри называли шлюхой за то, что она бросила своего никчемного муженька и уехала в Лос-Анджелес, оставив им Джонни. Старик орал. Однако, как это всегда бывает у великих феллахских народов всего мира, верх взяла печальная бровастая мамаша, и Терри было разрешено вернуться домой. Братья перешли на веселые легкомысленные песенки. Съездившись на холодном дождливом ветру, я наблюдал за всем этим с другого края унылых виноградников октябрьской долины. Душу мою переполняла великолепная песня «Мой любимый», я вспомнил, как поет ее Билли Холидей. В кустах я устроил свой собственный концерт. «Встретимся мы, и ты вытрешь мне слезы, зашепчешь мне ласковые слова, поцелуешь, обнимешь — о, что мы теряем! Где же ты, мой любимый...» Дело тут не столько в словах, сколько в прекрасной гармоничной мелодии и в том, как Билли ее поет — как женщина, которая в мягком свете лампы нежно гладит волосы своего мужчины. Завывал ветер. Я продрог.

Вернулись Терри и Понзо, и мы с грохотом умчались на старом грузовичке на встречу с Рики. Рики теперь жил с женщиной Понзо, Большой Розы. Мы посигналили ему на узкой улочке с покосившимися лачугами. Большая Розы вышвырнула его вон. Рушилось буквально все. Той ночью мы спали в грузовике. Терри, конечно, крепко обняла меня и просила не уезжать. Она сказала, что заработает на сборе винограда и этих денег хватит нам обоим. А я тем временем мог бы жить в амбаре Фермера Хеффелфингера, на той же дороге, где живет ее семья. Мне бы ничего не пришлось делать — знай себе сиди целый день на травке и ешь виноград. «Тебе это подходит?»

Утром двоюродные братья Терри посадили нас в другой грузовик. Неожиданно до меня дошло, что тысячи мексиканцев в округе знают о нас с Терри все и что эта история представляет для них пикантную,

романтическую тему для разговора. Двоюродные братья были очень вежливы и просто обаятельны. Стоя в кузове, я улыбался в ответ на их шутки и рассказывал о том, где побывал на войне и что такое килевая качка. Каждый из пятерых двоюродных братьев был славным малым. Похоже, они принадлежали к той ветви Терриной семьи, которой чужда была неумная суетливость ее брата. И все-таки я полюбил этого безумного Рики. Он поклялся, что придет ко мне в Нью-Йорк. Я представил себе его в Нью-Йорке, как он там откладывает все на свете до майна. В тот день он напился и затерялся где-то в поле.

На перекрестке я слез с грузовика, а двоюродные братья повезли Терри домой. От дома они весело замахали мне руками: отца с матерью не было, они ушли собирать виноград. Так что до вечера дом был в моем распоряжении. Это была четырехкомнатная лачуга. Я не представлял себе, как она могла вместить столь многочисленное семейство. Над умывальником кружились мухи. Сеток от насекомых не было, прямо как в песне: «Окно разбито, и внутрь хлещет дождь». Оказавшись наконец в родном доме, Терри принялась греметь кастрюлями. Надо мной хихикали две ее сестрицы. На дороге орали маленькие дети.

Когда из-за облаков моего последнего дня в долине показалось багровое солнце, Терри отвела меня в амбар Фермера Хеффелфингера. У Фермера Хеффелфингера близ той же дороги была процветающая ферма. Мы набрали упаковочных корзин, Терри принесла из дома одеяла, и я отлично устроился, если не считать того, что под самой крышей амбара притаился громадный волосатый тарантул. Терри сказала, что, если я его не потревожу, он меня не тронет. Я лег на спину и уставился на него. Потом пошел на кладбище и влез на дерево. На дереве я запел «Голубые небеса». Терри и Джонни сидели в траве; мы ели виноград. В Калифорнии высасывают из винограда сок, а шкурку выплевывают — подлинная роскошь. Сгустились сумерки. Терри пошла домой ужинать, а в девять часов вернулась в амбар с отменными тортильями и бобовым пюре. Чтобы осветить амбар, я разжег на цементном полу дровяную печь. На упаковочных корзинах мы занялись любовью. Поднявшись, Терри сразу же умчалась в свою лачугу. Отец орал на нее; я слышал это из амбара. Чтобы я не замерз, Терри оставила мне накидку. Я набросил ее на плечи и, крадучись, направился через освещенный луной виноградник посмотреть, что

происходит. Подкравшись к концу ряда, я опустился на колени в теплую грязь. Пятеро братьев пели по-испански мелодичные песни. Над крошечной крышей дома нависали звезды; из печной трубы поднимался дым. Я почувствовал запах бобового пюре с приправой из красного перца. Старик все рычал. Братья выводили свои рулады. Мать хранила молчание. Джонни и остальные детишки хихикали в спальне. Калифорнийский дом. Укрывшись в винограднике, я наблюдал за его жизнью. Безрассудно рискуя в сумасшедшей ночи, я чувствовал себя превосходно.

Хлопнув дверью, вышла Терри. Я заговорил с ней на темной дороге:

— Что случилось?

— Ах, мы все время воюем. Он хочет, чтоб я завтра пошла на работу. Говорит, что не желает, чтобы я валяла дурака. Салли, я хочу с тобой в Нью-Йорк.

— Но как?

— Не знаю, милый. Я не смогу без тебя. Я тебя люблю.

— Но я должен ехать.

— Да-да. Пойдем приляжем еще разок, и тогда ты уедешь.

Мы вернулись в амбар, и там, под тарантулом, занялись любовью. Интересно, что в это время делал тарантул? Лежа на корзинах, мы уснули у догорающего огня. В полночь она ушла. Отец ее был пьян. Я слышал, как он ревет; потом, когда он уснул, наступила тишина. Над сонной округой мерцали звезды.

Наутро в ворота амбара просунул голову Фермер Хеффелфингер.

— Ну как ты там, дружище?

— Отлично. Ничего, что я здесь поселился?

— Конечно. Ты что, связался с этой мексиканочкой?

— Она прекрасная девушка.

— К тому же хорошенькая. По-моему, старому горлопану наставили рога. У нее голубые глаза.

Мы поговорили о его ферме.

Терри принесла завтрак. Я уже уложил свой парусиновый мешок и был готов отправиться в Нью-Йорк, осталось только забрать в Сабинале деньги. К тому времени они уже должны были меня ждать. Я сказал Терри, что уезжаю. Она думала об этом всю ночь и смирилась. В винограднике она холодно поцеловала меня и пошла

прочь вдоль рядов лозы. Разойдясь на двенадцать шагов, мы оба обернулись — ведь любовь это дуэль — и в последний раз взглянули друг на друга.

— Увидимся в Нью-Йорке, Терри, — сказал я.

Через месяц она хотела поехать с братом в Нью-Йорк. Но мы оба знали, что ей это не удастся. Через сотню футов я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на нее. Она спокойно шла к лачуге с тарелкой из-под моего завтрака в руке. Склонив голову, я наблюдал за ней. Ничего не поделаешь, я вновь собрался в дорогу.

Я направился в Сабинал по шоссе, грызя сорванные с дерева грецкие орехи. Балансируя на рельсе железной дороги «Сазерн Пасифик», я миновал водонапорную башню и фабрику. С каждым шагом что-то во мне умирало. На железнодорожном телеграфе я должен был получить перевод из Нью-Йорка. Телеграф был закрыт.

Я выругался и уселся ждать на ступеньки. Вернулся кассир, он пригласил меня войти. Деньги были на месте. Тетушка опять спасла мою ленивую задницу.

— Как по-вашему, кто в будущем году выиграет Мировую серию?  
[9] — спросил старый изможденный кассир.

До меня вдруг дошло, что уже осень и что я возвращаюсь в Нью-Йорк.

Я зашагал вдоль железнодорожного полотна, среди нескончаемого печального октябрьского света долины, надеясь, что мимо пройдет товарняк и я смогу присоединиться к жующим виноград бродягам и посмеяться вместе с ними над газетным юмором. Поезд так и не появился. Я вышел на шоссе и сразу поймал попутку. Это была самая стремительная и шумная поездка в моей жизни. Водитель был скрипачом из калифорнийского ковбойского ансамбля. Его новенький автомобиль мчал со скоростью восемьдесят миль в час.

— За рулем я не пью, — сказал он и протянул мне бутылку; я отхлебнул и вернул ему. — Да какого черта! — воскликнул он и тоже выпил.

Двести пятьдесят миль от Сабинала до Лос-Анджелеса мы проехали невероятно быстро — за четыре часа. Он высадил меня прямо перед зданием «Коламбиа Пикчерс» в Голливуде. Я явился туда как раз вовремя и забежал забрать свой отвергнутый сценарий. Потом я купил билет на автобус до Питсбурга. На весь путь до Нью-Йорка

денег у меня не хватало. На этот счет я решил побеспокоиться, когда доберусь до Питсбурга.

Автобус отходил в десять, и у меня было четыре часа, чтобы одному побродить по Голливуду. Перво-наперво я купил батон хлеба и салями и соорудил себе в дорогу десяток бутербродов. У меня остался доллар. Усевшись на низкую цементную стенку позади голливудской автостоянки, я принялся делать свои бутерброды. Пока я трудился над этой нелепой задачей, в небо, в это гудящее небо Западного Побережья, вонзились яркие лучи солнечных прожекторов голливудской премьеры. Вокруг меня шумел сумасшедший большой город на золотом берегу. Вот и вся моя голливудская карьера — в свой последний вечер в Голливуде я брызгал себе на колени горчицей, сидя позади автостояночного сортира.

На рассвете мой автобус мчался по пустыне Аризона — Индио, Блайт, Сейлом (где она танцевала); бескрайние пересохшие пространства, уходящие на юг, к мексиканским горам. Потом мы повернули на север, к горам Аризоны, Флагстаффу, городкам среди скал. У меня была книга, которую я стащил в голливудском ларьке, — «Le Grand Meaulnes»<sup>[10]</sup> Алена-Фурнье, — но я предпочитал читать проплывающий за окошком американский пейзаж. Каждая рытвина, каждый подъем и ровный участок обостряли мою тоску по дому. В кромешной ночной тьме мы миновали Нью-Мексико; хмурый рассвет застал нас в Далхарте, Техас; унылым воскресным днем мы один за другим проезжали равнинные городки Оклахомы; в сумерках — Канзас. Автобус мчался дальше. Я возвращался в октябре. Все возвращаются домой в октябре.

В полдень мы приехали в Сент-Луис. Я прогулялся по берегу Миссисипи и поглазел на бревна, которые сплавляются с севера, из Монтаны, — великая одиссея бревен нашей континентальной мечты. В иле засели старые, кишашие крысами парходики с их кружевным орнаментом, завитки которого совсем скрутились и поблекли от непогоды. Над долиной Миссисипи нависали громадные послеполуденные облака. А ночью автобус мчался сквозь кукурузные поля Индианы; луна высвечивала призрачные кучи листьев, приближался канун Дня Всех Святых. Я познакомился с девушкой, и всю дорогу до Индианаполиса мы обнимались и целовались. Она была близорука. Когда мы вышли перекусить, мне пришлось за руку отвести ее в буфет. Она купила мне поесть: все мои бутерброды давно кончились. В обмен я развлекал ее длинными историями. Она ехала из штата Вашингтон, где провела лето на сборе яблок. Жила она на ферме, на окраине штата Нью-Йорк. Она пригласила меня туда. Мы условились в любом случае устроить свидание в нью-йоркской гостинице. В Коламбусе, Огайо, она сошла, и весь остаток пути до Питсбурга я проспал. Так я не выдыхался уже долгие годы. Мне еще предстояло голосовать триста шестьдесят пять миль до Нью-Йорка, а в кармане у меня был десятицентовик. Чтобы выбраться из Питсбурга,

я прошагал пять миль, и две машины — грузовик с яблоками и большой трейлер — теплой дождливой ночью бабьего лета довели меня до Харрисберга. Я мчался без остановок. Я хотел добраться домой.

Это была ночь Призрака Саскуэханны. Призраком был сморщенный старикашка, который заявил, что направляется в «Канадию». Он шел очень быстро, велел мне следовать за ним и сказав, что впереди есть мост, по которому можно перейти реку. Ему было лет шестьдесят; он непрерывно рассказывал о том, сколько у него с собой еды, сколько ему дали масла для блинчиков, сколько лишних кусков хлеба; как в Мериленде старики окликнули его с приютского балкона и пригласили недельку у них погостить; как перед отъездом он принял чудесную горячую ванну; как в Виргинии он нашел на обочине дороги совершенно новую шляпу, и именно она сейчас у него на голове; как он во всех городах заходил в Красный Крест и показывал удостоверение участника Первой мировой войны; как не оправдал своего названия харрисбергский Красный Крест; как ему удавалось выжить в этом безжалостном мире. Однако, насколько я мог понять, он был всего лишь полупочтенным нищим бродягой, исходившим пешком всю восточную дикую местность, совершая налеты на конторы Красного Креста, а то и попрошайничая на углах главных улиц. Семь миль мы прошагали вдоль скорбной Саскуэханны. Эта река вселяет ужас. По обоим берегам ее находятся поросшие кустами утесы, которые, словно косматые призраки, нависают над неведомыми водами. Все поглощает черная ночь. Иногда с железнодорожной станции на другом берегу поднимается громадное красное паровозное пламя, которое высвечивает жуткие скалы. Человек сказал, что в сумке у него есть прекрасный ремень, и мы остановились, чтобы он смог его оттуда выудить.

— Где-то тут у меня есть прекрасный ремень, я его раздобыл в Фредерике, Мериленд. Черт, неужели я оставил его на прилавке в Фредериксберге?

— Вы хотите сказать, в Фредерике?

— Да нет же, в Фредериксберге, Виргиния!

Он постоянно твердил о Фредерике, Мериленд и Фредериксберге, Виргиния. Шел он прямо по дороге, наплевав на обгонявший его транспорт, и несколько раз его едва не сбили. Я брел в



кювете. Каждую минуту я ждал, что бедный маленький безумец улетит в ночь, мертвый. Тот мост мы так и не нашли. У проезда под железнодорожным полотном я его бросил и, пропотев после столь долгой пешей прогулки, сменил рубашку и надел еще два свитера. Мое печальное переодевание происходило при свете придорожной закусочной. На темной дороге появилось целое семейство, они пытались разглядеть, чем я там занимаюсь. Самым удивительным было то, что в этом захолустном пенсильванском трактирчике тенор-саксофонист играл превосходный блюз; я слушал и стонал. Пошел проливной дождь. Какой-то парень отвез меня назад, в Харрисберг, и сказал, что я ошибся дорогой. Неожиданно я увидел своего маленького бродягу, он стоял под унылым фонарем, подняв руку с оттопыренным большим пальцем, — одинокий бедняк, несчастный, заблудившийся бывший мальчик, а ныне — сломленный призрак убогих пустынь. Я рассказал о нем своему водителю, и тот остановился поговорить со стариком.

— Послушай, дружище, так ты попадешь на Запад, а не на Восток.

— Чего? — произнес маленький призрак. — Уж не хочешь ли ты сказать, что я не знаю здешних дорог? Да я всю страну пешком исходил. А сейчас направляюсь в Канадию.

— Но эта дорога ведет не в Канаду, это дорога в Питсбург и в Чикаго.

Человечек почувствовал к нам отвращение и удалился. Вскоре осталась видна лишь его подпрыгивающая сумочка, растворяющаяся во тьме скорбных Аллегейнских гор.

Я считал, что вся дикая местность Америки расположена на Западе, но Призрак Саскуэханны доказал мне обратное. Нет, дикая местность есть и на Востоке; это та дикая местность, по которой во времена запряженных волами повозок тащился Бен Франклин, когда был смотрителем почтовой станции; та же, какой она была, когда Джордж Вашингтон неистово сражался с индейцами, когда Дэниел Бун рассказывал при свете пенсильванских светильников свои истории и обещал отыскать горный проход, когда Брэдфорд построил свою дорогу и люди с радостными криками пустились по ней в путь в деревянных фургонах. Для маленького человечка тут не было бескрайних просторов Аризоны, а была всего-навсего заросшая

кустарником девственная местность восточной Пенсильвании, Мериленда и Виргинии, были проселочные дороги, которые выются между скорбными реками вроде Саскуэханны, Моногахелы, старого Потомака и Монакаси.

Той ночью в Харрисберге мне пришлось спать на вокзальной скамейке; на рассвете станционное начальство вышвырнуло меня на улицу. Разве не правда, что мы начинаем свою жизнь под родительским кровом верящими во все на свете милыми детьми? Потом наступает День потерявших веру, когда понимаешь, что ты жалок, несчастен, беден, слеп и гол и, словно вселяющий ужас, убитый горем призрак, с содроганием продираешься сквозь нескончаемый кошмар этой жизни. Еле передвигая ноги, я выбрался со станции. Я больше не владел собой. Все, что я видел тем утром, была белизна, подобная белизне смерти. Я умирал с голоду. В качестве калорий у меня были только остатки пастилок от кашля, купленных несколько месяцев назад в Шелтоне, Небраска. Их я и пососал в надежде на содержащийся там сахар. Просить милостыню я не умел. Я поковылял прочь из города, и мне едва хватило сил добраться до городской черты. Я знал, что, если проведу в Харрисберге еще одну ночь, меня арестуют. Проклятый город! Следующим, кто подобрал меня на дороге, был тощий, изможденный человек, который верил, что нормированное голодание идет на пользу здоровью. Когда мы катили на восток и я сказал ему, что умираю с голоду, он ответил:

— Прекрасно, прекрасно, знаешь, как это полезно! Я и сам три дня не ел. Собираюсь дожить до ста пятидесяти лет.

Он был просто мешком костей, лопнувшей надувной куклой, сломанной палкой, маньяком. А ведь мог бы меня подвезти и богатый толстяк, который сказал бы: «Давай-ка остановимся у этого ресторанчика и съедим свиную отбивную с бобами». Так нет же, в то утро меня вез маньяк, свято веривший в голодание ради здоровья. Через сотню миль он разжалобился и достал с заднего сиденья хлеб и масло, припрятанные среди образцов его товара. Он ездил по Пенсильвании и торговал сантехникой. Я с жадностью уничтожил и хлеб, и масло. Неожиданно я расхохотался. Совершенно один я сидел в машине, дожидаясь, пока он закончит свои деловые визиты в Аллентауне, и все смеялся и смеялся. Боже, как мне опостылела жизнь! Однако этот сумасшедший довез меня до самого Нью-Йорка.

Вдруг я очутился на Таймс-сквер. Восемь тысяч миль прокатил я по Американскому континенту, и вот я снова на Таймс-сквер, да еще прямо в час пик. Своими наивными, привыкшими к дороге глазами я увидел полнейшее безумие и фантастическую круговерть Нью-Йорка с его миллионами и миллионами, вечно суетящимися из-за доллара среди себе подобных. Безумная мечта: хватать, брать, давать, вздыхать, умирать — только ради того, чтобы быть погребенными на ужасных городах-кладбищах за пределами Лонг-Айленд-Сити. Высокие башни страны — противоположный ее край, место, где рождается Газетная Америка. Я стоял у входа в подземку, пытаюсь набраться храбрости и подобрать чудесный длинный окурок, и каждый раз, как я наклонялся, огромная толпа пронеслась мимо и скрывала его из виду, и в конце концов окурки растоптали. У меня не было денег, чтобы добраться домой на автобусе. От Таймс-сквер до Патерсона еще немало миль. Можете вы представить себе, как я шагаю эти последние мили пешком через туннель Линкольна или по мосту Вашингтона и как вхожу в Нью-Джерси? Смеркалось. Где же Хассел? В поисках Хассела я оглядел площадь; его там не было, он был на острове Райкер, за решеткой. Где Дин? Где все? Где жизнь? У меня был дом, куда я мог пойти, место, где можно преклонить голову и сосчитать потери, сосчитать и обретения, которые, как я знал, тоже были, несмотря ни на что. Мне пришлось просить подаяния — двадцать пять центов на автобус. В конце концов я набрел на стоявшего за углом православного священника. Нервно озираясь, он вручил мне четверть доллара. Я немедленно помчался к автобусу.

Добравшись домой, я съел все, что было в холодильнике. Тетушка встала и посмотрела на меня.

— Бедный малыш Сальваторе, — сказала она по-итальянски. — Ты просто отощал. Где ты был все это время?

На мне были две рубашки и два свитера; в парусиновом мешке лежали рваные брюки с хлопковой плантации, а в них были завернуты изодранные в клочья остатки башмаков «гуараче». Мы с тетусшкой решили на деньги, которые я высылал ей из Калифорнии, купить новый электрический холодильник; он должен был стать первым в нашей семье. Тетушка ушла спать, а я допоздна не мог уснуть и без конца курил в постели. На столе лежала моя полузавершенная рукопись. Был октябрь, был дом и вновь была работа. В оконное

стекло стучались первые холодные ветры, я успел как раз вовремя. Без меня приходил Дин, он ждал меня и несколько раз ночевал. Дни он коротал за разговором с тетушкой, пока та трудилась над громадным лоскутным ковром, который годами составляла из всей одежды моей семьи и который теперь был закончен и брошен на пол моей спальни — не менее сложный и разнообразный, чем само течение времени. А потом, за два дня до моего приезда, Дин ушел, и пути наши пересеклись, наверно, где-нибудь в Пенсильвании или в Огайо; он отправился в Сан-Франциско. Там у него была своя жизнь. Камилла только что нашла квартиру. Мне так и не пришло в голову заглянуть к ней, когда я был в Милл-Сити. Теперь же было слишком поздно, и вдобавок я разминулся с Дином.

## **Часть вторая**

Прошло больше года, прежде чем я снова увидел Дина. Все это время я оставался дома — закончил книгу и, пользуясь льготами демобилизованным, поступил в университет. На Рождество 1948 года мы с тетушкой, нагрузившись подарками, отправились в Виргинию навестить моего брата. Я написал Дину, и он ответил, что снова собирается на Восток. Тогда я сообщил ему, что между Рождеством и Новым годом он сможет найти меня в Тестаменте, Виргиния. В один прекрасный день, когда наши южные родственники — исхудалые мужчины и женщины с навеки поселившейся в глазах тенью древней южной земли — сидели в гостиной в Тестаменте и негромко сетовали на погоду и урожай, а заодно в тысячный раз пережевывали давно всех утомившие новости, касающиеся рождения детей, покупки нового дома и прочих подобных вещей, неподалеку на грунтовой дороге скрипнул тормозами замызганный «Хадсон-49». Я и понятия не имел, кто к нам пожаловал. Поднявшись на крыльцо, в дверь позвонил взмыленный малый в футболке, мускулистый, лохматый, небритый и вдобавок явно под мухой. Когда я открыл дверь, до меня вдруг дошло, что это Дин. Судя по всему, немалый путь из Сан-Франциско в Виргинию, к дому моего брата Рокко, он проделал за немислимо короткое время — ведь я буквально на днях отправил ему свое последнее письмо, в котором сообщал, где нахожусь. В машине я разглядел еще двоих. Они спали.

— Будь я проклят! Дин! А кто в машине?

— При-вет, при-вет, старина, это Мерилу. И Эд Данкел. Нам надо срочно где-то умыться, мы вымотались как собаки.

— Но как тебе удалось так скоро добраться?

— Этот «хадсон» умеет ездить, старина!

— Где же ты его раздобыл?

— Купил на собственные сбережения. Я работал на железной дороге и получал четыреста долларов в месяц.

В последующий час царила полнейшая неразбериха. Мои родственники-южане понятия не имели ни о том, что происходит, ни о том, кто такие Дин, Мерилу и Эд Данкел; они просто безмолвно

наблюдали за происходящим. Тетушка с братцем Роки удалились на кухню посовещаться. В наш маленький южный домик набилось одиннадцать человек. К тому же брат недавно решил переехать, и половина обстановки была уже вывезена. Они с женой и ребенком перебирались поближе к центру Тестаменты. Был уже куплен новый гостинный гарнитур, а старый отправлялся к тетушке в Патерсон, хотя мы еще и не решили, каким образом. Услыхав об этом, Дин тут же предложил свои услуги с «хадсоном». Мы с ним за две скоростные ездки доставим в Патерсон мебель и отвезем тетушку домой. Это избавит нас от лишних хлопот и затрат. На том и порешили. Моя невестка приготовила обильное угощение, и трое измученных путешественников уселись за стол. Мерилу не спала с самого Денвера. Мне показалось, что она стала выглядеть старше и привлекательней.

Я выяснил, что с той самой осени 1947 года Дин счастливо жил в Сан-Франциско с Камиллой. Он устроился на железную дорогу и заработал кучу денег. Вдобавок он стал отцом прелестной девчушки — Эми Мориарти. А в один прекрасный день, когда Дни шел по улице, на него нашло затмение. Он увидел выставленный на продажу «Хадсон-49» и помчался в банк за всеми своими деньгами. Машина была немедленно куплена. С ним был и Эд Данкел. Оба остались без гроша. Дин унял страхи Камиллы, пообещав вернуться через месяц.

Я съезжу в Нью-Йорк и привезу Сала.

Подобная перспектива не вызвала у Камиллы особого энтузиазма.

— Но зачем это все? За что ты так со мной?

— Ничего, ничего, дорогая... ах-хм Сал просил и умолял меня приехать и забрать его, это совершенно необходимо... однако ни к чему нам выяснять отношения... и я скажу тебе почему... Нет, послушай, я скажу почему. — И он сказал почему, и, разумеется, в его словах не было ни малейшего смысла.

Высокий широкоплечий Эд Данкел тоже работал на железной дороге. Их с Дином только что рассчитали, расторгнув договор из-за резкого сокращения паровозных бригад. Эд познакомился с девушкой по имени Галатея, которая жила на свои сбережения в Сан-Франциско. Эти два безрассудных хама решили взять девушку с собой на Восток, взвалив на нее все расходы. Эд пустил в ход лесть и уговоры, а та отказывалась ехать, пока он на ней не женится. И в

вихре нескольких дней Эд Данкел женился на Галатее, причем Дину пришлось как следует попотеть, чтобы раздобыть нужные бумаги. А за несколько дней до Рождества они со скоростью семьдесят миль в час выкатили из Сан-Франциско в сторону Лос-Анджелеса и бесснежной южной дороги. В Лос-Анджелесе они подобрали в бюро путешествий какого-то моряка и взяли его с собой, получив с него пятнадцать долларов за бензин. Ему надо было в Индиану. Подобрали они и женщину со слабоумной дочерью — те дали четыре доллара, оплатив бензин до Аризоны. Слабоумную девочку Дин посадил рядом с собой на переднее сиденье и любовался ею, по его словам, «всю дорогу, старина! Что за нежная, невинная душа! О чем мы только не говорили — о пожарах, о том, как пустыня превращается в рай, о ее попугае, который ругается по-испански!» Высадив этих двоих, они проследовали в Тусон. На протяжении всего пути Галатее Данкел — новоиспеченная жена Эда — жаловалась на усталость и хотела поспать в мотеле. Продолжайся так дальше, они задолго до Виргинии потратили бы все ее деньги. Пару раз им пришлось остановиться и наблюдать, как она тратится на ночлег. К Тусону она была разорена. Дин с Эдом смотались, бросив ее в вестибюле гостиницы, и продолжили путь одни — с моряком и без всяких угрызений совести.

Эд Данкел был высоким, молчаливым легкомысленным малым, готовым на все, о чем его ни попросит Дин. А занятому собственными проблемами Дину было в то время не до щепетильности. Он мчал через Лас-Крусес, Нью-Мексико, когда им вдруг овладело безудержное желание вновь повидать свою милую первую женушку Мерилу. Та была в Денвере. Не обращая внимания на слабые протесты моряка, он повернул на север и вечером влетел в Денвер. Побегав, он отыскал Мерилу в какой-то гостинице. Десять часов они неистово занимались любовью. В который раз все было решено: больше они не расстанутся. Мерилу была единственной девушкой, которую Дин по-настоящему любил. Когда он вновь увидел ее лицо, его пронзила боль раскаяния, и, как давным-давно, он бросился ей в ноги и молил не покидать его. Она понимала Дина; она гладила его по голове; она знала, что он безумен. Желая утешить моряка, Дин устроил ему девушку в гостиничном номере над баром, где всегда пила старая шайка с автодрома. Но от девушки моряк отказался, а ночью и вовсе



исчез — и больше они его не видели; скорее всего, он уехал в Индиану на автобусе.

По Колфакс-стрит Дин, Мерилу и Эд Данкел помчались на восток и выехали на равнины Канзаса. В пути их застала врасплох сильная снежная буря. Ночью, в Миссури, Дину пришлось править автомобилем, высунув в окошко закутанную в шарф голову и надев снегозащитные очки, что делало его похожим на монаха, который пытается вчитаться в начертанные снегом рукописи, — ветровое стекло было покрыто дюймовым слоем льда. Он и не заметил, как проехал родные места своих предков. Утром машину занесло на ледяном холме, и она грохнулась в кювет. Какой-то фермер помог им оттуда выбраться. Потом в попутчики к ним напросился парень, который пообещал доллар, если они довезут его до Мемфиса. В Мемфисе он пошел к себе домой, где в поисках доллара напился, а потом заявил, что никак не может его найти. Теперь их путь лежал через Теннесси. После этого случая терпение их лопнуло. Если раньше Дин выжимал девяносто, то теперь ему приходилось постоянно держаться семидесяти, иначе машина просто загремела бы с горы. В разгар зимы они перевалили через Великие Дымные горы и к тому моменту, как подъехали к дому моего брата, уже тридцать часов ничего не ели — если не считать конфет и сырных крекеров.

Все с жадностью поглощали обед, а Дин с бутербродом в руке стоял, согнувшись и подергиваясь над громадным проигрывателем, и слушал недавно купленную мной бешеную «боп»-пластинку под названием «Охота», где Декстер Гордон и Уорделл Грей дудели что было сил перед орущей публикой, отчего громкость записи была доведена до умопомрачения. Южане переглядывались и в благоговейном страхе качали головами. «Ну и друзья у Сала», — сказали они моему брату. Тот не знал, что и ответить. Безумцы южанам вообще не по нраву, а уж безумцы вроде Дина — в особенности. Он же не обращал на них ни малейшего внимания. Безумие Дина расцвело причудливым цветом. Дошло это до меня только тогда, когда мы с ним, Мерилу и Данкелом вышли из дома прокатиться на «хадсоне» — когда мы впервые остались одни и могли говорить о чем угодно. Дин стиснул руками руль, перевел на вторую скорость, на минуту задумался, потом, словно на что-то решившись,

включил двигатель и, обуреваемый этой яростной решимостью, резко взял с места.

— Прекрасно, дети мои, — произнес он, почесывая нос, наклоняясь проверить тормоза, доставая из отделения в приборном щитке сигареты, одновременно раскачиваясь вперед-назад и не забывая при этом о дороге. — Настало время решать, что мы будем делать на этой неделе. Решайте, решайте! Гм!

Он едва не врезался в фургон, который с трудом тащил за собой запряженный в него мул; в фургоне сидел старый негр.

— Вот! — завопил Дин. — Вот! Полюбуйтесь-ка на него! Подумаем-ка о его душе — остановимся на минуту и подумаем. — И он затормозил, чтобы мы обернулись и посмотрели на угрюмого чернокожего старика. — Да-да, полюбуйтесь на него, друзья. Я бы все на свете отдал, лишь бы узнать, какими мыслями полна его голова! Забраться бы туда и выяснить только одно — по душе ли в этом году бедолаге ботва молодой репы и ветчина. Ты, Сал, об этом еще не знаешь, но, когда мне было одиннадцать, я целый год жил у одного фермера в Арканзасе. Я занимался гнусной подсобной работой, раз даже пришлось сдирать шкуру с дохлой лошади. А в Арканзасе я не был с Рождества сорок третьего, уже пять лет, как раз тогда за нами с Беном Гейвином гонялся парень с ружьем — владелец машины, которую мы хотели угнать. Все это я говорю, чтоб вы знаю — мне есть что сказать о Юге. Я знаю... я хочу сказать, старина, что я люблю Юг, я знаю его вдоль и поперек... Я оценил все, что ты мне о нем писал. Да-да, вот именно, — говорил он, потихоньку трогая, останавливаясь, неожиданно вновь доводя скорость до семидесяти и сгорбившись за рулем. Он не отрываясь смотрел вперед.

Мерилу безмятежно улыбалась. Это был новый, полноценный Дин, повзрослевший и зрелый. Я сказал себе: боже мой, да он изменился! Когда он говорил о вещах, которые ненавидит, глаза его наливались кровью ярости; когда же его вдруг обуревало веселье — так и лучились радостью. Каждый его мускул судорожно подергивался в стремлении жить и мчаться вперед.

— Эх, старина, я мог бы столько тебе рассказать! — сказал он, сопровождая свои слова тычком в мои ребра. — Да, старина, нам во что бы то ни стало надо найти время... Что с Карло? Завтра, дорогие мои, мы первым делом должны навестить Карло. А сейчас, Мерилу,

надо раздобыть немного хлеба и мяса, чтобы перекусить перед Нью-Йорком. Сколько у тебя денег, Сал? Всю мебель миссис П. мы сложим на заднее сиденье, а сами тесно прижмемся друг к другу на переднем и всю дорогу в Нью-Йорк будем рассказывать истории. Мерилу, радость моя, ты сядешь рядом со мной, потом Сал, а у окошка — Эд, детина Эд, тогда уж нас не продует, тем более что на этот раз на нем такой балахон, а потом у всех нас начнется сладкая жизнь, потому что теперь самое время, а *все мы знаем толк во времени!*

Он яростно потер челюсть, повернул машину и обогнал три грузовика, потом въехал в центр Тестаменты, глядя во все стороны, не поворачивая головы и замечая все в секторе ста восьмидесяти градусов вокруг своих зрачков. Хлоп! Он моментально нашел место для стоянки. Выскочив из машины, он с бешеной скоростью ворвался в здание вокзала. Мы с глуповатым видом последовали за ним. Он купил сигареты. Жесты его стали жестами настоящего ненормального. Казалось, он все делает одновременно: трясет головой вверх-вниз и по сторонам, неустанно машет руками, торопливо идет, садится, кладет ногу на ногу, вытягивает их, встает, потирает руки, потирает ширинку, подтягивает брюки, глядит вверх, произносит «хм», и вдруг глаза смотрят в разные стороны, чтобы ничего не упустить. Вдобавок он то и дело двигал меня кулаком в бок и говорил, говорил, говорил.

В Тестаменте было не по сезону холодно, шел снег. Дин стоял на длинной, открытой всем ветрам главной улице, идущей вдоль железной дороги, он был в одной футболке с короткими рукавами и съехавших на бедра брюках с расстегнутым ремнем — впечатление было такое, словно он собирается их снять. Он подошел к машине и сунул голову внутрь, чтобы поговорить с Мерилу, потом попятился, размахивая перед ней руками:

— Да, да, я знаю! Я знаю *тебя*, я знаю тебя, любимая!

Смех его был смехом маньяка; начинался он с негромких низких тонов, а к концу переходил на высокие и резкие — ни дать ни взять смех маньяка на радио, разве что быстрее и ближе к хихиканью. Отсмеявшись, он снова переходил на деловой тон. У нас не было причин ехать в центр, но он причины нашел. Он всех нас заставил суетиться: Мерилу — искать продукты для завтрака, меня — газету со

сводкой погоды, Эда — сигары. Дин просто обожал курить сигары. Одну он выкурил за газетой и разговором.

— Ага, наши вонючие святые американские болтуны из Вашингтона сулят нам лишние хлопоты... гм-мм!.. Ого!

И он выскочил из машины и помчался любоваться темнокожей девушкой, которая только что прошла мимо вокзала.

— Поглядите на нее, — произнес он с идиотской ухмылкой, выставив вперед слабый указующий перст, — эта черномазенькая очень даже ничего. Ах! Хмм!

Мы сели в машину и понеслись назад, к дому моего брата.

До этого я проводил тихое Рождество в деревне — что и осознал, когда мы вернулись в дом и я увидел рождественскую елку, подарки, почувствовал запах жарящейся индейки и послушал, о чем говорят родственники, но мною уже вновь владело помешательство, и имя этому помешательству было Дин Мориарти. Я вновь был во власти дороги.

Мы уложили мебель брата на заднее сиденье и выехали затемно, пообещав обернуться за тридцать часов — тысячу миль на север и обратно на юг за тридцать часов. Но так хотел Дин. Поездка была нелегкой, но никто из нас этого не заметил. Обогреватель не работал, и в результате ветровое стекло затуманилось и покрылось ледяной коркой. На скорости семьдесят Дин то и дело высовывался и протирает стекло тряпкой, чтобы устроить смотровую щель. «Ах, священная дыра!» В просторном «хадсоне» впереди нашлось место всем четверым. Колени мы укрыли одеялом. Радио не работало. Это была совершенно новая машина, купленная пять дней назад, и она уже сломалась. К тому же за нее был выплачен только первый взнос. На север, к Вашингтону, мы отправились по 301-й дороге — прямому двухрядному шоссе, на котором было не слишком оживленно.

И говорил только Дин, все остальные молчали. Он яростно жестикулировал и для пущей убедительности даже наклонялся ко мне, иногда отпуская руль, и все же машина летела прямо, как стрела, ни разу не отклонившись от белой линии посередине дороги — линии, которая раскручивалась, лаская наше левое переднее колесо.

Дина заставило приехать совершенно бессмысленное стечение обстоятельств, да и я поехал с ним без всякой на то причины. В Нью-Йорке я ходил в университет и крутил роман с девушкой по имени Люсиль — красивой итальянкой с чудесными золотистыми волосами, на которой даже хотел жениться. Все эти годы я искал женщину, на которой захотел бы жениться. Ни с одной девушкой я не мог познакомиться, не представив себе, какой она станет женой. Я рассказал о Люсиль Дину и Мерилу. Мерилу принялась меня о ней расспрашивать, ей уже не терпелось с ней познакомиться. Мы промчались через Ричмонд, Вашингтон, Балтимор, а потом по извилистой проселочной дороге в сторону Филадельфии и все говорили и говорили.

— Я хочу жениться на одной девушке, — сказал я им, — и с ней моя душа пребудет в покое до самой старости. Не вечно же все это

будет продолжаться — все это безумие и вся эта суета. Мы должны куда-то уехать, что-то найти.

— Вот именно, старина, — сказал Дин, — мне давно уже по душе это твоё стремление к дому, к женитьбе, ко всем этим прекрасным вещам, которыми полна твоя душа.

Это была грустная ночь. И это была веселая ночь. В Филадельфии мы зашли в буфет и на последний доллар полакомились гамбургерами. Буфетчик — было три часа утра — услышал, как мы говорили о деньгах, и сказал, что угостит нас гамбургерами и кофе, если мы возьмемся вымыть посуду: не пришел его постоянный работник. Недолго думая, мы согласились. Эд Данкел заявил, что он старый искатель жемчуга, и запустил свои длинные руки в таз с посудой. Дин и Мерилу орудовали полотенцами. В конце концов они принялись обниматься среди горшков и кастрюль и уединились в темном углу буфетной. А поскольку мы с Эдом перемыли всю посуду, буфетчик остался вполне доволен. Через пятнадцать минут дело было сделано. На рассвете мы уже мчались через Нью-Джерси, а в снежной дали перед нами поднималось ввысь громадное облако Большого Нью-Йорка. Чтобы согреться, Дин повязал голову свитером. Он заявил, что мы — банда арабов, которая едет взрывать Нью-Йорк. Мы со свистом пролетели сквозь туннель Линкольна и помчались к Таймс-сквер. Мерилу хотелось взглянуть на эту площадь.

— Черт возьми, хорошо бы разыскать Хассела! Смотрите в оба! Может, он здесь. — (Мы внимательно оглядывали тротуары). — Добрый старый пропащий Хассел. Да, надо было тебе *видеть* его в Техасе!

И вот Дин проехал почти четыре тысячи миль из Фриско через Аризону и Денвер — за четыре дня, с бесчисленными приключениями, и это было только начало.

Добравшись домой в Патерсон, мы завалились спать. Первым, далеко за полдень, проснулся я. Дин с Мерилу спали на моей кровати, мы с Эдом — на тетушкиной. На полу валялся потрепанный, расплзшийся по швам чемодан Дина с торчащими из-под крышки носками. Меня позвали к телефону в аптеку на первом этаже. Я помчался туда; звонили из Нового Орлеана. Это был Старый Буйвол Ли, который недавно переехал в Новый Орлеан. Старый Буйвол Ли своим высоким хнычущим голосом взывал к состраданию. Судя по его словам, к нему только что заявила девушка по имени Галатея Данкел, и ей был нужен малый по имени Эд Данкел. Буйвол понятия не имел, что это за люди. Галатея Данкел оказалась настырной неудачницей. Я велел Буйволу успокоить ее и передать, что Данкел со мной и с Дином и что, скорее всего, мы заедем за ней в Новый Орлеан по пути на Побережье. Потом девушка взяла трубку сама. Она хотела знать, как там Эд. Она страшно беспокоилась, все ли с ним в порядке.

— Как ты попала из Тусона в Новый Орлеан? — спросил я.

Она ответила, что телеграфировала домой, ей выслали деньги, и она села на автобус. Она была полна решимости догнать Эда, потому что любила его. Я поднялся наверх и рассказал обо всем Детине Эду. Он сидел в кресле, и весь вид его выдавал душевные терзания — ну просто ангел, а не человек.

— Ну ладно, — сказал Дин, внезапно проснувшись и спрыгивая с кровати, — что мы должны сделать, так это поесть, и немедленно. Мерилу, сгоняй-ка на кухню, погляди, нет ли там чего. Сал, мы с тобой идем вниз и звоним Карло. А ты, Эд, попробуй пока привести в порядок дом.

Я поспешил вниз вслед за Дином. Парень, который держал аптеку, сказал:

— Вам опять только что звонили, на этот раз — из Сан-Франциско. Просили малого по имени Дин Мориарти. Я сказал, что здесь таких нет. — Это звонила Дину милейшая Камилла; аптекарь Сэм, мой высокий и тишайший друг, посмотрел на меня и почесал затылок. — Бог ты мой, у вас тут что, международный бардак?

Дин издал маниакальное хихиканье.

— Ты мне нравишься, старина!

Он влетел в телефонную будку и позвонил в Сан-Франциско за счет вызываемого. Потом мы позвонили домой Карло, на Лонг-Айленд, и велели ему приезжать. Через два часа Карло явился. Мы с Динем тем временем подготовились к обратной поездке вдвоем в Виргинию — за тетушкой и оставшейся мебелью. Карло Маркс пришел со стихами под мышкой и уселся в мягкое кресло, уставившись на нас своими глазками-бусинками. Первые полчаса он отказывался что-либо произнести; во всяком случае, отказывался брать разговор на себя. Со времен Денверской Хандры он успел утихомириться; виной тому была Дакарская Хандра. В Дакаре, отрастив бороду, он бродил по глухим, отдаленным улицам с маленькими детьми, которые отвели его к колдуну, и тот предсказал ему судьбу. У него были снимки, сделанные на улочках с шаткими хижинами из дерна — на унылой окраине Дакара. Карло сказал, что на обратном пути едва не бросился за борт, как Харт Крейн. Дин сидел на полу с музыкальной шкатулкой в руках, в крайнем изумлении вслушиваясь в звучащую оттуда песенку «Прекрасная любовь».

— Что за чертовы колокольчики там звенят? Только послушайте! Давайте-ка все вместе заглянем в этот ящик и узнаем его секрет. Ну и ну — звенят себе и звенят!

Эд Данкел тоже сидел на полу. Он взял мои барабанные палочки и вдруг начал тихо отстукивать ритм под едва слышную музыку шкатулки. Все затаили дыхание. «Тик... так... тик-тик... так-так». Дин оттопырил ухо ладонью, челюсть его отвисла; он сказал:

— Ах! Ого!

Прищурившись, Карло наблюдал за этим тупым безумием. Наконец он хлопнул себя по колену и произнес:

— Я хочу сделать заявление.

— Да? Да?

— Какой смысл в этом путешествии в Нью-Йорк? Что за жалким делом вы сейчас заняты? Я хочу сказать, старина, куда едешь ты? Куда едешь ты, Америка, в своем сверкающем в ночи автомобиле?

— Куда едешь ты? — эхом отозвался Дин, не закрывая рта.



Мы сидели, не зная, что и сказать; говорить больше было не о чем. Оставалось только ехать. Дин вскочил и заявил, что пора возвращаться в Виргинию. Он принял душ, я приготовил большую деревянную миску риса, добавив туда все, что оставалось в доме, Мерилу заштопала Дину носки, и мы были готовы к отъезду. Взяв с собой Карло, мы направились в Нью-Йорк. С Карло мы договорились увидеться через тридцать часов, как раз в канун Нового года. Была ночь. Мы оставили его на Таймс-сквер и поехали назад, через платный туннель — в Нью-Джерси, а там выехали на дорогу. Сменяя друг друга за рулем, мы с Дином добрались до Виргинии за десять часов.

— Ну вот, мы в первый раз одни и можем говорить хоть годами, — сказал Дин.

И он проговорил всю ночь. Будто во сне, мы вновь промчались сквозь спящий Вашингтон, вновь оказались в девственных дебрях Виргинии, на рассвете пересекли реку Аппоматтокс и в восемь утра затормозили у двери дома Рокко. И все это время Дин был чрезвычайно возбужден всем, что видел, всем, о чем говорил, каждой деталью и каждым мгновением. Он был совершенно без ума от подлинной веры.

— И теперь-то уж никто нам не скажет, что Бога нет. Мы ведь прошли все стадии. Ты же помнишь, Сал, как я в первый раз приехал в Нью-Йорк и хотел, чтоб Чед Кинг растолковал мне Ницше. Чувствуешь, как давно? Все чудесно, Бог существует, мы знаем, что такое время. Начиная с греков, все исходные утверждения были ложными. С помощью геометрии и геометрических систем мышления ничего не добьешься. Вот в чем все дело! — Он сунул палец в кулак; машина шла точнехонько по прямой, словно зацепившись за линию. — И не только в этом, мы ведь с тобой понимаем, что мне попросту не хватает времени объяснить, откуда я знаю, да и откуда ты знаешь, что Бог есть.

Где-то посреди этого разговора я принялся жаловаться на жизненные передрыги — на то, как бедна моя семья, как сильно я хочу помочь Люсиль, которая тоже бедна и вдобавок имеет дочь.

— Видишь ли, передрыги — это слово-обобщение, оно говорит о том, где именно находится Бог. Главное — не вешать носа. У меня даже в башке звенит! — вскричал он, сжав руками голову.

Потом он выскочил из машины за сигаретами — ни дать ни взять Граучо Маркс с его яростной твердой походкой, с его развевающимися фалдами, разве что на Дине не было фрака.

— После Денвера, Сал, я все думал и думал о многих вещах — и каких вещах! Все время, что я провел в исправительной школе, я был просто молокососом, я самоутверждался: угонял машины и этим бессознательно выражал свою позицию — нашел, чем кичиться! Теперь у меня нет тюремных проблем. Насколько я понимаю, в тюрьму я больше не попаду. Все остальное — не моя вина.

Мы миновали малыша, который бросался камнями в автомобили.

— Подумать только! — сказал Дин. — В один прекрасный день он пробьет камнем ветровое стекло, и какой-нибудь парень разобьется и умрет — из-за этого малютки. Понимаешь, что я имею в виду? Не сомневаюсь — Бог есть. Я просто знаю наверняка, что, пока мы катим по этой дороге, с нами ничего не случится, даже когда ты поведешь машину, как бы ты ни боялся руля, — (я терпеть не мог сидеть за рулем и водил машину очень осторожно), — все будет происходить само собой, ты не съедешь с дороги, и я смогу спокойно поспать. Более того — мы знаем Америку, мы дома. В Америке я могу поехать куда угодно и получить что захочу, потому что в каждом ее уголке все одно и то же, я знаю людей, знаю, чем они занимаются. Мы отдаем, мы берем, а потом удаляемся, уходя в недоступную пониманию радость, только вот удаляемся зигзагами.

Трудно было уяснить себе, о чем он говорил, но то, что хотел сказать, каким-то образом становилось чистым и ясным. Он много раз употребил слово «чистый». Мне и не снилось, что Дин может сделаться мистиком. То были первые дни его мистицизма, который позднее приведет к странной, неряшливой святости в духе У. К. Филдза.

Даже моя тетушка вполуха, но с любопытством слушала его, когда той же ночью мы снова мчались на север, в Нью-Йорк, с мебелью на заднем сиденье. Теперь, когда в машине сидела тетушка, Дин перешел к рассказу о тонкостях своей работы в Сан-Франциско. Мы выслушали все до мелочей об обязанностях тормозного кондуктора, что иллюстрировалось всякий раз, как мы проезжали станцию, а однажды Дин даже выпрыгнул из машины, чтобы показать мне, как тормозной кондуктор передает на идущий по соседней ветке

встречный поезд стакан виски. Тетушка удалилась на заднее сиденье и уснула. Из Вашингтона в четыре утра Дин опять позвонил в Фриско за счет Камиллы. А не успели мы выехать из Вашингтона, как с нами поравнялась полицейская машина с включенной сиреной, и, хоть мы и ползли тридцать миль в час, нас обвинили в превышении скорости. Виноват был наш калифорнийский номерной знак.

— Вы что, ребята, думаете, раз вы из Калифорнии, так можете и здесь ездить с такой скоростью?

Я пошел вместе с Дином к сержанту, и мы попытались объяснить полицейским, что у нас нет денег. Они заявили, что, если мы денег не добудем, Дину придется провести ночь в камере. У тетушки, конечно, были пятнадцать долларов; всего у нее было двадцать, и на штраф хватило. А пока мы препирались с полицейскими, один из них вышел взглянуть на тетушку, которая, укутавшись одеялом, сидела в машине. Она его увидела.

— Не беспокойтесь, я не гангстерша и у меня нет оружия. Если хотите осмотреть машину, милости просим. Мы с племянником едем домой, а эта мебель не украдена, это мебель племянницы, она только что родила и переезжает в новый дом.

Ошеломленный «Шерлок» вернулся в участок. Тетушке все же пришлось заплатить за Дина штраф, иначе мы застряли бы в Вашингтоне, ведь у меня не было водительских прав. Дин пообещал вернуть деньги, что и впрямь сделал, ровно через полтора года — к приятному удивлению тетушки. Моя тетушка — почтенная женщина, и, долго прожив в этом печальном мире, она прекрасно его изучила. Она рассказала нам о полицейском.

— Он прятался за деревом и пытался разглядеть, как я выпляжу. Я ему сказала... я сказала, если хочет, пусть обыщет машину. Мне стыдиться нечего.

Она знала, что Дину есть чего стыдиться, да и мне тоже, раз уж я с Дином связался, и мы с ним грустно все это выслушали. Однажды тетушка сказала, что в мире не настанет покоя до тех пор, пока мужчины не бросятся своим женщинам в ноги, чтобы молить их о прощении. Но Дин это знал; он много раз об этом говорил.

— Я все молил и молил Мерилу понять, что между нами вечная, мирная, чистая любовь, умолял ее отбросить всякие дразги — и она понимает. А в душе хочет совсем другого — ей нужен я, весь,

целиком. Она никак не поймет, как сильно я ее люблю, она меня просто погубит.

— Все дело в том, что мы не понимаем своих женщин. И обвиняем их, а виноваты сами, — сказал я.

— Все не так просто, — уверенно произнес Дин. — Успокоение придет так неожиданно, что мы сами этого не заметим, — ясно, старина?

Упрямо и мрачно гнал он машину через Нью-Джерси. К рассвету Дин уснул на заднем сиденье, и в Патерсон я въехал сам. В восемь утра мы явились домой и обнаружили, что Мерилу с Эдом Данкелом сидят за столом и пыхтят окурками из пепельниц. С тех пор как мы с Дином уехали, они ничего не ели. Тетушка накупила продуктов и приготовила потрясающий завтрак.

Теперь надо было подыскать нашей западной троице жилье поближе к Манхэттену. У Карло было пристанище на Йорк-авеню, и вечером они переезжали туда. Мы с Дином проспали весь день и пробудились, когда разразилась сильная снежная буря — в канун Нового, 1949 года. Эд Данкел сидел в моем мягком кресле и рассказывал о прежних Новых годах.

— Был я тогда в Чикаго. Без гроша. Сижу у окна своего гостиничного номера на Норт-Кларк-стрит, а снизу, из булочной, прямо мне в нос поднимается вкуснейший запах. У меня не было ни цента, но я спустился и поговорил с тамошней девицей. И бесплатно получил хлеба и кофе с пирожными. В номере я все съел. Так я всю ночь оттуда и не выходил. Или вот в Фармингтоне, Юта, где я работал с Эдом Уоллом — вы знаете Эда Уолла, сына скотовода из Денвера, — так вот, лежу я в постели и вдруг вижу, что в углу стоит моя покойная мать, а вокруг нее — сияние. Я кричу: «Мама!» — и она исчезает. У меня частенько бывают видения, — закончил Эд Данкел, сопроводив свои слова кивком.

— Что ты собираешься делать с Галатеей?

— Там видно будет. Доберемся до Нового Орлеана и решим. И ты ведь так считаешь, а? — Он и ко мне стал обращаться за советом; одного Дина ему теперь не хватало. А в Галатею он уже был влюблен и теперь взвешивал все «за» и «против».

— А сам ты что собираешься делать, Эд? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он. — Поглядим по ходу дела. Я кайфую от жизни.

Он часто повторял это, следуя принципу Дина. Собственных же стремлений у него не было. Он просто сидел, вспоминая о той чикагской ночи, о горячем кофе с пирожными и об одиночестве в номере.

За окном кружил снег. В Нью-Йорке намечалась грандиозная вечеринка, и мы все собрались туда. Дин упаковал свой покореженный чемодан, положил его в машину, и мы отправились на ночное веселье. У тетушки настроение было прекрасное — на будущей неделе она

ждала в гости моего брата. А пока, взяв свою газету, она уселась дожидаться новогодней радиопередачи с Таймс-сквер.

Виляя по сторонам на льду, мы въехали в Нью-Йорк. Если машину вел Дин, мне никогда не бывало страшно. В любых условиях он держал автомобиль в руках. Радио починили, и теперь Дин мог всю ночь заводить нам свой бешеный «боп». Я не знал, к чему это все приведет. Мне было все равно.

Как раз в это время со мной начало происходить нечто странное. А случилось вот что: я о чем-то забыл. О каком-то решении, которое собирался принять, прежде чем появился Дин, а теперь оно вылетело у меня из головы, но все еще вертелось на кончике языка. То и дело я щелкал пальцами, пытаюсь его вспомнить. Кажется, я даже что-то сказал. И все-таки не мог понять: о решении ли шла речь, или же это была просто мысль, которую я позабыл. Это не давало мне покоя, ошеломляло и очень печалило. Должно быть, все это имело некое отношение к Скитальцу в саване. Как-то мы с Карло Марксом уселись на стулья — колени к коленям, лицом к лицу, и я рассказал ему свой сон про страшного араба, который преследовал меня в пустыне; от которого я пытался скрыться; который наконец нагнал меня, когда я уже почти достиг Спасительного Города. «Кто это был?» — спросил Карло. Мы задумались. Я предположил, что это был я сам, только закутанный в саван. Но это не так. Что-то, кто-то, некий дух неотступно следовал за всеми нами через пустыню жизни, чтобы непременно схватить нас, прежде чем мы достигнем небес. Конечно, вспоминая об этом теперь, я понимаю, что это могла быть только смерть; смерть овладеет всеми нами прежде небес. Единственное, по чему мы тоскуем при нашей жизни, что заставляет нас вздыхать, и стонать, и испытывать сладкое головокружение, — это воспоминание о некоем утерянном блаженстве, которое, быть может, было испытано еще в материнском чреве и может быть обретено вновь (хоть нам и не по нутру это признавать) только в смерти. Однако кому охота умирать? В вихре событий я в глубине души никогда об этом не забывал. Я рассказал об этом Дину, и он моментально признал тут всего лишь простое стремление к чистой смерти; а раз уж никто из нас никогда не вернется в жизнь, то и поделаться тут ничего нельзя, и тогда я с ним согласился.

Мы отправились на поиски нью-йоркской компании моих друзей. Цветы безумия распускались и здесь. Сперва мы пошли к Тому Сэйбруку. Том — грустный красивый малый, мягкий, великодушный и сговорчивый, вот только время от времени у него вдруг случаются приступы депрессии, и тогда он, не сказав никому ни слова, мчится прочь. А в тот вечер он был вне себя от радости.

— Сал, где ты отыскал таких замечательных людей? Я раньше и не встречал подобных.

— Они с Запада.

Дин получал свой балдеж. Он поставил джазовую пластинку, схватил Мерилу, крепко сжал ее в объятиях и принялся запрыгивать на нее в такт музыке. А она отскакивала назад. Это был настоящий танец любви. Появился в окружении многочисленных друзей Иэн Макартур. Начался новогодний уик-энд, и длился он три дня и три ночи. Целыми компаниями мы набивались в «хадсон» и мотались по заснеженным нью-йоркским улицам с вечеринки на вечеринку. На самую грандиозную вечеринку я привел Люсиль и ее сестру. Когда Люсиль увидела меня с Дином и Мерилу, лицо ее потемнело — она ощутила то безумие, которое они в меня вселили.

— Когда ты с ними, ты мне не нравишься.

— Да брось ты, мы просто веселимся. Живем-то один раз. Вот и наслаждаемся жизнью.

— Нет, грустно все это, и мне это не по душе.

Потом ко мне пристала со своей любовью Мерилу. Она сказала, что Дин собирается остаться с Камиллой, а она хочет, чтобы я уехал с ней.

— Поедем с нами в Сан-Франциско. Будем жить вместе. Я стану твоей девушкой.

Но я знал, что Дин любит Мерилу, и вдобавок я знал, что Мерилу поступает так, чтобы вызвать ревность Люсиль, а это мне было и вовсе ни к чему. Как бы то ни было, а слюнки при виде этой ароматной блондиночки у меня текли. Увидев, что Мерилу заталкивает меня в каждый угол, клянется в вечной любви и заставляет целоваться, Люсиль приняла приглашение Дина посидеть в машине. Однако они всего лишь поболтали и выпили немного южного самогона, который я оставил в отделении приборного щитка. Все смешалось, и все рушилось. Я знал, что теперь моя связь с Люсиль

долго не продлится. Она хотела, чтобы я был таким, как надо ей. Она была замужем за портовым грузчиком, который с ней дурно обращался. Я очень хотел жениться на ней, хотел забрать к себе ее маленькую дочь и все такое прочее — если она разведется с мужем. Но на развод и денег-то не хватало, и все предприятие выглядело безнадежным, к тому же Люсиль никогда бы меня не поняла, потому что я люблю слишком многие вещи и просто чуею и зацикливаюсь, носясь от одной падающей звезды к другой, пока не упаду сам. Это все ночь, это она все с нами проделывает. Мне нечего было предложить кому бы то ни было — разве что собственное смятение.

Вечеринки были чудовищные. В подвальную квартирку на Западных Девяностых набилась по меньшей мере сотня гостей. Даже котельная была полна народу. Что-то творилось в каждом углу, на каждой кровати и кушетке — не оргия, нет, просто новогодняя вечеринка с истошными воплями и дикой радиомузыкой. Там была даже китаянка Словно Гручо Маркс, Дин носился от компании к компании, интересуясь всем и вся. Время от времени мы мчались к машине, чтобы привезти еще кого-нибудь. Пришел Дэмион. Дэмион — герой моей нью-йоркской шайки, так же как Дин — герой западной. Они сразу же невзлюбили друг друга. Девушка Дэмиона неожиданным хуком правой врезала своему спутнику в челюсть. Дэмион завертелся волчком. Она увела его домой. Нагруженные бутылками, пришли из своей редакции несколько наших приятелей-газетчиков. Снаружи бушевала страшная и прекрасная снежная буря. Эд Данкел познакомился с сестрой Люсиль и куда-то с ней исчез; я забыл сказать, что с женщинами Эд Данкел крайне обходителен. При росте в шесть футов четыре дюйма он кроток, любезен, угодлив, ласков и очарователен. Он помогает женщинам надевать пальто. И правильно делает.

В пять часов утра мы все мчались через задний двор большого дома и карабкались в окно квартиры, где царило безудержное веселье. А на рассвете мы снова были у Тома Сэйбрука. Все рисовали картины и пили выдохшееся пиво. Обняв девушку по имени Мона, я уснул на кушетке. К нам набилось несколько шумных компаний из старого бара «Колумбийский кампус». Одна сырая комната вместила в себя все на свете — всех, кто был в этой жизни. Продолжилась вечеринка у Иэна Макартура. Иэн Макартур — удивительно приятный малый в очках,



за которыми видны его восторженные глаза. Научившись на все отвечать «да!», в точности как в свое время Дин, он так с тех пор и не разучился. Под бешеные звуки «Охоты» Декстера Гордона и Уорделла Грея мы с Дином через кушетку перебрасывались мячом с Мерилу, и она ни в чем нам не уступала. Пока не настало время сесть в машину и привезти еще народ. Дин был в одних брюках, без рубашки и босиком. Чего только не происходило! Мы разыскали обезумевшего от восторга Ролло Греб и провели ночь у него дома, на Лонг-Айленд. Ролло живет со своей тетушкой в прекрасном доме. Когда тетушка умрет, весь дом достанется ему. А пока она отказывается уступать его желаниям и ненавидит его друзей. Он привел к себе нашу шайку оборванцев — Дина, Мерилу, Эда и меня — и закатил шумную вечеринку. Женщина рыскала где-то наверху; она грозилась вызвать полицию.

— Да заткнись ты, старая карга! — вопил Греб.

Меня удивляло, как он может с ней жить. Я в жизни не видел такого количества книг, как у него, — две библиотеки, две комнаты, уставленные от пола до потолка вдоль всех четырех стен, да еще и книгами вроде «Апокрифического кое-чего» в десяти томах. Он играл оперы Верди и пантомимой изображал их в своей пижаме с огромным разрезом на спине. Ему было наплевать на все. Он — великий грамотей, который, пошатываясь и испуская вопли, бродит в районе нью-йоркского порта с оригиналами рукописных нот семнадцатого века под мышкой. Он ползет по улицам, как громадный паук. От возбуждения его глаза излучали всепрощающий демонический свет. В судорожном экстазе он вертел головой. Он что-то лепетал, корчился, падал на колени, стонал, выл, он в отчаянии валился наземь. Он едва мог вымолвить слово — так возбуждала его жизнь. Дин стоял перед ним со склоненной головой и то и дело повторял: «Да... Да... Да!» Он увел меня в угол.

— Этот Ролло Греб — величайший, удивительнейший человек. Именно это я и пытался тебе сказать — вот таким я и хочу стать. Я хочу быть таким, как он. Он ни на чем не заикливается, он идет во всех направлениях, он плывет по воле волн, он знает, что такое время, ему ничего не нужно делать — только раскачиваться взад-вперед. Он — это предел, старина! Знаешь, если все время будешь поступать, как он, то в конце концов этого добьешься.

— Чего добьешься?

— *Этого! Этого!* Потом объясню — сейчас нет времени, сейчас у нас нет ни минуты.

Дин снова умчался любоваться Ролло Гребом.

Джордж Ширинг — великий джазовый пианист — был, по словам Дина, в точности таким же, как Ролло Греб. Посреди нескончаемого безумного уик-энда мы с Дином отправились в «Бердленд» поглядеть на Ширинга. Там было пусто, в десять часов мы оказались первыми посетителями. Вышел Ширинг, слепой, его под руку подвели к клавишам. Он был ярко выраженным англичанином с жестким белым воротничком; тучноватый, светловолосый, он создавал вокруг себя едва уловимую атмосферу английской летней ночи, она возникла с первыми переливами приятной вещички, которую он играл, пока контрабасист, благоговейно склонившись перед ним, брэнчал ритм. Барабанщик, Дензил Бест, сидел неподвижно и лишь шевелил запястьями, шурша своими щетками. А Ширинг начал раскачиваться, на его исступленном лице появилась улыбка. Сидя на своем фортепианном табурете, он раскачивался взад и вперед, сперва медленно, потом ритм ускорился, и он принялся раскачиваться быстрее, на каждую долю такта его левая нога подскакивала вверх, голова на изогнувшейся шее тоже двигалась взад-вперед, он наклонил лицо вплотную к клавиатуре, откинул назад волосы, его прическа рассыпалась, он начал потеть. Музыка набирала силу. Контрабасист, сгорбившись, вбивал эту силу внутрь, все быстрее и быстрее, казалось, уже быстрее некуда. Ширинг приступил к своим аккордам; они хлынули из рояля нескончаемым кипучим потоком, и непонятно было, как у него хватает времени их выстраивать. Они катились и катились, как морские волны. Народ вопил «давай!», Дин вспотел; пот струился по его воротнику.

— Вот он! Это он! Старый Бог! Старый Бог Ширинг! Да! Да!

А Ширинг ощущал присутствие безумца позади, ему слышен был каждый вздох, каждое бормотание Дина, он все чувствовал, хотя и не мог увидеть.

— Вот так! — сказал Дин. — Да!

Ширинг улыбался; он раскачивался. Потом поднялся от инструмента, взмокший от пота. Это были его великие дни 1949 года,

позже он сделался сухим коммерсантом от музыки. Когда он ушел, Дин указал на опустевший фортепианный табурет.

— Пустой трон Господень, — сказал он.

На рояле лежала труба, отбрасывавшая удивительную золотистую тень на караван пустыни, нарисованный на стене позади барабанов. Бог удалился, и теперь царило безмолвие его ухода. Была дождливая ночь. Был миф о дождливой ночи. Дин вытаращил глаза, он был исполнен благоговейного страха. Это безумие никуда не приведет. Я долго не мог понять, что со мной происходит, и вдруг до меня дошло, что все дело в травке, которую мы покурили. Дин купил немного в Нью-Йорке. После нее-то я и решил, что вот-вот оно придет — мгновение, когда все станет ясно, когда все будет решено раз и навсегда.

Я всех бросил и отправился домой отдыхать. Тетушка заявила, что, болтаясь с Дином и его шайкой, я попусту теряю время. Я знал, что это не так. Жизнь есть жизнь, и в ней всему есть место. Чего я хотел, так это предпринять еще одно шикарное путешествие на Западное Побережье и вернуться к весеннему семестру. Знал бы я, что это будет за путешествие! Ехал я лишь ради самой поездки, вдобавок мне было интересно, что Дин собирается делать дальше, к тому же, зная, что в Фриско Дин вернется к Камилле, я был не прочь завязать отношения с Мерилу. Мы были готовы вновь пересечь стонущий континент. По своему ветеранскому чеку я получил в банке деньги и выдал Дину восемнадцать долларов, чтобы он послал их жене: в ожидании его возвращения она сидела без гроша. Что было на уме у Мерилу, я не знаю. А Эд Данкел был, как всегда, просто с нами.

Перед отъездом еще были длинные веселые дни, проведенные в квартире Карло. Он расхаживал по комнате в купальном халате и произносил полуиронические речи: Я вовсе не пытаюсь лишить вас ваших снобистских услад, но, по-моему, пришло время решать, кто вы такие и чем собираетесь заниматься. — (Сам Карло работал в конторе переписчиком на машинке). — Я хочу знать, что должно означать это сидение дома с утра до вечера. Что значат все эти разговоры и что вы намереваетесь делать. Дин, почему ты бросил Камиллу и связался с Мерилу? — (Ответа нет — хихиканье). — Мерилу, зачем тебе нужны эти путешествия по стране и есть ли у тебя как у женщины какие-либо намерения относительно савана? — (Ответ тот же). — Эд Данкел, почему ты бросил в Тусоне молодую жену и ради чего ты сидишь здесь на своей необъятной жирной заднице? Где твой дом? Где ты работаешь? (Вконец сбитый с толку, Эд Данкел опустил голову). — Сал... как получилось, что ты плюнул на все и с головой окунулся в грязь, и что ты натворил с Люсиль? — Он запахнул халат и уселся, уставившись на нас. — Дни гнева еще впереди. И скоро лопнет ваш воздушный шар. Не забывайте: он, этот ваш шар, абстрактный. Вы улетите на Западное побережье, а потом приковыляете назад в поисках своего камня.

В те дни в голосе Карло появились интонации, которые, по его мнению, соответствовали звучанию так называемого Голоса Скалы; идея состояла в том, чтобы ошеломить людей, заставив их проникнуться понятием «скалы».

— На шляпах ваших знак дракона, — предостерег он нас, — на вашем чердаке — мышей летучих легионы.

Его безумные глаза сверкали. После Дакарской Хандры он пережил ужасный период, который называл Священной Хандрой или Гарлемской Хандрой — летом он жил в Гарлеме и, просыпаясь по ночам в своей унылой комнатенке, слышал, как с неба спускается «величественная машина». И еще он ходил по 125-й улице, «под водой», вместе со всеми остальными рыбами. Это был бунт лучезарных дней, которые явились, чтобы осветить его разум. Он заставил Мерилу сесть к нему на колени и приказал ей умолкнуть. Дину он сказал:

— Почему бы тебе просто не сесть и не расслабиться? Зачем ты так суетишься?

Дин носился по комнате, бросал сахар в свой кофе и твердил:

— Да! Да! Да!

Ночью Эл Данкел спал на диванных подушках, брошенных на пол. Дин с Мерилу выселили Карло с кровати, и Карло усаживался на кухне, ел тушеные почки и бормотал себе под нос предсказания скалы. Я приходил днем и любовался происходящим.

Эд Данкел мне сказал:

— Прошлой ночью я дошел пешком до самой Таймс-сквер, и там, на площади, я вдруг понял, что я — призрак. Именно мой призрак шел по тротуару.

Говорил он мне это, ничего не объясняя, а лишь многозначительно кивая головой. Часов через десять, прервав чей-то чужой разговор, Эд произнес:

— Да, именно мой призрак шел по тротуару.

Неожиданно Дин наклонился ко мне и серьезно сказал:

— Сал, я хочу тебя кое о чем попросить... Об очень важном для меня... интересно, как ты это воспримешь... мы ведь дружки, верно?

— Конечно, Дин.

Он едва не зарделся от смущения. В конце концов он выдал следующее: он хочет, чтобы я занялся Мерилу. Я не спросил зачем,

ведь я знал, что он хочет посмотреть, какова будет Мерилу с другим мужчиной. Когда он выдвинул эту идею, мы сидели в баре «Ритци», а до этого битый час бродили по Таймс-сквер, разыскивая Хассела. В баре «Ритци» собираются бандиты с прилегающих к Таймс-сквер улиц. Каждый год этот бар меняет название. Войдя туда, вы не увидите ни единой девушки, даже в кабинках, — только бесчисленные толпы молодых людей, наряженных во все виды хулиганского тряпья, от красных рубах до мешковатых брюк с пиджаками до колен. Это бар проститутов — парней, зарабатывающих на жизнь с помощью грустных старых гомиков ночной Восьмой авеню. Войдя туда, Дин прищурился, чтобы получше рассмотреть каждое лицо. Там были бешеные гомики-негры, угрюмые парни с пистолетами, вооруженные ножами моряки, тощие, необщительные наркоманы; забрел туда и прилично одетый пожилой сыщик, выдававший себя за букмекера, он околачивался там отчасти из интереса, отчасти по долгу службы. Только в таком символическом месте Дин и мог высказать свою просьбу. В баре «Ритци» вынашиваются всевозможные гнусные замыслы — они просто носятся в воздухе, — а вместе с ними берут начало все виды безумных сексуальных связей. Взломщик сейфов не только рассказывает бандиту о каком-нибудь магазинчике на 14-й улице, но и предлагает переспать. Долгое время в бар «Ритци» наведывался Кинси, он брал у некоторых ребят интервью. Я был там в 1945-м, в ночь, когда приходил его помощник. Он взял интервью у Хассела и у Карло.

Вернувшись в нашу берлогу, мы застали Мерилу в постели. Данкел выгуливал по Нью-Йорку своего призрака. Дин рассказал о нашем уговоре Мерилу. Она пришла в восторг. В себе я так уверен не был. Мне еще предстояло доказать, на что я способен. Кровать эта некогда служила смертным ложем для довольно крупного мужчины и посередине была продавлена. В этом углублении лежала между мной и Дином Мерилу, а мы с ним, не зная, что и сказать, пытались удержаться на загнутых кверху краях матраса. Я произнес:

— А, черт, не могу я этого сделать.

— Давай, старина, ты же обещал, — сказал Дин.

— А как Мерилу? — спросил я. — Ну, Мерилу, ты-то что думаешь?

— Давай действуй, — ответила она.

Она принялась меня ласкать, а я пытался позабыть о присутствии старины Дина. Всякий раз, когда я осознал, что там, во тьме, он прислушивается к каждому звуку, меня разбирал смех. Это было ужасно.

— Боюсь, ничего не получится. Может, ты на минутку выйдешь на кухню?

Дин вышел. Мерилу была просто очаровательна, но я шептал:

— Давай подождем, давай станем любовниками в Сан-Франциско. Моя душа еще не готова.

Я был прав, и она это понимала. Мы были тремя детьми земли, которые пытались принять какое-то решение в ночи и перед которыми во тьме поднимался на воздушном шаре весь груз прошедших веков. В квартире стояла странная тишина. Я вышел, похлопал Дина по плечу и велел ему идти к Мерилу, а сам завалился на кушетку. Мне было слышно, как Дин что-то блаженно лопочет и как кровать под ним бешено ходит ходуном. Только отсидев пять лет в тюрьме, можно прийти до таких маниакальных степеней незащитности; преклонять колена у дверей, преграждающих путь к источнику нежности, сходить с ума от всецелого плотского проникновения к самым корням жизненного блаженства; вслепую отыскивать обратный путь — путь собственного прихода в этот мир. Все это — результат многолетнего разглядывания сексуальных картинок за решеткой; разглядывания женских ножек и грудей в популярных журналах; осознания прочности стальных коридоров и податливости женщины, которой нет. Тюрьма — это место, где вы убеждаете самого себя в том, что имеете право на жизнь. Дин никогда не видел лица своей матери. Каждая новая девушка, каждая новая жена, каждый новый ребенок вносили свою лепту в его плачевное обнищание. Где его отец? Где старый бродяга Дин Мориарти, Жестянщик, путешествующий в товарных вагонах, подрабатывающий судомойкой в железнодорожных столовых и ковыляющий дальше, хмельными ночами валяющийся в темных закоулках, угасающий на угольных кучах, один за другим теряющий свои пожелтевшие зубы под заборами Запада? У Дина были все права умирать сладостными смертями неповторимой любви своей Мерилу. Я не хотел вмешиваться, я хотел лишь последовать за ним.

Карло вернулся на рассвете и облачился в свой купальный халат. В те дни он совсем не спал.

— Ох-хо! — простонал он.

Его бесил беспорядок на полу, бесили раскиданные повсюду брюки и платья, окурки, грязные тарелки и раскрытые книги — так проводили мы свой грандиозный форум. Мир каждый день стонал от желания перевернуться, а мы занимались своими потрясающими исследованиями ночи. Мерилу была вся в синяках после того, как по неведомой мне причине подралась с Дином; у него, в свою очередь, было расцарапано лицо. Пришла пора ехать.

Мы направились ко мне — целая шайка из десяти человек — забрать мой мешок и позвонить в Новый Орлеан Старому Буйволу Ли, позвонить из бара, где мы давным-давно впервые разговорились с Дином, когда он возник у меня в дверях, чтобы научиться писать. Почти через две тысячи миль до нас донесся хнычущий голос Буйвола:

— Послушайте, ребята, что, по-вашему, я должен делать с этой Галатеей Данкел? Она здесь уже две недели — прячется у себя в комнате и ни со мной, ни с Джейн не разговаривает. Этот тип, Эд Данкел, с вами? Ради всего святого, везите его сюда и избавьте меня от нее. Она спит в нашей лучшей спальне, а деньжата у нее кончились. У нас же не гостиница!

Эд пытался успокоить Буйвола нечленораздельными восклицаниями. Кроме него, у телефона были Дин, Мерилу, Карло, я, Иэн Макартур, его жена, Том Сэйбрук, бог знает кто еще, все вопили в трубку, чтобы мог услышать очумевший Буйвол, и пили пиво, а Буйвол больше всего на свете ненавидел неразбериху.

— Ладно, — сказал он, — может, когда приедете, вы уже научитесь говорить человеческим голосом, если, конечно, вы вообще сюда доберетесь.

Я попрощался с тетушкой, пообещав вернуться через две недели, и снова взял курс на Калифорнию.



Начало нашего путешествия было ознаменовано морозящим дождем и таинственностью. Я понимал, что впереди одна большая сага туманов.

— Эге-гей! — крикнул Дин. — Поехали!

И, ссутулившись за рулем, он резко стартовал. Вновь он был в своей стихии, все это видели. Мы были просто счастливы, мы все осознали, что, оставив позади бессмыслицу и неразбериху, выполняем свою единственную и благороднейшую для того времени миссию — *передвигаемся*. И мы передвигались! Где-то в Нью-Джерси мы пронеслись в ночи мимо таинственных белых указателей, они гласили: «ЮГ» (со стрелкой) и «ЗАПАД» (со стрелкой), и повернули туда, куда указывала стрелка «ЮГ». Новый Орлеан! Мы сгорали от нетерпения. Из грязных снегов «морозного педерастического Нью-Йорка», как называл его Дин, — прямым в окутанный зеленью и речными запахами старый Новый Орлеан, что стоит на отмытом дочиства дне Америки; а потом — на запад. Эд расположился на заднем сиденье, мы с Мерилу и Дином сидели на переднем и вели задушевную беседу о том, как хорошо и радостно жить. Дин неожиданно проявил неподдельную чуткость.

— А ну-ка, черт подери, послушайте, все мы должны сойтись на том, что все прекрасно и нет нужды волноваться ни о чем на свете, мы просто обязаны *понять*, что *на самом-то деле* мы ни о чем и не беспокоились. Разве я не прав? — (Мы согласились). — Вот мы едем, все вместе... Чем мы занимались в Нью-Йорке? Простить и забыть! — (У каждого из нас остались там свои неурядицы). — Все это уже позади, даже если мерить просто на мили. Сейчас мы стремимся в Новый Орлеан лицезреть Старого Буйвола Ли, а разве это не здорово? Вы только послушайте, что этот бесподобный тенор выдувает из своего саксофона! — Он включил приемник на полную громкость, и машина затряслась. — Слушайте, как он рассказывает свою историю об истинном наслаждении, об истинном знании.

Мы вслушались и вновь согласились с Дином. Чистота дороги. Белая линия посередине шоссе раскручивалась, цепко держась левого

переднего колеса, словно хотела разделить с нами наше упоение джазом. Дин вытянул свою мускулистую шею и, вглядываясь в зимнюю ночь, выжимал из машины все, на что она была способна. Он потребовал, чтобы в Балтиморе, дабы набраться опыта в езде по городу, за руль сел я. Все прошло нормально, разве что они с Мерилу, пока я вел машину, целовались и валяли дурака. Все просто помешались. Радио ревело на полную мощь. Дин отстукивал партию барабанов на щитке, пока там не появилась огромная вмятина. Я занимался тем же. Бедный «хадсон» — неспешный корабль в Китай — получал свою взбучку.

— Эх, старина, вот это кайф! — орал Дин. — Ну-ка, Мерилу, послушай, радость моя, ты-то знаешь, что мне ничего не стоит все делать одновременно, да и сил не занимать — так что и в Сан-Франциско мы обязательно будем жить вместе. Я подыскал тебе подходящий домик — в самом конце каторжного тракта — и каждые два дня всенепременно буду там появляться, двенадцать часов подряд мы будем вместе, а, старина? Тебе же не надо объяснять, любимая, что мы способны сделать за двенадцать часов! А заодно я, как и прежде, поселюсь у Камиллы, и она ни о чем не догадается. Это у нас выйдет — выходило же раньше.

Мерилу это пришлось по душе. Она явно жаждала скальпа Камиллы. Хотя наше соглашение состояло в том, что во Фриско Мерилу переключится на меня, я уже начинал понимать, что разлучаться они не собираются, а я остаюсь ни с чем, да еще и на другом конце материка. Но стоит ли об этом думать, когда перед тобой вся золотая страна, когда впереди еще столько непредвиденных событий, которые в свое время изумят тебя и заставят обрадоваться тому, что ты жив и все это видишь?

К рассвету мы добрались до Вашингтона. Это был день вступления Гарри Трумэна в должность на второй президентский срок. По сторонам Пенсильвания-авеню, по которой мы катили на своем потрепанном суденышке, была устроена демонстрация несокрушимой военной мощи. Там выстроились «Б-29», торпедные катера, артиллерия — всевозможная боевая техника, довольно кровожадно смотревшаяся на заснеженной траве. В самом конце стояла обыкновенная маленькая спасательная шлюпка, казавшаяся

там неуместной и жалкой. Дин затормозил и принялся ее разглядывать. В благоговейном страхе он качал головой:

— Что эти люди затеяли? Где-то в этом городе спит Гарри... Парень из Миссури, как и я... А это, наверное, его собственная шляпка.

Дин отправился на заднее сиденье отсыпаться, и за руль сел Данкел. Мы дали ему строгое указание не спешить. Однако не успели мы захрапеть, как он уже выжимал восемьдесят, и это при никудышных подшипниках и всем прочем, вдобавок он трижды проехал мимо места, где какой-то автомобилист переругивался с копом, — Эд катил в четвертом ряду четырехрядного шоссе, да еще и по встречной полосе. Не удивительно, что коп с жалобным воем своей сирены пустился за нами в погоню. Остановив нас, он велел следовать за ним в участок. Там оказался гнусный коп, который с первого взгляда невзлюбил Дина. От копа за версту несло тюрьмой. Целую когорту своих помощников он отправил на улицу допрашивать отдельно меня и Мерилу. Они хотели установить возраст Мерилу и в случае чего подвести ее под закон Манна. Однако при ней было брачное свидетельство. Тогда они отвели меня в сторонку и спросили, кто спит с Мерилу.

— Муж, — незатейливо ответил я.

Они проявляли странное любопытство. Что-то тут было не то. Пустив в ход любительское шерлок-холмство, они дважды задавали один и тот же вопрос и дожидались от нас промаха. Я сказал:

— Те двое парней возвращаются на работу — на железную дорогу в Калифорнию, это — жена того, что пониже, а я их друг, еду с ними на две недели, пока в колледже каникулы.

Коп улыбнулся и спросил:

— Да? А бумажник этот и впрямь твой?

В конце концов гнусный, что сидел в участке, оштрафовал Дина на двадцать пять долларов. Мы сказали, что у нас всего сорок — на всю дорогу до Побережья. Те ответили, что это их не волнует. Когда Дин запротестовал, гнусный коп стал угрожать, что увезет его назад, в Пенсильванию, и подведет под особое обвинение.

— Какое еще обвинение?

— Не важно какое. Насчет этого можешь не волноваться. Ишь, умник выискался!

Пришлось дать им четвертак. Но сперва Эд Данкел, этот уголовник, решил вместо штрафа отправиться в тюрьму. И когда Дин задумался, коп пришел в ярость.

— Попробуй позволь своему дружку сесть в тюрьму — мигом окажешься в Пенсильвании. Усвоил? — Нам уже не терпелось оттуда убраться. — Еще одно превышение скорости в Виргинии, и ты останешься без машины, — выпалил в качестве прощального залпа гнусный коп.

Дин побагровел. Мы молча отъехали от участка. То, что у нас отобрали дорожные деньги, было прямым понуждением к воровству. Они знали, что мы остались без гроша, что в дороге мы не встретим родственников и телеграфировать некому. Американская полиция ведет психологическую войну против тех американцев, которые не запугиваются ее впечатляющими бумагами и угрозами. Это ханжеская полиция. Не высовывая носа из своих затхлых участков, она хочет иметь информацию обо всем, она и сама может творить беззакония, недовольная тем, что их, по ее мнению, стало маловато. «Девять строк о преступлении, одна — от скуки», — сказал Луи Фердинан Селин.

Дин был так взбешен, что собрался раздобыть пистолет, вернуться в Виргинию и пристрелить того копа.

— Пенсильвания! — криво усмехнулся он. — Хотел бы я знать, что это за обвинение! Наверняка бродяжничество. Забрать у меня все деньги и обвинить в бродяжничестве! Им это проще простого. А будешь протестовать, они тебя еще и пристрелят.

Не оставалось ничего, кроме как снова возрадоваться жизни, снова обо всем позабыть. Забывать мы начали, проехав Ричмонд, и вскоре все вновь пришло в норму.

На всю дорогу у нас оставалось пятнадцать долларов. Мы решили, что придется брать попутчиков и вышибать у них по двадцать пять центов на бензин. Где-то посреди безлюдной, дикой Виргинии мы вдруг увидели идущего по дороге человека. Дин резко затормозил. Я оглянулся и сказал, что это просто бродяга и скорей всего у него нет ни цента.

— Возьмем его, пускай развлекает! — рассмеялся Дин.

Парень оказался оборванным очкастым безумцем, он шел, читая замызганную дешевую книжонку, которую отыскал в водопропускной трубе у дороги. Забравшись в машину, он продолжал читать; он был

невероятно грязен и вдобавок покрылся какой-то коростой. Он сказал, что зовут его Хайман Соломон и что он идет пешком через все США, стучится, а иной раз и колотит ногами в двери еврейских домов и требует денег: «Дайте мне денег на еду, я еврей».

Он утверждал, что это неплохо срабатывает и ему частенько помогают. Мы спросили, что он читает. Он не знал. Он и не потрудился взглянуть на название.

Всматривался он только в слова, да так, словно нашел подлинную Тору там, где ей и место, — в пустыне.

— Видишь? Видишь? Видишь? — тыча меня в бок, кудахтал Дин. — Я же говорил, поразвлекаемся. Каждый человек — это кайф, старина!

Мы довели Соломона до самого Тестамент. Брат мой уже жил в новом доме, на другом конце города.

Вновь мы ехали по той же длинной, открытой всем ветрам улице с железнодорожной колеей посередине, с грустными замкнутыми южанами, слоняющимися у скобяных лавок и дешевых магазинчиков. Соломон сказал:

— Я вижу, вам, ребята, нужно немного денег, чтобы продолжить путешествие. Подождите, я сейчас вырулю несколько долларов в каком-нибудь еврейском доме и поеду с вами до самой Алабамы.

Дин был вне себя от радости. Мы с ним помчались покупать на завтрак хлеб и сыр. Мерилу с Эдом остались в машине. Битых два часа дожидались мы в Тестаменте Хаймана Соломона; где-то в городе он тусовался, добывая свой хлеб, но мы его так больше и не увидели. Солнце уже окрашивалось в багровый цвет и клонилось к закату.

Так и не дождавшись Соломона, мы выехали из Тестамент.

— Теперь ты видишь, Сал, Бог и в самом деле есть, ведь мы то и дело застреваем в этом городе, куда бы ни ехали. И обрати внимание на его странное библейское название<sup>[11]</sup>, да еще и этот странный библейский тип, из-за которого мы снова здесь остановились, а все на свете взаимосвязано, вот так и дождь связывает друг с другом всех на всей земле, по очереди касаясь каждого...

Дин говорил без умолку. Его переполняла радость, переполняла кипучая энергия. Страна вдруг представилась нам с ним устрицей, готовой раскрыть перед нами створки своей раковины, а внутри была жемчужина, жемчужина была там. Мы мчались на юг. По дороге мы

взяли еще одного попутчика. Он оказался грустным пареньком, заявившим, что у него есть тетушка, которая держит бакалейную лавку в Данне, Северная Каролина, сразу за Файетвиллем.

— А там ты сможешь вышибить из нее доллар? Вот это разговор! Прекрасно! Поехали!

В Данне мы оказались через час, в сумерки. Мы направились туда, где, как сказал паренек, была бакалейная лавка его тетушки. На мрачноватой улочке, упиравшейся в фабричную стену, действительно стояла бакалейная лавка, однако тетушки там никакой не было. Нам стало интересно, зачем малыш заговаривает нам зубы. Мы спросили, далеко ли он едет; он не знал. Оказывается, он нас просто разыграл. Давным-давно, обстряпывая какую-то забытую сомнительную авантюру, он увидел в Данне бакалейную лавку, и эта сказка оказалась первой из тех, на какие был способен его возбужденный, помрачившийся рассудок. Мы купили ему пирожок с сосиской, но Дин заявил, что взять с собой мы его не сможем, иначе нам негде будет спать и некуда сажать попутчиков, которые могли бы купить немного горячего. Грустно, но это была правда. Мы покинули его в Данне перед наступлением ночи.

Я вел машину по Южной Каролине до самого Мэйкона, Джорджия, а Дин, Мерилу и Эд спали. Совершенно один в ночи, я отдался собственным мыслям, стараясь лишь держаться белой полосы на освещенной дороге. Что я делаю? Куда еду? Скоро все узнаю. Проехав Мэйкон, я устал как пес и разбудил Дина, чтобы тот меня сменил. Мы вышли подышать и вдруг оба замерли от радости, осознав, что в окружающей нас тьме растет ароматная зеленая трава и пахнет свежим навозом и теплой рекой.

— Мы на Юге! Зима позади!

Слабый проблеск дня осветил побеги у обочины. Я сделал глубокий вдох. Сквозь тьму проревел паровоз, направляющийся в Мобил. Туда ехали и мы. Я снял рубашку, я ликовал. С десятков миль вниз по дороге, до заправочной станции, Дин ехал с выключенным двигателем. Заметив, что служитель крепко спит за столом, он выпрыгнул из машины, неслышно наполнил бак, проследил, чтобы не зазвенел звонок, и укатил, словно араб, обеспечив успех нашего паломничества полным баком бензина.

Я уснул и пробудился от бешеных, ликующих звуков музыки. Дин болтал с Мерилу, а мимо проплывала бескрайняя зеленая страна.

— Где мы?

— Только что проехали верхушку Флориды, старина, называется Фломатон.

Флорида! Мы катили вниз, к прибрежным равнинам и к Мобилу. Вверху перед нами парили громадные облака Мексиканского залива. Прошло лишь тридцать два часа с тех пор, как мы распрощались со всеми в грязных снегах Севера. Мы остановились у бензоколонки, и там, пока Мерилу каталась вокруг бензобаков на плечах у Дина, Данкел вошел внутрь и без всяких особых усилий стащил три пачки сигарет. Мы превратились в отчаянных наглецов. Въезжая по длинному, забитому транспортом шоссе в Мобил, мы сняли зимнюю одежду и наслаждались южным теплом. Именно тогда Дин повел рассказ о своей жизни, и тогда он, проехав Мобил, на пересечении дорог наткнулся на затор, образованный машинами, водители которых шумно пререкались друг с другом, и, вместо того чтобы проскользнуть мимо, объехав их, промчался напрямик по малой дорожке у заправочной станции, не сбавляя своих неизменных континентальных семидесяти миль в час. Люди позади нас разинули рты. Повествования своего Дин не прерывал.

— Хотите — верьте, хотите — нет, но в девять лет я уже связался с девчонкой по имени Милли Мэйфер, мы встречались за гаражом Рода на Грант-стрит — на той самой улице в Денвере, где жил Карло. Отец тогда еще работал в жестяной мастерской. Помню, как моя тетушка вопила из окна: «Чем это ты там за гаражом занимаешься?» Ах, милая Мерилу, знал бы я тебя в ту пору! Воображаю, какой сладенькой ты была в девять лет!

Он маниакально захихикал, сунул ей палец в рот и облизнул его, а потом провел ее рукой по своему телу. Она сидела, безмятежно улыбаясь.

Детина Эд Данкел смотрел в окошко и разговаривал сам с собой:

— Да, сэр, той ночью я решил, что я призрак.

И еще одна вещь его занимала: что скажет в Новом Орлеане Галатей Данкел. Дин продолжал:

— Как-то раз я проехал на товарняке от Нью-Мексико до самого Лос-Анджелеса — мне было лет одиннадцать, и где-то по дороге я

потерял отца. Все мы тогда скитались вместе с бродягами. Со мной был малый по прозвищу Краснокожий Детина, отец валялся пьяный в товарном вагоне — он поехал, а мы с Детиной отстали, после этого я не видел отца несколько месяцев. До самой Калифорнии я ехал на длиннющем товарняке, он просто летел — первоклассный товарняк, «Молния пустыни». И всю дорогу я просидел на сцепке — можете себе представить, как это опасно, но тогда я был ребенком и не испугался. Под мышкой я сжимал батон хлеба, а другой рукой уцепился за тормозной рычаг. Это не сказка, это чистая правда. Когда я добрался до Лос-Анджелеса, то так помирал с голодухи, так хотел молока и сливок, что пошел работать на маслодельню, и первое, что сделал, — это выпил две кварты густых сливок и все выблевал.

— Бедный Дин, — сказала Мерилу и поцеловала его.

Он гордо смотрел вперед. Он любил ее.

Неожиданно впереди показались голубые воды залива, и в то же мгновение по радио началась абсолютно безумная передача. Это было диск-жокейское шоу «Цыплячий джаз и гамбо»<sup>[12]</sup> из Нового Орлеана, сплошь состоявшее из бешеных негритянских джазовых записей, причем ведущий постоянно твердил: «Ни о чем не беспокойтесь!» В ночи мы с радостью увидели перед собой Новый Орлеан. Дин провел руками по рулевому колесу:

— Ну теперь-то мы позабудемся!

В сумерках мы въехали на гудящие улицы Нового Орлеана.

— Вы только внюхайтесь в этих людей! — орал Дин, высунувшись в окошко и потягивая носом. — Ах! Господи! Жизнь! — Он объехал трамвай. — Да! — Он поддал газу и завертел головой, разглядывая девушек. — Посмотрите на нее!

Воздух в Новом Орлеане был таким свежим, что казалось, его доставляют туда в надушенных шелковых платочках; а еще был запах реки и в самом деле запах людей, и ила, и черной патоки, и всевозможных тропических испарений — после сухих льдов северной зимы мы чуяли все это особенно остро. Мы ерзали от нетерпения.

— А на эту полюбуйтесь! — вопил Дин, показывая на другую женщину. — Да, я люблю женщин, люблю, люблю! По-моему, женщины прекрасны! Я люблю женщин!

Он сплюнул в окошко, застонал и схватился за голову. От возбуждения и усталости со лба у него падали крупные капли пота.



Мы вкатили машину на алжирский<sup>[13]</sup> паром и вскоре обнаружили, что переплываем Миссисипи.

— А теперь все должны выйти полюбоваться рекой и людьми и насладиться запахом окружающего мира, — сказал Дин, пытаясь совладать с темными очками и сигаретами и одновременно выскакывая из машины, как черт из табакерки.

Мы последовали за ним. Облокотившись о поручень, мы глядели на великую бурюю мать всех рек, несущую из срединной Америки свои воды, словно стремительный поток истерзанных душ, а с водами — бревна Монтаны, речную тину Дакоты, горные долины Айовы и все то, что затонуло в Три-Форкс<sup>[14]</sup>, где во льдах берет свое начало тайна. На одном берегу остался дымный Новый Орлеан, а на другом готовился к столкновению с нами старый сонный Алжир с его перекошенными деревянными причалами. В послеполуденную жару трудились негры, поддерживая в топке парома красное пламя, от которого завоняли покрышки нашей машины. Дин любовался неграми, приплясывая от жары. Он носился по палубе и взбегал по лестнице в своих полуспущенных, сползших с живота мешковатых брюках. Неожиданно я увидел, как он, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения, стоит на ходовом мостике. Казалось, он вот-вот взлетит. По всему судну раздавался его безумный смех: «Хи-хи-хи-хи-хии!» Мерилу была с ним. Одним духом обежал он весь паром и вернулся с рассказом обо всем, что увидел, а потом, как раз когда все загудели, требуя проезда, впрыгнул в машину, мы соскользнули с парома, обогнав в тесноте две-три легковушки, и через минуту уже мчались по Алжиру.

— Куда? Куда? — орал Дин.

Перво-наперво мы решили умыться на заправочной станции, а заодно справиться о местонахождении Буйвола. В лучах нагонявшего дремоту заходящего солнца играли маленькие дети, прогуливались голоногие девушки в платочках и хлопчатобумажных блузках. Дин побежал и осмотрел всю улицу, он ничего не желал упускать. Оглядываясь по сторонам, он кивал и почесывал живот. Откинувшись на сиденье и надвинув на глаза шляпу, Детина Эд улыбался Дину. Я уселся на крыло автомобиля. Мерилу удалась в уборную. От поросших кустарником берегов, где едва различимые люди с удочками ловят рыбу, от погруженной в сон дельты, которая простирается в

глубь багровеющей земли, исполинская вздыбленная река резко поворачивает свое главное русло к Алжиру и с несказанным громоханием обвивается вокруг него змеей. Казалось, сонный полуостровной Алжир со всеми его лачугами и их трудолюбивыми обитателями в один прекрасный день смоем водой. Косо садилось солнце, стрекотали насекомые, стонали ужасные воды.

Мы направились к дому Старого Буйвола Ли, который находился в пригороде, неподалеку от дамбы. Дом этот стоял у дороги, бежавшей через заболоченное поле. Это была ветхая развалюха, обнесенная покосившейся верандой, с плакучими ивами во дворе. Трава поднялась почти на метр, старая ограда клонилась к земле, деревянные сараи завалились. Во дворе не было ни души. Мы въехали во двор и увидели на задней веранде корыта. Я вышел из машины и направился к двери. В проеме стояла Джейн Ли. Прикрыв ладонью глаза, она смотрела в сторону солнца.

— Джейн, — сказал я. — Это я. Это мы.

Она это знала.

— Да, я знаю. Буйвола сейчас нет. Что это там, пожар? — Мы оба посмотрели в сторону солнца.

— Ты имеешь в виду солнце?

— При чем тут солнце? Я слышала, как там воют сирены. Разве ты не замечаешь необычное зарево? — Это было в той стороне, где остался Новый Орлеан. Облака и впрямь были странными.

— Я ничего не вижу, — сказал я.

Джейн шмыгнула носом.

— Все тот же старый Парадайз.

Вот такими приветствиями обменялись мы после четырехлетней разлуки. Когда-то Джейн жила в Нью-Йорке вместе со мной и моей женой.

— А Галатея Данкел здесь? — спросил я.

Джейн все вглядывалась в даль, отыскивая свой пожар. В те времена она за день плотала по три тубика бензедрина. Ее некогда по-немецки пухлое привлекательное личико стало непроницаемым, красным и изможденным. В Новом Орлеане она заразилась полиомиелитом и слегка прихрамывала.

Наша компания во главе с Дином робко покинула автомобиль и попыталась хоть как-то расположиться. Прервав свое гордое

уединение, вышла из дома навстречу своему мучителю Галатея Данкел. Галатея была серьезной девушкой. Она была бледна и всем своим видом выражала безутешную горе. Дитина Эд запустил пятерню в свои лохмы и поздоровался. Она не сводила с него взгляда.

— Где ты был? Почему ты так поступил со мной? — И она уничтожающе посмотрела на Дина; виновник ей был известен. Дин же не обращал на нее абсолютно никакого внимания. Сейчас его заботило только одно: он хотел есть. Он спросил Джейн, нет ли у нее чего съестного. Тут-то и началась неразбериха.

Вернувшись на своем «тексас-шеви», бедняга Буйвол обнаружил, что его дом захватили маньяки. Мне он, однако, обрадовался с такой неподдельной искренностью, какой я давно в нем не замечал. Этот нью-орлеанский дом он купил на те небольшие деньги, что заработал, выращивая в Техасе коровий горох. Занимался он этим вместе со своим бывшим однокашником, отец которого, сумасшедший паралитик, умер, оставив сыну целое состояние. Сам Буйвол получал от своей семьи пятьдесят долларов в неделю — не так уж и плохо, если не считать того, что почти столько же уходило в неделю на удовлетворение его пристрастия к наркотикам. Да и жена обходилась ему недешево, за неделю она поглощала бензедрина долларов на десять. Их продуктовые счета были самыми низкими в стране. Едва ли они что-то ели вообще; да и дети тоже — похоже, им это было безразлично. У них было двое чудесных детишек: восьмилетняя Доди и маленький годовалый Рэй. Рэй бегал по двору совершенно голый — крошечное светловолосое дитя радуги. Буйвол звал его Зверенышем — в честь У. К. Филдза. Въехав во двор, Буйвол кость за костью извлек себя из машины и устало подошел к нам. Он был в очках, фетровой шляпе, поношенном костюме, худой, сдержанный и немногословный. Он сказал:

— Ну, Сал, наконец-то ты приехал. Пойдем в дом, выпьем немного.

О Старом Буйволе Ли можно рассказывать ночь напролет. Сейчас скажу только, что он был настоящим учителем, и можно утверждать, что он имел все права учить, потому что постоянно учился сам. А вещи, которым научился, он считал и называл «фактами жизни», и изучил он их не только в силу необходимости, но и потому, что этого хотел. Он проволоч свое длинное тощее тело по всем Соединенным

Штатам, а в свое время — и по большей части Европы и Северной Африки, и все только для того, чтобы посмотреть, что там творится. В тридцатых годах он женился в Югославии на русской белоэмигрантской графине, чтобы спасти ее от нацистов. Есть фотографии, где он снят среди интернациональной кокаиновой команды тридцатых: разбойничьи рожи с растрепанными волосами, все опираются друг на друга. На других снимках он, нацепив панаму, обозревает улицы Алжира. Русскую графиню он с тех пор ни разу не видел. Он истреблял грызунов и насекомых в Чикаго, был буфетчиком в Нью-Йорке, вручателем судебных повесток в Ньюарке. В Париже он сидел за столиками кафе, глядя на мелькающие мимо угрюмые лица французов. В Афинах он пил свой узо и разглядывал тех, кого называл самыми безобразными людьми на свете. В Стамбуле он отыскивал свои факты, пробираясь сквозь толпы опиоманов и торговцев коврами. В английских отелях он читал Шпенглера и маркиза де Сада. В Чикаго он вознамерился ограбить турецкие бани и, наскоро выпив для храбрости, стащил два доллара и пустился наутек. Все это он делал только из желания набраться опыта. Наконец теперь он приступил к изучению наркомании. Поселившись в Новом Орлеане, он завел знакомство с темными личностями и сделался постоянным посетителем баров, где велась подпольная торговля.

Кое-что о нем говорит и та странная история, которую рассказывают о его студенческих временах: как-то он устроил в своей прекрасно обставленной квартире коктейль для друзей. В разгар веселья его комнатный хорек неожиданно вырвался на волю и укусил в лодыжку щегольски разодетого гомика. Хорька криками прогнали за дверь. Старый Буйвол вскочил, схватил свой дробовик и со словами: «Он за версту чует крыс и стукачей» — прострелил в стене дыру, куда свободно могли бы пролезть и полсотни крыс. На стене висела картина: безобразный ветхий двухэтажный дом. Друзья спрашивали:

— Зачем ты повесил эту безобразную вещь?

На что Буйвол отвечал:

— Я люблю ее, потому что она безобразна.

На этом принципе строилась вся его жизнь. Однажды я постучался в его каморку в трущобах нью-йоркской 60-й улицы, и дверь он открыл в котелке, жилете на голое тело и длинных полосатых брюках карточного шулера. В руках у него была кастрюля, в кастрюле

— птичий корм, и он пытался растолочь эти семена, чтобы их можно было заворачивать в сигареты. Пробовал он и кипятить микстуру от кашля с кодеином, пока не останется одна черная каша, — получалось не совсем то, что надо. Долгие часы он проводил с Шекспиром — «Бессмертным Бардом», как он его называл, — на коленях. В Новом Орлеане Шекспира на его коленях сменили «Кодексы майя», и, даже если он с кем-нибудь разговаривал, книга неизменно была раскрыта. Как-то я спросил:

— Что с нами будет, когда мы умрем?

И он ответил:

— Когда ты умираешь, ты просто мертв, вот и все.

В комнате он держал набор цепей, которые, как он объяснил, использовал со своим психоаналитиком. Они экспериментировали с наркоанализом и обнаружили, что в Старом Буйволе уживаются семь независимых друг от друга индивидуальностей, одна хуже другой, а самая последняя — это буйный идиот, которого следует сдерживать с помощью цепей. Вершинной индивидуальностью был английский лорд, а на самом дне — идиот. Где-то посередине он был старым негром, который вместе со всеми остальными дожидался своей очереди и говорил:

— Вон те — ублюдки, те — вроде как нет, вот и весь сказ.

У Буйвола был сентиментальный пунктик насчет старых времен, особенно насчет Америки десятых годов, когда морфий можно было купить в аптеке без рецепта, когда вечерами китайцы, сидя у окна, курили опиум и страна была невозделанной, мятежной и вольной, а ее богатств и свободы хватало на всех. Больше всего на свете он ненавидел вашингтонскую бюрократию, на втором месте были либералы, потом — копы. Все свое время он проводил в разговорах, обучая других. Его словам благоговейно внимала Джейн; слушали его и я, и Дин, а прежде — и Карло Маркс. Все мы у него учились. Он был серым, неприметным малым, на которого вы не обратили бы внимания на улице, если бы, всмотревшись, не увидали его свирепый, удивительно подвижный череп — настоящий канзасский священник, в исступлении вершащий свои необыкновенные экзотические таинства. Он изучал медицину в Вене, изучал антропологию и прочел все на свете. А теперь он принимался за главное свое дело — изучение ночи и того, что творится на улицах жизни. Он сидел в своем кресле.

Джейн принесла напитки — мартини. Шторы подле его кресла всегда были задернуты, днем и ночью: это был его уголок. На коленях у него были «Кодексы майя» и духовое ружье, которое он время от времени скидывал, чтобы выстрелить через всю комнату бензедриновым тубиком. Я то и дело бегал поднимать с пола новые патроны. Мы все стреляли, не прерывая разговора. Буйволу было любопытно узнать цель нашего путешествия. Он вглядывался в нас и шмыгал носом — «ффамп», словно звучал пустой бак.

— Ну, Дин, я хочу, чтобы ты минутку посидел спокойно и объяснил мне, зачем это тебе понадобилось ехать через всю страну.

Дин только и мог, что покраснеть и сказать:

— Ладно, ты же знаешь, как это бывает.

— Сал, зачем ты едешь на Побережье?

— Да я всего на несколько дней. Мне надо вернуться к началу учебы.

— В чем там дело с этим Эдом Данкелом? Что он за тип?

В тот момент Эд в спальне задабривал Галатею. Примирение далось ему легко и не отняло много времени. Мы не знали, что сказать Буйволу об Эде Данкеле. Поняв, что мы сами о себе ничего не знаем, он извлек откуда-то три сигареты с травкой и велел нам не церемониться — скоро будет готов ужин.

— Ничто на свете так не возбуждает аппетита. Как-то под травкой я съел в буфете отвратительный гамбургер, и мне показалось, что я никогда не едал ничего вкуснее. На прошлой неделе я вернулся из Хьюстона, ездил туда к Дейлу насчет нашего коровьего гороха. Как-то утром, когда я спал в мотеле, меня вдруг будто сдуло с кровати. Один полоумный пристрелил в соседнем номере свою жену. Поднялась суматоха, этот малый сел себе в машину и уехал, а дробовик свой оставил на полу в подарок шерифу. В конце концов его поймали в Хоуме, он был пьян как сапожник. В наше время человек больше не может быть в безопасности, если разъезжает по стране без оружия. — Он оттянул полу пиджака и показал нам свой револьвер. Потом выдвинул ящик комода и продемонстрировал весь остальной арсенал. В Нью-Йорке он одно время держал под кроватью ручной пулемет. — У меня есть и кое-что получше: немецкий газовый пистолет «шейнтот». Взгляните на эту прелесть — жаль, у меня всего один патрон. Этим оружием я могу вывести из строя сотню людей, и у

меня еще будет уйма времени, чтобы смыться. Плохо только, что патрон всего один.

— Надеюсь, когда ты соберешься его испытать, меня не будет поблизости, — крикнула из кухни Джейн. — И потом, тебе-то откуда известно, что это газовый патрон?

Буйвол шмыгнул носом. Он вообще не обращал ни малейшего внимания на ее подковырки, хотя и слышал их. Его отношения с женой были в высшей степени странными: до поздней ночи они вели беседы. Буйвол с удовольствием завладевал разговором, он говорил своим мрачным монотонным голосом, она пыталась вставить хоть слово, но это ей никогда не удавалось. К рассвету он уставал, и тогда Джейн говорила, а он слушал, шмыгая носом, издавая свое «ффамп». Она безумно любила этого парня, однако любовь эта носила какой-то иступленный характер. Не было ни заигрываний, ни жеманства — только разговоры и очень тесное дружеское общение, глубину которого вряд ли кто из нас когда-нибудь сможет постичь. Чрезвычайно неприятный холодок в их отношениях был на самом деле неким видом юмора, с помощью которого они посылали друг другу неуловимые, лишь им двоим ведомые колебания. Любовь всеильна; Джейн никогда не отходила от Буйвола дальше чем на десять футов и ни разу не пропустила ни единого его слова, а говорил он очень тихо.

Мы с Дином наперебой кричали, что желаем устроить в Новом Орлеане грандиозное ночное веселье, и просили Буйвола показать нам город. Он слегка охладил наш пыл:

— Новый Орлеан смертельно скучный город. Закон запрещает заходить в район, где живут цветные. А от этих баров просто тоска берет.

— В любом городе есть несколько идеальных баров, — возразил я.

— В Америке не существует идеальных баров. Идеальный бар — это нечто такое, что выходит за пределы наших познаний. В тысяча девятьсот десятом бар был местом, где люди встречались во время или после работы, и все, что там было, — это длинная стойка, медные поручни, плевательницы, пианола вместо оркестра, несколько зеркал и бочки с виски по десять центов стаканчик, да еще бочки с пивом по пять центов кружка. Теперь же там только хром, пьяные бабы,

педерасты, злобные буфетчики да встревоженные хозяева, которые вертятся в дверях, потому что боятся за свои кожаные сиденья да еще побаиваются полиции. Один только шум не по делу да мертвая тишина, когда входит чужак.

Насчет баров я был не согласен.

— Ладно, — сказал он, — вечером отвезу вас в Новый Орлеан и покажу, что я имею в виду.

И он специально повез нас в самые скучные бары. Джейн мы оставили с детьми, ужин был окончен; она читала объявления о найме в новоорлеанской «Таймс-Пикайюн». Я спросил, не ищет ли она работу; она ответила, что это просто самый интересный раздел газеты. В машине Буйвол тоже не умолкал.

— Не спеши, Дин, надеюсь, мы и так доберемся. Эй, есть же паром, вовсе не обязательно въезжать прямо в реку!

Он едва сдерживался. Мне он по секрету сообщил, что Дин явно испортился.

— Мне кажется, он стремится к идеальной для него гибели, то есть к неизбежному психозу, разбавленному психопатической безответственностью и насилием. — Он покосился на Дина. — Если ты отправишься в Калифорнию с этим сумасшедшим, то никогда не доедешь. Почему бы тебе не остаться со мной в Новом Орлеане? Будем играть в Гретне на скачках и отдыхать у меня во дворе. У меня есть превосходный набор ножей, я сооружаю мишень. В городе есть хорошенькие куколочки, в самом соку, если, конечно, это тебя сейчас интересует. — Он шмыгнул носом.

Мы были на пароме. Дин выскочил из машины и перегнулся через поручень. Я тоже вылез, а Буйвол остался в машине, он сидел и шмыгал носом: «ффамп». Над бурными водами вилась той ночью мистическая прозрачная дымка, окутывавшая черный сплавной лес. А на том берегу ярко-оранжево светился Новый Орлеан и стояли у самой кромки воды несколько темных кораблей — задержанных туманом призрачных кораблей Серино с испанскими балкончиками и украшенной орнаментом кормой. Однако вблизи они оказались обыкновенными старыми грузовыми судами из Швеции и Панамы. Полыхал в ночи огонь парома. Те же самые негры усердно работали лопатами и пели. На алжирском пароме служил когда-то палубным матросом Тоший Хазард. Вспомнив о нем, я вспомнил и о Миссисипи



Джине. И глядя, как река при свете звезд катит свои волны из самого центра Америки, я знал, и знание это было сродни безумию: все, что я когда-то постиг, все, что еще предстоит постичь, — едино. И еще: как ни странно, в ту самую ночь, когда мы вместе с Буйволом Ли переплывали реку на пароме, какая-то девушка бросилась за борт и покончила счеты с жизнью. Произошло это до нас или сразу после; мы прочли об этом в газете на следующий день.

Мы прошлись со Старым Буйволом по всем унылым барам Французского квартала и в полночь вернулись домой. Чем только Мерилу не накачалась той ночью! Она обкурилась травкой, приняла чумовой нембутал, бенни, спиртное и даже попросила Старого Буйвола уколоть ее морфием, которого он, разумеется, ей не дал; он дал ей мартини. Она была так напичкана всевозможной химией, что пребывала в столбняке и, вконец отупев, стояла рядом со мной на веранде. У Буйвола была прекрасная веранда. Она шла вокруг всего дома. В лунном свете, окруженный ивами, дом был похож на старый южный особняк, некогда знававший лучшие времена. Джейн сидела в гостиной и читала объявления о найме; Буйвол принимал в ванной свою дозу наркотиков, вместо жгута сжимая в зубах старый черный галстук и вонзая иглу в свою чудовищную руку с тысячью дыр; Эд Данкел с Галатеей развалились на массивной хозяйской кровати, которой Старый Буйвол и Джейн никогда не пользовались; Дин сворачивал сигарету с травкой; а мы с Мерилу строили из себя южных аристократов.

— Ах, мисс Лу, сегодня вы просто очаровательны!

— Ах, благодарю вас, Крофорд, я очень высоко ценю ваши изысканные манеры и те прекрасные слова, которые вы произносите.

Двери покосившейся веранды то и дело открывались, и действующие лица нашей печальной драмы, разыгрывавшейся в американской ночи, выскакивали выяснить, где все остальные. В конце концов я в одиночестве прогулялся к дамбе. Мне захотелось посидеть на илистом берегу и полюбоваться Миссисипи. Однако вместо этого мне пришлось плазеть на нее из-за проволочной ограды. «Чего вы добиваетесь, когда начинаете отлучать людей от их рек?» — «Бюрократии!» — говорит Старый Буйвол Ли; он сидит с Кафкой на коленях, над ним горит лампа, он шмыгает носом: «ффамп». Его

ветхий дом скрипит. А бревно Монтаны плывет мимо в ночи по большой черной реке.

— Одна сплошная бюрократия. И еще профсоюзы! Особенно профсоюзы!

Но вернется еще и мрачный смех.

Наутро я проснулся чуть свет, в бодром состоянии духа, и обнаружил Старого Буйвола и Дина на заднем дворе. Дин надел свой бензokolоночный комбинезон и помогал Буйволу. А Буйвол нашел громадный кусок гнилого бревна и отчаянно налегал на гвоздодер, пытаясь выдернуть вколоченные туда гвоздики. Мы уставились на гвоздики. Их там были миллионы, они были похожи на червяков.

— Вот выдерну отсюда все гвозди и сделаю полку, которая будет держаться *тысячу лет!* — сказал Буйвол, каждая косточка которого дрожала от мальчишеского возбуждения. — Послушай, Сал, тебе известно, что полки, которые теперь делают, уже через шесть месяцев трескаются под грузом всяких безделушек, а то и попросту разваливаются? То же самое и с домами, и с одеждой. Эти ублюдки изобрели специальную пластмассу, из нее можно строить дома, которые будут стоять *вечно*. И автомобильные покрышки. Миллионы американцев гибнут каждый год из-за поврежденных резиновых покрышек, которые перегреваются и лопаются на ходу. А ведь можно сделать покрышки, которые никогда не лопнут. И с зубным порошком та же история. Они изобрели и никому не показывают какую-то резинку — если ее жевать с детства, то ни в одном зубе у тебя до конца твоих дней не будет дупла. А одежда! Они умеют шить вечную одежду. Но предпочитают производить дешевые товары, чтобы всем приходилось ходить на работу, отмечаться в табеле, организовываться в зловещие профсоюзы и барахтаться изо всех сил, а Вашингтон и Москва могли бы тем временем заниматься своими гнусными грабежами. — Он приподнял свою массивную гнилую деревяшку. — Тебе не кажется, что из этого выйдет отличная полка?

Было раннее утро, и энергия Буйвола достигла пика. Бедняга загонял себе в кровь столько наркотиков, что большую часть дня мог продержаться лишь в своем кресле под зажженной с полудня лампой, но по утрам он был великолепен. Мы принялись бросать ножи в мишень. Буйвол заявил, что в Тунисе видел араба, который мог с сорока футов воткнуть нож человеку в глаз. А это заставило его вспомнить о своей тетушке, которая в тридцатых годах ездила в Касбу.

— Она была в туристской группе с гидом. На мизинце она носила бриллиантовое кольцо. Так вот, прислонилась она на минутку к стене передохнуть, тут же подбежал какой-то араб, и не успела дорогая тетушка пикнуть, как он присвоил ее колечко вместе с пальчиком. До нее и дошло-то не сразу, что она лишилась мизинца. Хи-хи-хи-хи-хи!

Когда Буйвол смеялся, он крепко сжимал губы, и смех исходил из самых глубин его живота; он сгибался пополам и опирался руками о колени. Смеялся он бесконечно долго.

— Эй, Джейн! — крикнул он сквозь смех. — Я рассказывал Дину и Салу о том, как тетушка ездила в Касбу!

— Я слышала, — сказала она от кухонной двери через чудесное теплое утро залива.

Над головой плыли громадные живописные облака, облака долины, которые заставляют ощущать необозримый простор древней, развалившейся на части священной Америки, от устья до устья, от края до края. Энергия так и переполняла Буйвола.

— Послушай, я когда-нибудь рассказывал об отце Дейла? Презабавнейший был старик, ты такого в жизни не видел. У него был парез, который напрочь съедает переднюю часть мозга, и что бы ни пришло тебе в голову, ты уже ни за что не отвечаешь. В Техасе у него был дом, и он заставлял плотников работать двадцать четыре часа в сутки — возводить все новые пристройки. Среди ночи он вскакивал и орал: «На кой черт мне здесь эта пристройка? Перенесите-ка ее вон туда!» Плотникам приходилось все разбирать и начинать сызнова. И на рассвете они уже что было сил стучали молотками на новой пристройке. Потом старику это наскучило, и он заявил: «Черт возьми, я хочу уехать в Мэн!» И он влез в свою машину и погнал со скоростью сто миль в час — на протяжении сотен миль за ним вспенивались целые фонтаны куриных перьев. Посреди техасских городков он останавливал машину и шел покупать виски. Вокруг заливался гудками транспорт, а он вылетал из лавки и вопил: «Консяйте свой сертов сум, вы, сайка убьюдков!» — он шепелявил. Если у тебя парез, ты сепелявис, то есть шепелявишь. Как-то ночью он заявился ко мне домой в Цинциннати, посигналил и сказал: «Выходи, поедem в Техас навестить Дейла». Он как раз возвращался из Мэна. По его словам, он купил дом... Кстати, в колледже мы написали о нем рассказ, в котором происходит ужасное кораблекрушение, люди падают в воду и

хватаются за борта спасательной шлюпки, а в ней этот старик с мачете, он кромсает им пальцы. «Убирайтесь, вы, сайка убьюдков, эта сертова сьюпка моя!» Да, он был ужасен. Я мог бы весь день о нем рассказывать. Кстати, разве не славный денек?

Денек и впрямь был славный. Со стороны дамбы дул легкий теплый ветерок. Ради одного такого дня стоило сюда ехать. Мы пошли с Буйволом в дом измерять стену для полки. Он показал нам сколоченный им обеденный стол, который был сделан из дерева толщиной в шесть дюймов.

— Вот стол, который простоит тысячу лет! — с пеной у рта доказывал Буйвол, обратив в нашу сторону свое худое вытянутое лицо. Он саданул по столу кулаком.

По вечерам он сидел за этим столом, ковыряясь в еде и бросая кости кошкам. У него было семь кошек.

— Я люблю кошек. Особенно тех, что визжат, когда я их держу над ванной. — Он непременно хотел это продемонстрировать; в ванной кто-то был. — Ладно, — сказал он, — как-нибудь в другой раз. Послушай, я тут поцапался с соседями. — Он рассказал нам о своих соседях. Это была многочисленная банда с напыми детишками, которые через покосившийся забор бросались камнями в Доди и Рэя, а иногда и в Старого Буйвола. Он велел им это прекратить. Тогда выбежал старик и прокричал что-то по-португальски. Буйвол вошел в дом, вернулся со своим дробовиком, стыдливо оперся о него и стал ждать — с невероятно глупой улыбкой на лице, наполовину скрытом большими полями шляпы, по-змеиному извиваясь всем телом, — одинокий, нелепый, долговязый клоун под облаками. Португальцу он наверняка показался персонажем полузабытого дурного сна.

Мы рыскали по двору в поисках занятия. Там был гигантский забор, который Буйвол сооружал, чтобы оградить себя от несносных соседей; ясно было, что он так и не будет достроен — слишком непосильной была задача. Буйвол раскачивал забор из стороны в сторону, чтобы показать, как он прочен. Неожиданно он устал и затих, а потом вошел в дом и скрылся в ванной принимать свою вторую утреннюю дозу. Вышел он спокойный, с тусклым взглядом, и уселся под своей зажженной лампой. Из-за задернутых штор едва пробивался солнечный свет.

— Послушайте, почему бы вам, ребята, не испытать мой оргонный аккумулятор? Немного жизненной силы вашим старым костям не повредит. Я, например, вылетаю оттуда и со скоростью девяносто миль в час несусь в ближайший бардак, хор-хор-хор!

Таким был его «смех», когда на самом деле ему было совсем не смешно. Оргонный аккумулятор — это обыкновенный ящик, достаточно большой, чтобы вместить сидящего на стуле человека: слой дерева, слой металла и еще один слой дерева вбирают в себя органы из атмосферы и держат их в плену довольно долго, так что человеческое тело может абсорбировать дозу больше обычной. Если верить Райху, органы — это вибрирующие атмосферные атомы источника жизни. Когда люди лишаются органов, они заболевают раком. Старый Буйвол считал, что его оргонный аккумулятор можно усовершенствовать, если дерево, которое он использует, будет как можно более органическим, поэтому он привязал к своему мистическому садовому сортирчику листья и ветки болотного кустарника. Ящик стоял на раскаленном ровном дворе — слоеный агрегат, собранный и украшенный с маниакальной изобретательностью. Старый Буйвол стащил с себя одежду и вошел туда посидеть и унести в эмпиреи за разглядыванием собственного пупа.

— Послушай, Сал, давай-ка мы с тобой после завтрака съездим в Гретну, поиграем на скачках в букмекерском притоне.

Он был неподражаем. После завтрака он вздремнул в своем кресле, с духовым ружьем на коленях, а маленький Рэй обвил ручонками его шею и уснул. Зрелище было прелестное — отец и сын. Отец, который, несомненно, ни за что не стал бы терпеть сына, приди тому на ум чем-нибудь заняться или о чем-то поговорить. Он проснулся, вздрогнул и уставился на меня. Чтобы понять, кто я такой, ему потребовалась минута.

— Зачем ты едешь на Побережье, Сал? — спросил он и тут же снова уснул.

Днем мы вдвоем с Буйволом отправились в Гретну. Поехали мы на его старом «шеви». «Хадсон» Дина был низким и бесшумным; «шеви» Буйвола был высоким и грохочущим. Точно такие же машины были в 1910 году. Букмекерская контора находилась неподалеку от порта, в большом хромированно-кожаном баре, который переходил в

громадный зал с вывешенными на стене составами заездов и цифрами. По залу слонялись чудаковатые луизианцы с программками скачек в руках. Мы с Буйволом выпили пива, после чего Буйвол вразвалку направился к игровому автомату и опустил в щель полудолларовую монету. Раздались щелчки: «Банк»... «Банк»... «Банк»... Последний «Банк» на мгновение завис и соскользнул обратно к «Пусто». Он чуть было не выиграл больше сотни долларов.

— Вот чертовщина! — завопил Буйвол. — Они эти штуковины специально так настраивают. Ты же видел! Я сорвал банк, а машина отщелкала его обратно. Ну что ты будешь делать!

Мы изучали программки скачек. Я не делал ставок уже несколько лет и был озадачен таким количеством новых кличек. Был там один жеребец по кличке Большой Папаша, что заставило меня на время отключиться и вспомнить об отце, который когда-то играл вместе со мной на скачках. И только я собрался поведать об этом Старому Буйволу, как тот произнес:

— Что ж, попробую сегодня поставить на Черного Корсара.

Тогда я наконец сказал:

— Большой Папаша напомнил мне о моем отце.

На секунду он задумался, его ясные печальные глаза гипнотически вперились в мои, и я не мог понять, что у него на уме и где он витает. Потом он пошел и поставил на Черного Корсара. Выиграл Большой Папаша с выплатой пятьдесят к одному.

— Черт возьми! — сказал Буйвол. — Я же знал, у меня такое уже бывало. Ах, когда же мы наконец научимся?

— Что ты имеешь в виду?

— Большого Папашу, вот что. Это было знамение, парень, *знамение*. Только круглые идиоты не обращают внимания на знамения. Как знать, может, твой отец, который был старым игроком, просто связался с тобой на какое-то мгновение и сообщил, что заезд выиграет Большой Папаша. Кличка вызвала у тебя это предчувствие, он воспользовался этой кличкой, чтобы с тобой снестись. Вот о чем я подумал, когда ты об этом сказал. Мой двоюродный брат однажды поставил в Миссури на лошадь, чья кличка напомнила ему о матери, лошадь победила, и он получил крупный выигрыш. Сегодня произошло то же самое. — Он покачал головой. — Ладно, идем. При

тебе я больше на скачках не играю. Все эти знамения доведут меня до умопомешательства.

В машине, когда мы ехали назад, в его старый дом, Буйвол сказал: — Человечество когда-нибудь осознает, что мы фактически соприкасаемся с мертвыми и с миром иным, каким бы он там ни был. Уже сейчас мы могли бы предсказать, стоит только как следует напрячь умственные способности, что произойдет в ближайшие сто лет, а значит — предпринять необходимые шаги, чтобы избежать всевозможных катастроф. Когда человек умирает, в его мозгу происходит изменение, о котором мы пока ничего не знаем, но до сути его можно будет добраться, если ученые проявят расторопность. А ведь сейчас эти ублюдки думают только о том, как бы им взорвать весь мир.

Мы рассказали об этом Джейн. Она шмыгнула носом.

— По-моему, все это глупо.

Она махала веником в кухне. Буйвол удалился в ванную принимать послеполуденную дозу.

Дин с Данкелом играли на дороге в баскетбол мячом Доди, который бросали в приколоченное к фонарному столбу ведро. Я присоединился к ним. Потом мы принялись мериться спортивной удалью. Дин меня совершенно изумил. Он заставил нас с Эдом держать на уровне пояса железный брусок и с места перемахнул через него, схватив себя руками за пятки.

— А ну-ка, поднимите выше.

Мы поднимали брусок, пока он не дошел нам до подбородка. И все-таки Дин легко его одолел. Потом он решил испытать себя в прыжках в длину и махнул не меньше чем на двадцать футов. После чего мы с ним пробежались по дороге наперегонки. Сотку я могу пробежать за десять и пять. А он умчался вперед, словно вихрь. Когда мы бежали, мне почудилось, что я вижу воочию, как Дин точно так же мчится через всю жизнь — в жизнь врывается его скуластое лицо, энергично работают руки, на лбу выступает пот, ноги мелькают, как у Гручо Маркса, и он кричит: «Да! Да, старина, ты умеешь бегать!» Но никто не умел бегать так быстро, как он, и это чистая правда. Потом Буйвол вынес пару ножей и стал показывать нам, как разоружить в темном переулке предполагаемого убийцу. Я не остался в долгу и продемонстрировал ему очень хороший прием: надо упасть перед



противником на землю, обхватить его лодыжками, сбить с ног так, чтобы он повалился на руки, и сграбастать его запястья захватом «полный нельсон». Буйвол признался, что он в восторге. Он показал несколько приемов джиу-джитсу. Малышка Доди позвала на веранду мать и сказала:

— Полюбуйся-ка на этих идиотов. — Она была такой сообразительной и веселой малюткой, что Дин глаз от нее отвести не мог.

— Ого! Вот подождите, она еще подрастет! Только представьте, как она прохаживается по Кэнал-стрит, постреливая глазками. Ах! Ох! — Он присвистнул сквозь зубы.

Мы провели суматошный день в центре Нового Орлеана, гуляя там с Данкелами. В тот день Дин окончательно спятил. Увидев на станции товарные поезда, он решил продемонстрировать мне все сразу.

— Ты будешь тормозным кондуктором, или я с тобой больше не вожусь!

Мы с ним и Эдом Данкелом побежали вдоль колеи и, каждый в своей точке, вскочили на поезд. Мерилу с Галатеей остались в машине. На поезде мы проехали полмили до пирсов, приветственно помахивая руками стрелочникам и сигнальщикам. Мне показали, как надо выпрыгивать из вагона на ходу: опускаешь одну ногу, ждешь, пока поезд не начнет от тебя уезжать, разворачиваешься и ставишь на землю другую. Они показали мне вагоны-рефрижераторы с отделениями для льда, пригодными для езды в самую холодную зимнюю ночь, если состав идет порожняком.

— Помнишь, я рассказывал о том, как ехал из Нью-Мексико в Лос-Анджелес? — крикнул Дин. — Вот за эту штуковину я держался...

К девушкам мы вернулись, опоздав на час, и те, конечно, вышли из себя. Эд с Галатеей решили остаться в Новом Орлеане — снять комнату и найти работу. Буйвол был этому только рад, ему уже до чертиков надоела наша шайка. Да и с самого начала приглашение наведаться к нему еще раз получил я один. В передней комнате, где спали Дин и Мерилу, все было перевернуто вверх дном, на полу остались кофейные пятна, повсюду валялись бензедриновые тубики. К тому же это была мастерская Буйвола, и он никак не мог заняться

своими полками. Бедную Джейн довели до умопомрачения непрерывные прыжки и ужимки Дина. Мы ждали, когда придет мой следующий ветеранский чек; его пересылала моя тетушка. Потом мы собирались ехать, трое из нас — Дин, Мерилу и я. Получив чек, я вдруг понял, что мне очень жаль вот так сразу покидать удивительный дом Буйвола, однако Дин был полон кипучей энергии, он рвался в путь.

В грустных багровых сумерках мы наконец уселись в машину, а Джейн, Доди, малыш Рэй, Буйвол, Эд и Галатея стояли в высокой траве и улыбались. Это было прощание. В последний момент между Дином и Буйволом возникло недоразумение по поводу денег. Дин хотел взять займы. Буйвол сказал, что об этом не может быть и речи. Было такое чувство, что вернулись техасские времена. Мошенник Дин постепенно возбуждал в людях неприязнь к себе. Ему было на это наплевать, он маниакально захихикал, почесал промежность, сунул палец под платье Мерилу, с чавканьем укусил ее за колено и с пеной у рта произнес:

— Дорогая, мы-то с тобой знаем, что наконец-то между нами все честно за пределами самых далеких абстрактных определений в метафизических терминах, да и в любых терминах, которые ты хочешь обусловить, любезно навязать или принять к сведению... — и так далее; взревел мотор, мы вновь были на пути в Калифорнию.

Что за чувство охватывает вас, когда вы уезжаете, оставляя людей на равнине, и те удаляются, пока не превратятся в едва различимые пятнышки? Это чувство, что мировой свод над нами слишком огромен, что это — прощание. Но нас влечет очередная безумная авантюра под небесами.

Мы прокатили сквозь знойный предзакатный Алжир, снова паром, снова через реку, в сторону заляпанных грязью старых кораблей, снова по Кэнал-стрит и — за город, по двухрядному шоссе на Батон-Руж в лиловой тьме, повернули на запад, переправились через Миссисипи в местечке под названием Порт-Аллен, где река вся из роз и дождя в крошечной туманной тьме и где мы развернулись, совершив небольшой объезд по кольцевой дороге при свете желтых противотуманных фар, и вдруг увидели под мостом величавое черное тело и вновь пересекли вечность. Что такое река Миссисипи? Размытая глыба в дождливой ночи, неслышимый всплеск падения с крутых берегов Миссури, растворение, движение в потоке по вечному руслу на закание бурой пенной воде, долгое плавание мимо нескончаемых долин, и деревьев, и пристаней, вниз, вниз по течению, мимо Мемфиса, Гринвилла, Юдоры, Виксберга, Натчеса, Порт-Аллена, Порт-Орлеана и Порта Дельт, мимо Поташа, Виниса и через Великий Залив Ночи — на волю.

Под звуки детективной радиопередачи я выглянул в окошко, увидел рекламный щит, гласивший: «ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КРАСКАМИ КУПЕРА!» — и сказал: «Воспользуюсь непременно», — а мы катили сквозь непроглядную тьму луизианских равнин: Лоттел, Юнис, Киндер и Де Квинси, рахитичные западные городки, становившиеся все более заболоченными по мере приближения к Сабину. В старом Опелусасе я зашел в лавку купить хлеба и сыра, а Дин в это время занялся бензином и маслом. Лавка оказалась обыкновенной жилой лачугой. Я слышал, как где-то в глубине ее ужинает семья. Минуту подождал; разговор не прекращался. Я взял хлеб и сыр и выскользнул за дверь. Нам едва хватало денег, чтобы добраться до Фриско. Тем временем Дин стащил на заправочной станции блок сигарет, и мы

были полностью экипированы для путешествия: бензин, масло, сигареты, еда. Проходимцы, да и только! Дин вывел машину на дорогу.

Неподалеку от Старкса мы увидели в небе громадное багровое зарево. Нам стало любопытно, что там горит. Спустя мгновение мы уже ехали мимо. Горело где-то за деревьями. На обочине стояло множество машин. Может, там устроили пикник с жареной рыбой, а может, это было нечто совсем другое. Близ Дьюивилла местность потемнела и стала чужой. Мы незаметно оказались среди болот.

— Вообрази, старина, что будет, если мы отыщем в этих болотах джазовый притон со здоровенными чернокожими, которые стонут своими блюзовыми гитарами, пьют крепчайшее виски и машут нам руками!

— Да!

Местность была полна тайн. Грунтовая дорога, по которой мы ехали, возвышалась над тянувшимися по обе стороны болотами, куда устремились ползучие растения. Мы миновали привидение; это был негр в белой рубашке, который шел воздев руки к чернильному небесному своду. Должно быть, он молился, а может стать, и изрыгал проклятия. Мы пронесли мимо, я обернулся и увидел в заднее окошко его белые глаза.

— Эге! — сказал Дин. — Гляди-ка! Лучше уж в этих местах не останавливаться.

И все-таки где-то на пересечении дорог мы заблудились, и остановиться пришлось. Дин погасил фары. Нас окружал нескончаемый лес стелющихся деревьев, и мы, казалось, слышали, как скользят в этом лесу миллионы медноголовых змей. Единственное, что мы могли разглядеть, — это красный плазок амперметра на щитке «хадсона». Мерилу взвизгивала от страха. Чтобы напугать ее еще больше, мы принялись маниакально хохотать. Да и сами были напуганы. Нам хотелось выбраться из этого прибежища змей, из этой наводящей ужас болотной тьмы, хотелось умчаться назад, в привычную Америку с ее ковбойскими городишками. В воздухе пахло нефтью и стоячей водой. Такова была рукопись ночи, и прочесть ее мы не смогли. Прокричала сова. Мы рискнули поехать по одной из грунтовых дорог и довольно скоро уже пересекали зловещую старую реку Сабин, которая повинна в существовании всех этих болот. С изумлением мы увидели впереди громадные освещенные строения.

— Техас! Это Техас! Бомонтские нефтяные разработки!

В наполненном нефтяными ароматами воздухе гигантские цистерны и нефтеперерабатывающие заводы приобретали смутные очертания больших городов.

— Наконец-то мы оттуда выбрались, — сказала Мерилу. — Теперь можно и детектив послушать.

Мы промчались через Бомонт, через реку Тринити близ Либерти и взяли курс на Хьюстон. Тут Дин заговорил о своих хьюстонских днях 1947 года.

— Хассел! Этот псих Хассел! Всюду я его разыскиваю, а найти не могу. А сколько раз мы застревали из-за него тут, в Техасе! Мы с Буйволом уезжали за продуктами, а Хассел исчезал. Потом приходилось искать его по всем притонам города. — (Мы въезжали в Хьюстон). — А находили мы его обычно именно в этом районе, здесь живут черномазые. Под наркотой, старина, он мог снюхаться с первым попавшимся ненормальным. Как-то ночью, когда он снова куда-то запропастился, мы сняли номер в гостинице. Мы должны были ехать к Джейн и захватить с собой немного льда — у нее гнили продукты. А Хассела мы отыскивали только через два дня. Да и сам я застрял — клеил баб, которые днем ходят за покупками в центр, вот в эти самые магазины, — мы неслись сквозь безлюдную ночь, — и снял бесподобную придурковатую девицу, у которой явно были не все дома. Смотрю, болтается по магазину и порывается стянуть апельсин. Она была из Вайоминга. С ее прекрасным телом мог соперничать только ее помутневший рассудок. Я услышал, как она что-то бормочет себе под нос, и привел ее в номер. Буйвол задумал эту мексиканочку напоить и напился сам. Карло принял героин и писал стихи. И только в полночь появился Хассел. Мы обнаружили его спящим на заднем сиденье джипа. А лед к тому времени уже растаял, Хассел признался, что пролотил пяток снотворных пилюль. Эх, не изменяла бы мне память, старина, служила бы она мне хотя бы не хуже головы, я бы рассказал тебе в мельчайших подробностях все, что мы вытворяли. Но ведь мы понимаем время. Всякая вещь заботится о себе сама. Вот закрою я сейчас глаза, и эта старая колымага сама о себе позаботится.

По пустынным улицам Хьюстона в четыре часа утра пронесся вдруг мотоциклетный юнец, весь усыпанный блестками и сверкающими пуговицами, в шлеме с забралом, в блестящей черной

куртке — тexasский поэт ночи. За спиной у него, крепко, словно индейский ребенок, обхватив его руками, сидела девушка с развевающимися волосами, она летела вместе с ним вперед и пела: «Хьюстон, Остин, Форт-Уорт, Даллас... иногда и Канзас-Сити... иногда и старый Энтон, ах-ха-а-а!» Они скрылись из виду.

— Ого! Полюбуйтесь-ка на эту бесподобную деваху у него на привязи! Ну-ка, газанем! — Дин попытался их догнать. — Ну разве не здорово было бы собраться вместе и как следует покайфовать со всеми, кто тебе мил и приятен? Никаких тебе склок, никаких детских капризов, никаких проблем с физиологией — ничего такого. Ах! Но ведь мы понимаем время. — И с этими словами он поддал газу.

За пределами Хьюстона его, казалось, неисчерпаемый запас сил все-таки иссяк, и за руль сел я. Не успел я тронуться с места, как пошел дождь. Мы были уже на великой Техасской равнине, где, как сказал Дин, «едешь, едешь, но и завтра ночью будешь в Техасе». Дождь лил не переставая. Я вел машину мимо покосившихся строений старого ковбойского городка с грязной главной улицей и вдруг обнаружил, что заехал в тупик.

— Эй, что я делаю?

Но мои спутники спали. Я развернулся и пополз по городку. Не видно было ни единой души, ни единого огонька. Вдруг в свете фар возник всадник в дождевике. Это был шериф. Поля его десятигаллоновой шляпы обвисли от проливного дождя.

— Как проехать в Остин?

Он вежливо объяснил, и я поехал дальше. За городом я неожиданно увидел две зажженные фары, направленные прямо на меня сквозь струи дождя. Я чертыхнулся, решив, что еду не по той стороне дороги. Однако, взяв немного вправо, я завертелся в грязи и поспешил вернуться обратно. А фары все светили мне в глаза. В последний момент до меня дошло, что по встречной полосе, сам того не подозревая, едет водитель той машины. На скорости тридцать миль в час я свернул в грязь. Обочина, слава богу, была ровная, без кювета. Под нескончаемым ливнем машина нарушителя дала задний ход. В ночи на меня молча уставились четверо угрюмых сельскохозяйственных рабочих, бросивших свой изнурительный труд, чтобы предаться веселью среди напоенных влагой полей. На всех

были белые рубахи, у всех — грязные смуглые руки. Водитель был ничуть не трезвее остальных. Он спросил:

— Где тут Хьюстон?

Я показал большим пальцем назад. Меня как громом поразила мысль, что они это сделали специально, только чтобы узнать дорогу, — так нищий обгоняет вас на тротуаре, чтобы преградить путь. Они бросили горестный взгляд на пол своей машины, где катались пустые бутылки, и с лязгом укатили. Я запустил мотор. Машина на целый фут увязла в грязи. Я вздохнул от тоски в этой дождливой тexasской пустыне.

— Дин, — сказал я, — проснись.

— Что такое?

— Мы застряли в грязи.

— Как это произошло?

Я рассказал. Он принялся ругаться на чем свет стоит. Надев свитера и старые башмаки, мы вылезли из машины под проливной дождь. Я уселся на заднее крыло и попытался раскатать автомобиль. Дин достал из багажника цепи и подсунул их под прокручивающиеся со свистом колеса. В разгар всего этого кошмара мы разбудили Мерилу и заставили ее выжимать полный газ, а сами принялись толкать. Многострадальный «хадсон» тужился и вставал на дыбы. Вдруг он дернулся и заскользил поперек дороги. Мерилу успела вовремя затормозить, и мы забрались внутрь. Дело было сделано — работа отняла у нас тридцать минут, мы насквозь промокли и являли собою весьма жалкое зрелище.

Я уснул, весь в спекшейся грязи, а наутро, когда проснулся, грязь совсем затвердела. Снаружи шел снег. Мы находились недалеко от Фредериксберга, среди высоких равнин. Это была одна из самых суровых зим в истории Техаса, да и всего Запада, когда коровы гибли в сильный буран, как мухи, а снег шел и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелесе. Нам стало грустно. Мы пожалели даже, что не остались с Эдом Данкелом в Новом Орлеане. Машину вела Мерила; Дин спал. Одной рукой она держала руль, а другую протянула на заднее сиденье ко мне. Воркующим голосом она сулила мне райскую жизнь в Сан-Франциско. Я с готовностью развесил уши. В десять я взялся за руль — Дин отключился на несколько часов — и проехал пару сотен миль среди усеянных зарослями кустарника снегов и неровных поlynных

холмов. По обочине шли в поисках своих коров ковбои в бейсболках и теплых наушниках. Начали попадаться уютные домики с дымящимися печными трубами. Меня потянуло посидеть у камина и полакомиться пахтой с бобами.

В Соноре, пока хозяин лавки болтал в углу с дюжим скотоводом, я еще разок воспользовался бесплатным самообслуживанием, взяв хлеба с сыром. Услышав об этом, Дин закричал: «Ура!» — он был голоден. А на еду мы не могли потратить ни цента.

— Да-да, — сказал Дин, глядя, как по главной улице Соноры снуют в обе стороны скотоводы, — все они гнусные миллионеры — тысячи голов скота, батраки, дома, деньги в банке. Если б я здесь жил, то заделался бы отшельником и ушел в полынь, стал бы зайцем, лизал бы ветки да подкарауливал хорошеньких ковбоек, хи-хи-хи-хи! Черт возьми! Одуреть можно! — Он с размаху стукнул себя по лбу. — Да! Вот именно! Так-то!

Мы перестали понимать, о чем он говорит. Он взялся за руль и миль пятьсот, оставшихся до границы штата Техас, напрямик до Эль-Пасо, где мы оказались засветло, пролетел с единственной остановкой: неподалеку от Озоны, сбросив всю одежду, он принялся с визгом бегать и скакать в полыни. Мимо проносились машины, но его никто не заметил. Нарезвившись, он семенящими шажками поспешил назад, и мы двинулись дальше.

— Ну, Сал, ну, Мерилу, я хочу, чтобы вы оба сделали то же самое. Сбросьте бремя одежды — ну какой в одежде прок? Я знаю, что говорю, — пускай и ваши прелестные животики позагорают. Ну же! — (Мы ехали на запад, прямо к самому солнцу; оно врывалось в машину сквозь лобовое стекло). — Открывайте животы, мы въезжаем в солнышко.

Мерилу подчинилась. Не желая прослыть консерватором, я последовал ее примеру. Мы сидели впереди, все втроем. Мерилу достала кольдкрем и забавы ради растерла нас. Навстречу то и дело неслись большие грузовики. С высоты своей кабины водители могли мельком увидеть золотистую голую красотку, сидящую рядом с двумя голыми мужиками: мы замечали, как машины, прежде чем исчезнуть в нашем окошке заднего обзора, на мгновение сбиваются с курса. Мимо проплывали бескрайние, поросшие полынью равнины, уже бесснежные. Вскоре мы оказались среди оранжевых скал каньона



Пекос. В небе открылись голубые дали. Мы вышли из машины осмотреть древние индейские развалины. Дин был абсолютно голый. Мы с Мерилу надели пальто. Улюлюкая и завывая, мы бродили среди дряхлых камней. Кое-кто из туристов замечал на равнине голого Дина, однако, не веря собственным глазам, все ковыляли дальше.

Неподалеку от Ван-Хорна Дин с Мерилу остановили машину и предались любви, а я улегся спать. Проснулся я, когда мы уже ехали по величественной долине Рио-Гранде, через Клинт и Ислету — к Эль-Пасо. Мерилу перескочила на заднее сиденье, я перескочил на переднее, мы покатали вперед. Слева, за огромной долиной Рио-Гранде, виднелись поросшие красноватой травой горы мексиканской границы, земли Тарахумаре. На вершинах уже играли вечерние сумерки. Впереди лежали далекие огни Эль-Пасо и Хуареса, разбросанные по необозримой долине, такой необъятной, что видно было, как по нескольким железным дорогам одновременно пыхтят во всех направлениях поезда, — казалось, в этой долине уместился весь мир. В долину эту мы и спустились.

— Клинт, штат Техас, — сказал Дин.

Приемник был настроен на радиостанцию Клинта. Каждые пятнадцать минут там ставили новую пластинку, остальное время занимала реклама заочного курса средней школы.

— Эту программу передают на весь Запад! — взволнованно прокричал Дин. — Я день и ночь слушал ее и в тюрьме, и в исправительной школе, старина. Все мы туда писали. Если пройдет твоя контрольная работа, ты получаешь по почте диплом средней школы — точнее, копию. Все желторотые пастухи на Западе — все до одного — хоть разок да черкнули туда письмишко. Они ведь больше ничего не слышали. Включи радио в Стерлинге, Колорадо, или в Ласке, Вайоминг, да где угодно, и поймашь Клинт, Техас. Клинт, Техас! А музыка — сплошь ковбойская да мексиканская, самая паршивая программа в истории всей страны, и поделать тут ничего нельзя. У них мощнейшая станция, вот они страну и оболванивают. — За лачугами Клинта мы увидели высокую антенну. — Эх, старина, я еще не то могу рассказать! — вскричал Дин, чуть не плача.

С мыслями о Фриско и о Побережье мы въехали в Эль-Пасо, уже темный и опустевший. Нам надо было во что бы то ни стало добыть денег на бензин, иначе мы могли попросту не доехать.

Чего мы только не предпринимали! Кинулись в бюро путешествий, но на запад в ту ночь никто не ехал. Бюро путешествий — это место, где можно договориться о поездке с горючим на паях, что на Западе вполне законно. Те, кто поизворотливей, сидят на своих потрепанных чемоданах в ожидании попутчика. Мы отправились на автовокзал компании «Грейхаунд», надеясь уговорить кого-нибудь дать деньги нам, а не тратить их на автобусный билет до Побережья. Однако в силу непонятной робости мы так ни к кому и не подошли и лишь уныло бродили по автовокзалу. Какой-то студент при виде аппетитной Мерилу покрылся потом и попытался принять беззаботный вид. Посоветовавшись, мы с Дином пришли к выводу, что мы все-таки не сутенеры. Неожиданно к нам привязался полоумный юнец, только что вышедший из исправительной школы, и они с Дином умчались за пивом.

— Давай-ка, дружище, проломим кому-нибудь башку и отберем деньги.

— Вот это по мне, старина! — завопил Дин.

Они ринулись прочь. Какое-то мгновение мне было не по себе. Но Дин всего лишь хотел взглянуть вместе с этим малышом на улицы Эль-Пасо и получить свой кайф. Мы с Мерилу ждали в машине. Она обняла меня. Я сказал:

— Черт подери, Лу, потерпи до Фриско.

— А мне плевать! Все равно Дин меня бросит.

— Когда ты собираешься обратно в Денвер?

— Не знаю. Мне все равно. Можно я поеду с тобой на Восток?

— Надо будет раздобыть во Фриско немного денег.

— Я знаю одно местечко, где ты сможешь устроиться буфетчиком, а я там буду подавать на стол. И еще я знаю гостиницу, где можно остановиться в кредит. Боже, как грустно!

— Почему тебе грустно, детка?

— Из-за всего на свете. Как жаль, что Дин окончательно спятил.

В тот же миг появился и впрыгнул в машину хихикающий Дин.

— Вот это псих, скажу я вам! Вот такие мне по душе! Я знавал тысячи подобных парней, у всех у них голова работает, как стандартный часовой механизм, ох уж эти мне бесконечные разветвления — ведь нет времени, нет времени... — И он завел мотор, ссутулившись за рулем, и покатыл прочь из Эль-Пасо. — Остается

только брать попутчиков. Наверняка кто-нибудь да попадетсЯ! Эх! Была не была! Поберегись! — крикнул он какому-то автомобилисту, обогнул его машину, увернулся от грузовика и выскочил за пределы города.

За рекой виднелись бриллиантовые огни Хуареса, а дальше была унылая высохшая земля под бриллиантовыми звездами Чиуауа. Мерилу наблюдала за Динoм, как наблюдала за ним на всем пути через страну и обратно, краешком глаза, с угрюмым, печальным выражением лица, словно хотела отрубить ему голову и спрятать ее в чулан, — горькая, с примесью зависти любовь к человеку, который так поразительно умеет оставаться самим собой, любовь яростная, смешанная с презрением и близкая к помешательству, с улыбкой нежного обожания, но одновременно и черной зависти, что меня в ней пугало, любовь, которая — и Мерилу это знала — никогда не принесет плодов, потому что, глядя на его скуластое, с отвисшей челюстью лицо, она понимала, что он слишком безумен. Дин был убежден, что Мерилу — шлюха; по секрету он сообщил мне, что она патологическая лгунья. Но когда она вот так за ним наблюдала, это тоже была любовь; и когда Дин это замечал, он обращал к ней лицо с широкой, вероломной, кокетливой улыбкой, с жемчужно-белыми зубами и трепещущими ресницами, хотя всего секунду назад он витал в облаках своей вечности. Потом мы с Мерилу рассмеялись, а Дин, ничуть не смутившись, скорчил идиотскую радостную гримасу, как бы говоря: «Разве, *несмотря ни на что*, мы не берем от жизни свое?» И он был прав.

За пределами Эль-Пасо мы разглядели маленькую съезжившуюся фигурку с оттопыренным большим пальцем. Это был наш долгожданный попутчик. Мы затормозили и дали задний ход.

— Сколько у тебя денег, малыш?

Денег у малыша не было совсем. На вид ему было лет семнадцать, он был бледен и страшен, с одной недоразвитой искалеченной рукой и без вещей.

— Ну разве он не *славный*? — с трепетом в голосе произнес Дин, повернувшись ко мне. — Влезай, приятель, мы тебя отсюда вывезем.

Малыш почуял выгоду. Он сказал, что в Туларе, Калифорния, у него есть тетушка, которая держит бакалейную лавку, и как только мы туда доберемся, он раздобудет для нас немного денег. Дин едва не

свалился на пол от смеха, так все это походило на историю с пареньком из Северной Каролины.

— Да! Да! — орал он. — У всех у нас есть тетушки! Ладно, поехали, поглядим, что за тетушки, дядюшки и бакалейные лавки на *этой* дороге!!

Так у нас появился новый пассажир, и оказался он совсем неплохим малым. Он не вымолвил ни слова — сидел и слушал нас. Уже через минуту после того, как заговорил Дин, паренек был наверняка убежден, что попал в машину к психам. Он сказал, что добирается из Алабамы в Орегон, где находится его дом. Мы спросили, что он делал в Алабаме.

— Ездил к дядюшке. Он обещал мне работу на лесозаготовках. С работой ничего не вышло, вот я и еду домой.

— Едешь домой, — сказал Дин, — домой, да-да, понятно, мы довезем тебя. До Фриско-то уж точно.

Но у нас не было денег. Мне пришла в голову мысль занять пять долларов у моего друга Хэла Хингэма в Тусоне, Аризона. Дин немедленно заявил, что это дело решенное и мы едем в Тусон. И мы поехали.

Ночью мы миновали Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, и к рассвету были в Аризоне. Я очнулся от глубокого сна и обнаружил, что все спят, как ягнята, а машина стоит бог знает где: сквозь запотевшие стекла нельзя было ничего разглядеть. Я выбрался из машины. Мы находились в горах: небеса в лучах восходящего солнца, прохладный пурпурный воздух, багровые горные склоны, изумрудные пастбища в долинах, роса и золотистые изменчивые облака; на земле — норки сусликов, кактусы, мескитовые деревья. Была моя очередь вести машину. Я отодвинул Дина и малыша и начал спускаться с горы, выключив сцепление, но не включая мотор, чтобы сэкономить горючее. Таким образом я вкатил в Бенсон, Аризона. Я вспомнил, что у меня есть карманные часы, которые Рокко недавно подарил мне на день рождения, они стоили четыре доллара. На заправочной станции я спросил служащего, есть ли в Бенсоне ломбард. Ломбард оказался прямо по соседству с заправкой. Я постучал, кто-то поднялся с постели, и через минуту я получил за свои часы доллар. Он был отправлен в бензобак. Теперь у нас хватало бензина до Тусона. Но не успел я завести мотор, как неожиданно появился дюжий конный

полицейский, вооруженный пистолетом. Он пожелал взглянуть на мои водительские права.

— Права есть у парня, что на заднем сиденье, — сказал я. Дин с Мерилу спали вдвоем под одеялом.

Коп велел Дину выходить, потом вдруг выхватил пистолет и заорал:

— Руки вверх!

— Командир, — услышал я до смешного елейный голос Дина, — командир, я только хотел застегнуть ширинку.

Даже коп едва сдержал улыбку. Дин вышел грязный, косматый, в майке, почесывая живот, ругаясь, всюду разыскивая свои права и бумаги на машину. Коп обшарил весь багажник. Бумаги оказались в полном порядке.

— Обычная проверка, — сказал он с широкой улыбкой. — Можете ехать. Бенсон не такой уж плохой город. Если вы здесь позавтракаете, он вам понравится.

— Да, да, да, — пробормотал Дин и, не обращая на него абсолютно никакого внимания, взялся за руль.

Все мы с облегчением вздохнули. У полиции всегда вызывают подозрение молодежные компании, которые разъезжают в новых машинах без единого цента в кармане и вдобавок закладывают часы.

— Эх, всюду они суют свой нос, — сказал Дин, — но этот коп намного лучше той крысы из Виргинии. Им не терпится кого-нибудь арестовать и попасть в газеты. Они думают, что в каждой машине едет крупная чикагская банда. Им попросту нечем больше заняться.

Мы приближались к Тусону.

Тусон расположен в чудесной мескитово-речной местности, над которой возвышаются заснеженные Каталинские горы. Город был сплошной строительной площадкой, люди — заезжими, честолюбивыми, деловыми, беспутными; вывешенное на просушку белье, жилые прицепы, флаги на шумных центральных улицах — все очень по-калифорнийски. Форт-Лоуэлл-роуд, где жил Хингэм, вилась среди плоской пустыни вдоль речного русла с его дивными деревьями. Сам Хингэм лелеял во дворе свои творческие замыслы. Он был писателем. В Аризону он приехал спокойно поработать над книгой. Он был высоким, неуклюжим, застенчивым сатириком. Разговаривал он, отвернувшись от собеседника и бормоча что-то себе под нос,

однако при этом всегда произносил очень смешные вещи. Жена и ребенок жили вместе с ним в маленьком глинобитном домике, построенном его отчимом-индейцем. Мать его жила в собственном домике на другом конце двора. Она была трепетной американкой, любящей керамику, четки и книги. О Дине Хингэм знал по письмам из Нью-Йорка. Мы налетели на него, словно саранча, все голодные, даже Альфред, наш покалеченный попутчик. Хингэм был в старом свитере, он пыхтел трубкой, выпуская дым в холодный воздух пустыни. Его мать вышла из дома и пригласила нас к себе на кухню поесть. Мы сварили в большой кастрюле лапшу.

Потом все поехали на перекресток, в винную лавку, где Хингэм получил по чеку пять долларов и вручил деньги мне. Мы наскоро распрощались.

— Страшно рад был повидаться, — сказал Хингэм, отвернувшись.

За деревьями, за песками сверкала красным неоном громадная вывеска придорожной закусочной. Когда Хингэм уставал писать, он ходил туда пить пиво. Он был очень одинок, ему хотелось вернуться в Нью-Йорк. Отъезжая, мы с грустью смотрели, как удаляется во тьму его долговязая фигура — в точности как и все фигуры в Нью-Йорке и Новом Орлеане: они в растерянности стоят под необъятными небесами, и улетучивается куда-то все, что связано с ними. Куда-то ехать? Что-то делать? Зачем? Пора спать. А эти придурки безостановочно мчатся дальше.

Выехав из Тусона, мы увидели, как на темной дороге голосует еще один парень. Он оказался странствующим сезонником из Бейкерсфилда, Калифорния, и историю он выложил такую:

— Из Бейкерсфилда я, черти жареные, выехал на машине бюро путешествий, а в багажнике другой машины оставил свою гитару, и больше их не видел — ни гитары, ни ковбойских шмоток. Я, видите ли, муу-зы-кант, хотел поиграть в Аризоне с «Полынными ребятами» Джонни Маккоу. И вот нате вам: я в Аризоне, без гроша и без гитары. Вы уж, ребята, отвезите меня обратно в Бейкерсфилд, а там братец даст мне денег. Сколько вам нужно?

Нам был нужен бензин, чтобы от Бейкерсфилда дотянуть до Фриско, — доллара три. Теперь в машине нас было пятеро.

— Добрый вечер, мэм, — обратился музыкант к Мерилу, приподняв шляпу, и мы снова тронулись в путь.

Среди ночи мы проехали по горной дороге над огнями Палм-Спрингз. На рассвете заснеженными перевалами мы пробивались к городку Мохави, который служил въездом на большой перевал Тихачапи. Сезонник проснулся и принялся рассказывать смешные истории. Славный малыш Альфред сидел и улыбался. Сезонник рассказывал об одном своем знакомом, в которого стреляла жена; он простил ее и выгасил из тюрьмы только для того, чтобы она выстрелила в него еще разок. Слушая эту историю, мы миновали женскую тюрьму. Прямо перед нами уходил ввысь перевал Тихачапи. Дин взялся за руль и отвез нас на самую вершину мира. Оставив позади огромный, окутанный туманом цементный завод в каньоне, мы начали спуск. Дин заглушил мотор, выключил сцепление и одолевал все крутые повороты, обгонял все машины, да и чего только не творил, не прибегая при этом к помощи акселератора. Я цеплялся за что попало. Временами дорога снова шла вверх, а Дин обгонял машины без единого звука, на чистой инерции. Он чуял каждый ритм, каждый нюанс первоклассного перевала. Когда настало время левого поворота вокруг низкой каменной стены, отделявшей нас от мирового дна, он просто отклонился далеко влево, крепко обхватил руками руль

и развернулся, глазом не моргнув; когда же дорога зазмеилась вправо, на этот раз с утесом по левую руку, он отклонился далеко вправо, заставив меня и Мерилу отклониться вместе с ним. Вот так мы и спускались кругами к долине Сан-Хоакин. Она простираюсь миль ниже — настоящее дно Калифорнии, зеленое и удивительное при взгляде с нашего воздушного уступа. Без всякого горючего мы делали тридцать миль в час.

Неожиданно нас охватило волнение. Как только мы достигли городских границ, Дину захотелось рассказать мне все, что он знает о Бейкерсфилде. Он показал мне пансион, где он останавливался, привокзальные гостиницы, тотализаторные залы, забегаловки, железнодорожные ветки, где он спрыгивал с паровоза, чтобы набрать винограда, китайские ресторанчики, где он ел, скамейки, где встречался с девушками, и просто места, где ничего не делал, только сидел и ждал. Калифорния Дина — необузданная, пропитанная потом земля, что так много значит, земля одиноких изгоев, земля чудаковатых влюбленных, слетающих туда, словно птицы, земля, где все почему-то похоже на сломленных жизнью, красивых растленных киноактеров.

— Вон в том самом кресле у аптеки, старина, я сидел часами!

Он помнил все: каждую карточную игру, каждую женщину, каждую печальную ночь. И вдруг мы проехали то место на сортировочной станции, где под луной я сидел с Терри, пил вино на тех же босяцких упаковочных корзинах в октябре 1947 года, и я попытался ему об этом рассказать. Но он был слишком возбужден.

— А вот здесь мы с Данкелом все утро пили пиво, а заодно пытались снять бесподобную официанточку из Уотсонвилла... нет, из Трейси, из Трейси — а звали ее, кажется, Эсмеральда... да-да, старина, имечко было то еще.

Мерилу размышляла о том, чем бы ей заняться во Фриско. Альфред сказал, что тетушка даст ему в Туларе кучу денег. Сезонник показал, как проехать за город, где живет его брат.

В полдень мы затормозили перед утопающим в розовых кустах домиком, сезонник вошел туда и принялся толковать с какими-то женщинами. Мы прождали его минут пятнадцать.

— Я начинаю думать, что денег у этого парня не больше, чем у меня, — сказал Дин. — Опять влипли! В этой семейке наверняка нет



никого, кто дал бы ему хоть цент после такой идиотской выходки.

Смущенный сезонник вышел из дома и повез нас в город.

— Братец куда-то запропастился, черти жареные.

По дороге он расспрашивал всех подряд. Вероятно, он чувствовал себя нашим пленником. Наконец мы подъехали к большой хлебопекарне, откуда сезонник вышел вместе с братом, облаченным в комбинезон, — в душе он, по-видимому, был автомехаником. Несколько минут, пока они не наговорились друг с другом, мы ждали в машине. Всем родственникам сезонник рассказывал о своих злоключениях и о потере гитары. Деньги он, однако, получил и отдал их нам, и Фриско нам был теперь обеспечен. Поблагодарив его, мы тронулись в путь.

Впереди нас ждал Тулар. Мы мчались вверх по долине. Махнув рукой на все, я в изнеможении улегся на заднее сиденье, а после полудня, пока я дремал, замызганный «хадсон» пронесся мимо палаточного городка, где я жил и любил, где работал в призрачном прошлом.

Дин неподвижно сгорбился за рулем и только изредка колотил по рычагам. Когда мы наконец прибыли в Тулар, я еще спал. Проснулся я, чтобы во всех деталях услышать неправдоподобную историю.

— Сал, проснись! Альфред нашел тетушкину бакалейную лавку, но тебе в жизни не догадаться, что случилось! Тетушка пристрелила мужа и попала в тюрьму. Лавка закрыта. Мы не получили ни цента. Нет, подумать только! Чего только не бывает! Точно такую же историю рассказывал сезонник, сплошные несчастья, все переплелось — вот чертовщина!

Альфред кусал ногти. У Мадеры мы свернули с Орегонской дороги и распрощались с малышом Альфредом. Мы пожелали ему удачи и счастливого пути до Орегона. Он сказал, что это была его лучшая поездка в жизни.

Казалось, всего несколько минут назад мы еще катили по оклендским предгорьям, и вот уже оказались на вершине и увидели раскинувшийся перед нами легендарный белый город Сан-Франциско на его одиннадцати загадочных холмах, с его синим Тихим океаном, с наступающей на него стеной картофельно-грядочного тумана, и дымом, и позолотою предвечерья.

— Вот он, родимый! — вскричал Дин. — Эгей! Добрались! Хватило бензина! Воды мне, воды! Хватит с меня суши! Дальше ехать некуда, земли дальше нет! Ну, Мерилу, дорогая, вы с Салом немедленно снимаете номер и ждете, я свяжусь с вами утром, как только договорюсь кое о чем с Камиллой и позвоню французу насчет моего железнодорожного хронометра, а вы поутру купите в городе газеты с объявлениями о найме и подумайте о работе.

С этими словами он въехал на Оклендский мост, который внес нас в город. Здания контор делового района только начинали искриться; это наводило на мысль о Сэме Спейде. Когда мы вывалились из машины на О'Фаррелл-стрит и, глубоко вздохнув, потянулись, нам почудилось, что мы сошли на берег после долгого морского плавания: покатавшая мостовая закружилась у нас под ногами. Легкий ветерок принес из китайского квартала Фриско загадочные запахи китайского рагу. Мы взяли из машины все наши вещи и свалили их на тротуар.

Дин неожиданно стал прощаться. Ему не терпелось повидаться с Камиллой, узнать, как идут дела. Мы с Мерилу молча стояли на улице и смотрели, как он уезжает.

— Видишь, каков ублюдок? — сказала Мерилу. — Дин готов в любую минуту бросить тебя на произвол судьбы, если это в его интересах.

— Знаю, — сказал я и со вздохом оглянулся назад, на восток. У нас не было денег. О деньгах Дин не упомянул. — Где же мы остановимся?

Взвалив на плечи свои узлы с никому не нужным тряпьем, мы побрели по узким романтическим улочкам. Каждый встречный походил на сломленного судьбой киностатиста, на поблекшую кинозвездочку; лишившиеся иллюзий каскадеры и автогонщики, типичные калифорнийцы с их жгучей печалью, что характерна для жителей самого края материка; красивые, растленные казановообразные мужчины, мотельные блондинки с отечными подлазьями, наркоманы, карманники, сутенеры, шлюхи, массажисты, посыльные — весь гнусный сброд. Разве среди подобной банды заработаешь себе на жизнь?

Мерилу, однако, в свое время вертелась среди этих людей — и не так уж далеко от значных мест, — поэтому мрачный портье сдал нам номер в кредит. Первый шаг был сделан. Теперь требовалось поесть, однако решение этой проблемы затянулось до полуночи, когда мы познакомились с певичкой из ночного клуба. Она привела нас к себе в номер, где с помощью пиджачной вешалки укрепила в мусорной корзине перевернутый утюг и разогрела банку свинины с бобами. Я выпянул в окно, увидел мерцающую неоновую рекламу и сказал себе: «Где же Дин, почему его не волнует то, как мы устроились?» В тот год я потерял веру в него. В Сан-Франциско я пробыл неделю и никогда больше не чувствовал себя таким разбитым. Не одну милю исходили мы с Мерилу в поисках денег на еду. Мы даже навестили каких-то пьяных моряков в ночлежке на Мишн-стрит, которую неплохо знала Мерилу. Они угостили нас виски.

В гостинице мы прожили вместе два дня. Я понял, что теперь, когда Дин сошел со сцены, Мерилу совсем перестала мной интересоваться. Я был всего лишь приятелем Дина, и через меня она пыталась его добиться. В номере мы без конца ссорились. А кроме того, мы ночи напролет проводили в постели, и я рассказывал ей свои сны. Я рассказал ей об огромном всемирном змее, который свернулся кольцом внутри земли, как червь в яблоке, и который в один прекрасный день взроет изнутри гору — потом ее станут звать Змеиной горой — и поползет по равнине, растянувшись на сотни миль и пожирая все на своем пути. Я сказал ей, что змей этот — Сатана.

— Что же будет? — взвизгнула она, крепко меня обняв.

— Святой по имени доктор Сакс уничтожит его секретными травами, которые в эту самую минуту варит в своей потайной хижине где-то в Америке. К тому же может случиться, что змей — всего лишь оболочка, а внутри — голуби. Когда змей умрет, наружу выпорхнут целые тучи маленьких серых голубков, которые разнесут по всей земле весть о мире. — От голода и горечи я попросту спятил.

Однажды ночью Мерилу исчезла с владельцем ночного клуба. Я, как мы условились, ждал ее на другой стороне улицы, стоя в дверях, на углу Ларкин и Гири, голодный, когда она вдруг вышла из подъезда шикарного многоквартирного дома — вместе с подружкой, владельцем клуба и сальным стариком со свертком под мышкой. Я понял, что она таки шлюха. Она так и не осмелилась подать мне знак, хотя видела, что я стою в дверях. Мелкими шажками она подошла к «кадиллаку», села в него, и они были таковы. Теперь у меня не осталось никого, ничего.

Я бродил по улице и подбирал окурки. Когда я проходил мимо трактирчика с рыбой и жареным картофелем на Маркет-стрит, отсюда на меня полными ужаса глазами взглянула женщина; это была хозяйка, она наверняка решила, что сейчас я войду с пистолетом и ограблю заведение. Я прошел еще несколько шагов. Вдруг мне почудилось, что это моя мать, только дело происходит лет двести назад, в Англии, а я, ее сынок, — грабитель с большой дороги, возвращающийся из тюрьмы, чтобы свести на нет все ее праведные труды. В экстазе я застыл на тротуаре. Я окинул взором Маркет-стрит; я уже не понимал, что это за улица, она вполне могла оказаться новоорлеанской Кэнал-стрит: она вела к воде, ничейной, вселенской воде, точно так же ведет к воде 42-я улица в Нью-Йорке, и там точно так же невозможно понять, где находишься. Мне вспомнился призрак Эда Данкела на Таймс-сквер. Я был в бреду. Меня потянуло вернуться к трактиру и бросить злобный взгляд на свою незнакомую диккенсовскую мамашу. Я дрожал с головы до пят. Казалось, во мне ожил целый сонм воспоминаний, уводящий меня в глубь веков, в Англию 1750 года, а сейчас, в Сан-Франциско, я просто нахожусь в другой жизни и в другом теле «Нет, — говорила, казалось, та женщина с полными ужаса глазами, — не возвращайся, не насылай беду на свою честную трудолюбивую мать. Ты мне больше не сын, как твой отец мне больше не муж. Здесь меня приголубил этот добрейший грек. (Хозяином был грек с волосатыми руками.) Ты ни на что не годен, тебя тянет только к выпивке и к друзьям, а теперь ты дошел до такого бесстыдства, что хочешь лишиться меня всего, чего я достигла своими скромными трудами в трактире. О сын! Неужто ты ни разу не упал на колени и не помолился во спасение души своей после стольких грехов и подлых дел? Пропаций мальчик! Уходи! Не

тревожь мою душу. Я правильно сделала, что забыла тебя. Не бери старые раны, пусть будет так, словно ты никогда не возвращался и не заглядывал ко мне — чтобы увидеть мое страдальческое смирение, мои жалкие гроши — в жажде схватить, немедленно отнять, темный, нелюбимый, подлый духом сын плоти моей. Сын! Сын!» Все это заставило меня вспомнить знамение с Большим Папашей в Гретне, в присутствии Старого Буйвола. И на какое-то мгновение я достиг той точки экстаза, которой хотел достичь всегда, — я шагнул за черту хронологического времени во вневременную тень, в волшебное видение посреди унылого царства смертных, и ощущение смерти заставляло меня двигаться дальше, и призрак шел по пятам самого себя, а сам я спешил к другой черте, к той, за которой скрылись ангелы, отлетевшие в священную, извечную пустоту, — всевластное и непостижимое сияние, исходящее из светоносной Сущности Разума, — где в колдовской манящей дали небес открываются бесчисленные сказочные страны. Мне слышен был невыразимый клокочущий рев, однако он не стоял у меня в ушах, он был повсюду и не имел никакого отношения к звукам. Я сознавал, что пережил уже бессчетное количество смертей и рождений, но просто их не помню, главным образом потому, что перемещения из жизни в смерть и обратно в жизнь так призрачно легки, — магический уход в ничто, словно миллион раз уснуть и вновь проснуться, и происходит это по чистой случайности и при полнейшем неведении. Я сознавал, что только непоколебимость истинного Разума является причиной этой вечной ряби рождений и смертей — так ветер действует на чистую, безмятежную, зеркальную водную гладь. Я ощутил сладкое, головокружительное блаженство, словно в вену мне ввели большую дозу героина, словно от бросающего в дрожь большого плотка вина предвечерней порой; я ощутил покалывание в онемевших ногах. Я подумал, что в следующее мгновение умру. Но я не умер, я прошел четыре мили пешком, подобрал десяток больших окурков, принес их в наш с Мерилу гостиничный номер, высыпал из них табак в мою старую трубку и закурил. Я был слишком молод, чтобы понять, что произошло. В окно врывались запахи всей еды Сан-Франциско. Там, снаружи, были заведения, где подавались рыбные блюда, где сдобные булочки были горячими и где вполне годились в пищу даже корзины; где даже меню становится нежным от съестного, словно его окунули в

горячую похлебку и насухо прожарили, чтобы сделать съедобным. Только покажите мне блестки рыбьей чешуи в меню из даров моря, и я их съем; дайте мне понюхать топленого масла и клешни омара. Там были заведения, где подавали толстый румяный ростбиф *au jus* и политого вином жареного цыпленка. Там были заведения, где на рашперах шипели бифштексы по-гамбургски, а кофе стоил всего пятицентовик. А еще этот ароматный дух жаркого, которым веяло из Китайского квартала и который соперничал с запахами макаронных приправ из Норт-Бич и нежно-панцирных крабов Рыбацкого причала — мало того, еще и ребрышек, что вращались на вертелах Филмор-стрит! Прибавьте сюда еще и сдобренные жгучим красным перцем бобы с Маркет-стрит, и жаренный ломтиками картофель хмельной ночи Эмбаркадеро, и сваренных на пару моллюсков из Сосалито, что на том берегу залива, и вы получите мои аховые сан-францисские грезы. Прибавьте туман, возбуждающий аппетит сырой туман, пульсацию неоновых огней в нежной ночи, цокающих высокими каблучками красоток, белых голубей в витрине китайской лавчонки...

В таком состоянии меня и нашел Дин, когда наконец решил, что я достоин спасения. Он отвез меня к Камилле.

— А где Мерилу, старина?

— Сбежала, шлюха.

После Мерилу Камилла была само умиротворение. Благовоспитанная, вежливая молодая женщина, она знала, что восемнадцать долларов, которые прислал ей Дин, были моими. Но куда удалилась ты, сладострастная Мерилу? Несколько дней я приходил в себя у Камиллы. Из окна ее гостиной в деревянном многоквартирном доме на Либерти-стрит был виден весь Сан-Франциско, расцвеченный зелеными и красными огнями в дождливой ночи. За те дни, что я там прожил, Дин успел совершить самый нелепый поступок всей своей богатой событиями жизни. Он нанялся разъездным демонстратором новой модели герметической скороварки. Торговец вручил ему кучу образцов и кипу брошюр. В первый день Дин был сплошным ураганом энергии. Он обстряпывал свои рандеву, а я мотался с ним на машине по всему городу. Идея заключалась в том, чтобы заручиться приглашением на званый обед, а там вскочить и продемонстрировать действие скороварки.

— Старина, — возбужденно кричал Дин, — это еще безумней, чем моя работа у Синаха! Синах торговал в Окленде энциклопедическими словарями. Перед ним никто не мог устоять. Он произносил длинные речи, он прыгал, смеялся, плакал. Как-то мы ворвались в дом, где жили сезонники, а там все как раз собирались на похороны. Синах грохнулся на колени и принялся молиться за спасение души усопшего. Сезонники залились слезами. Он продал полный комплект словарей. Свет не видывал подобного психа. Хотел бы я знать, где он теперь. Тогда мы с ним частенько подбирались к хорошеньким юным дочкам и тискали их на кухне. А сегодня в одной кухоньке мне попалась бесподобнейшая хозяйшюка — пока я демонстрировал кастрюлю, мы на славу пообнимались. Ах! Хмм! Красота!

— Продолжай в том же духе, Дин, — сказал я. — Может, со временем станешь мэром Сан-Франциско.

Он разработал целую систему расхваливания своей кастрюли и по вечерам практиковался на нас с Камиллой.

Как-то утром он стоял голый, глядя из окна, как над Сан-Франциско всходит солнце. Вид у него был такой, будто в один прекрасный день ему и в самом деле суждено стать языческим мэром Сан-Франциско. Однако силы его были на исходе. В один из дождливых дней торговец явился выяснить, чем занимается Дин. Дин лениво развалился на кушетке.

— Ты хоть пытался их продать?

— Нет, — сказал Дин, — я нашел работенку получше.

— Ну а что ты собираешься делать со всеми этими образцами?

— Не знаю.

В мертвой тишине торговец собрал свои жалкие кастрюли и удалился. Мне опостылело все на свете; Дину тоже.

Но однажды вечером нас обоих вновь охватило безумие. Мы отправились в маленький сан-францисский ночной клуб на Долговязого Гэйларда. Долговязый Гэйлард — высокий тощий негр с большими печальными глазами, который то и дело произносит «прекрасно-руни» и «как насчет выпить немного бурбона-руни?». Во Фриско целые толпы молодых полуинтеллектуалов благоговейно внимали тому, как он играет на рояле, гитаре и бонгах. Разогревшись, он снимает верхнюю рубаху, потом нижнюю и разгуливается по-настоящему. Он делает и говорит все, что в голову взбредет. Запоет, например, «Бетономешалку», а потом вдруг замедлит ритм и грустно склонится над своими бонгами, едва заметно постукивая по их шкуре кончиками пальцев, и все наклоняются вперед и слушают затаив дыхание; кажется, что длится это не больше минуты, а он все играет и играет, целый час, производя кончиками ногтей едва уловимый шумок, все тише и тише, пока шумок этот не перестанет долетать до слуха публики и в распахнутую дверь не ворвутся уличные звуки. Тогда он неторопливо встает, берет микрофон и произносит очень медленно: «Великолепно-руни... прекрасно-руни... привет-орунни... бурбон-орунни... все-орунни... как там у ребят в первом ряду успехи с их девушками-руни?... орунни... руни... орунируни...» Так продолжается минут пятнадцать, голос его становится тише, и вот



уже ничего не слышно. Его огромные печальные глаза оглядывают публику.

Дин стоит в толпе и твердит: «Господи! Да!» — и сводит в молитве ладони, и потеет.

— Сал, Долговязый знает, что такое время, он понимает время.

Долговязый садится за рояль и берет две ноты, две «до», потом еще две, потом одну, потом две, и вдруг замечтавшийся дюжий контрабасист приходит в себя, осознает, что Долговязый играет «Доджем блюз», ударяет своим огромным указательным пальцем по струнам, и вступает мощный, оглушительный ритм, и все начинают раскачиваться, Долговязый выглядит не менее печальным, чем обычно, они полчаса играют джаз, а потом Долговязый не на шутку сходит с ума, хватает бонги и выдает потрясающие быстрые кубинские ритмы, и выкрикивает что-то нечленораздельное по-испански, по-арабски, на перуанском диалекте и на египетском, на всех известных ему языках — а языков он знает великое множество. Наконец отделение окончено; каждое отделение длится два часа. Долговязый Гэйлард отходит к столбу и стоит там, грустно глядя поверх голов, а люди подступают к нему поближе, желая поговорить. В руке у него появляется стакан бурбона. «Бурбон-оруни... спасибо-ваути...» Никому не ведомо, где витает сейчас Долговязый Гэйлард. Дину как-то приснилось, что он рождает ребенка — лежит на травке у калифорнийской больницы, а живот у него непристойно раздут. Под деревом, в компании цветных, сидел Долговязый Гэйлард. Дин в отчаянии обратил на него свой материнский взор. Долговязый сказал: «Опять ты-оруни!» Вот и сейчас Дин приблизился к нему, приблизился к своему Богу; он был убежден, что Долговязый — Бог. Дин расшаркался, поклонился и пригласил его присоединиться к нам. «Прекрасно-руни», — говорит Долговязый: он присоединится к кому угодно, однако не гарантирует, что будет с вами душой. Дин раздобыл столик, накупил выпивки и теперь неподвижно сидел напротив Долговязого. А Долговязый видел свои сны где-то над головой Дина. Стоило Долговязому произнести свое «оруни», как Дин говорил «да!». Я сидел вместе с этими двумя сумасшедшими. Разговора не получилось. Для Долговязого Гэйларда весь мир был одним большим «оруни».

Той же ночью, на углу Филмор и Гири, я полюбовался Абажуром. Абажур — высокий чернокожий парень, который является в музыкальные салуны Фриско в пальто и шляпе, обмотав шею шарфом. Он прыгает на эстраду и начинает петь; вздуваются вены у него на лбу; набрав воздуха в легкие, он всю душу без остатка вкладывает в громкий, как туманный горн, блюз. Он поет и еще успевает крикнуть публике: «Что толку умирать и отправляться на небеса? Принимайтесь-ка за „Доктора Пеппера“, а потом переходите к виски!» Его громоподобный голос перекрывает все прочие звуки. Он гримасничает, извивается — чего только он не творит! Спев, он подошел к нашему столику, наклонился и сказал: «Да!» А потом вывалился на улицу, чтобы совершить налет на очередной салун. Есть там и Конни Джордан, ненормальный, который поет, размахивая руками, а кончает тем, что забрызгивает всех собственным потом, отпихивает ногой микрофон и принимается вопить, словно баба. А поздней ночью можно увидеть, как он, вконец измученный, слушает бешеные джазовые импровизации в «Приюте Джемсона»: безвольно поникшие плечи, бессмысленный остановившийся взгляд больших круглых глаз и выпивка на столике. В жизни я не видывал таких безумных музыкантов. Во Фриско играли все. Это был край материка; им было глубоко наплевать на все. Вот так мы с Динем шлялись по Сан-Франциско, пока я не получил свой следующий ветеранский чек, а с ним и возможность отправиться в обратный путь, домой.

Сам не пойму, ради чего я приехал во Фриско. Камилла хотела, чтобы я уехал; Дину было все равно. Купив батон хлеба и мясных консервов, я вновь запасся на дорогу через всю страну десятком бутербродов; последний мне суждено было съесть, не добравшись и до Дакоты. В последнюю ночь Дин окончательно спятил, разыскал где-то в центре города Мерилу, мы сели в машину и поехали на другой берег залива, в Ричмонд, где обошли все негритянские джазовые забегаловки в поселке нефтяников. В одной из них Мерилу собралась сесть, а какой-то чернокожий выдернул из-под нее стул. В уборной к ней с грязными предложениями приставали девицы. Приставали и ко мне. Дин взмок от пота. Это был конец; мне хотелось удрать.

На рассвете я распрощался с Динем и Мерилу и сел в свой нью-йоркский автобус. Им захотелось полакомиться моими бутербродами.

Я отказал. Это была зловещая минута. Каждый из нас думал, что мы никогда больше не увидимся, и каждому было на это наплевать.

## **Часть третья**

Весной 1949 года, сэкономив немного денег из положенных мне на образование ветеранских чеков, я отправился в Денвер, всерьез подумывая там обосноваться. Я был не прочь осесть в американской глубинке и обзавестись семьей. Я был одинок. Денвер опустел, там не было ни Бейб Роулинс, ни Рэя Роулинса, ни Тима Грэя, ни Бетти Грэй, ни Роланда Мейджора, ни Дина Мориарти, ни Карло Маркса, ни Эда Данкела, ни Роя Джонсона, ни Томми Снарка — никого. Я бродил в окрестностях Куртис- и Лаример-стрит и какое-то время работал на оптовом фруктовом рынке, куда чуть не нанялся в 1947-м, — самая тяжелая работа в моей жизни. Однажды мне пришлось в компании молодых японцев сотню футов вручную толкать по рельсам груженный товарный вагон — с помощью самодельного рычага, с каждым рывком которого вагон перемещался на четверть дюйма. По ледяному полу рефрижераторов я, чихая, выволакивал на ослепительно-яркое солнце корзины с арбузами. Ради всего святого и сущего — во имя чего?

В сумерках я выходил на прогулку. Я ощущал себя пылинкой на поверхности унылой багровой земли. Я шел мимо отеля «Виндзор», где во времена депрессии тридцатых жил со своим отцом Дин Мориарти, и, как и встарь, я всюду искал придуманного мною Печального Жестянщика. Либо в местах вроде Монтаны вам встречается человек, похожий на вашего отца, либо вы разыскиваете отца своего друга там, где его уже нет.

Сиреневыми вечерами, мучаясь от боли в мышцах, я бродил среди огней 27-й и Уэлтон, в цветном квартале Денвера, и жалел о том, что я не негр, я чувствовал, что даже лучшее из всего, что способна дать «белая» работа, не приносит мне ни вдохновения, ни ощущения радости жизни, ни возбуждения, ни тьмы, ни музыки, ни столь необходимой ночи. Остановившись у лавчонки, где торговали сдобренным красным перцем и обжигаяще горячим мясом в бумажных пакетах, я покупал немного и подкреплялся на ходу, слоняясь по темным таинственным улицам. Мне хотелось стать денверским мексиканцем или, на худой конец, бедным, измученным непосильным трудом япошкой, да кем угодно, лишь бы не оставаться

отчаявшимся, разочарованным «белым». Всю жизнь меня обуревало честолюбие белого человека. Именно поэтому я покинул в долине Сан-Хоакин такую замечательную женщину, как Терри. Я миновал темные веранды мексиканских и негритянских домов. Оттуда доносились негромкие голоса, изредка мелькала смуглая коленка загадочной сладострастной девицы, в глубине утопающих в розовых кустах беседок виднелись хмурые лица мужчин. В древних креслах-качалках сидели похожие на мудрецов маленькие дети. Когда со мной поравнялась компания темнокожих женщин, одна из тех, что помоложе, отделилась от годившихся ей в матери старших и торопливо подошла ко мне: «Привет, Джо!» — но, увидев вдруг, что я не Джо, в смущении убежала. Я пожалел, что я не Джо. Я был всего лишь самим собой, Салом Парадайзом, в унынии бродившим в этой фиолетовой тьме, в этой невыносимо нежной ночи, сожалея о том, что не в силах обменяться мирами со счастливыми, искренними, восторженными неграми Америки. Потрепанные жители округи напоминали мне Дина и Мерилу, которым эти улицы были прекрасно знакомы с детства. Как я жалел, что не могу их найти!

На углу 23-й и Уэлтон, при свете прожекторов, освещавших заодно и топливную цистерну, гоняли в софтбол. Каждая удачная подача сопровождалась ревом многочисленной нетерпеливой толпы. На площадке были неизвестные юные герои всех племен — белые, чернокожие, мексиканцы, чистокровные индейцы, — и играли они с вызывающей зевоту серьезностью. Это были всего лишь нацепившие форму дворовые команды. Когда я был спортсменом, то никогда в жизни не позволял себе выступать подобным образом перед целыми семьями, подружками и окрестной ребятней: лишь ночью, при освещении, — всегда это делалось по-университетски, на высшем уровне, без всякого проявления эмоций, без свойственного простым смертным мальчишеского восторга, какой царил здесь. Все это, однако, дело прошлое. Рядом со мной сидел старый негр, который, по-видимому, ходил на матчи каждый вечер. С ним соседствовал старый белый бродяга; потом — семейство мексиканцев, дальше — девушки, парни — все человечество, целиком. О, печальные огни той ночи! Юный подающий был точной копией Дина. Хорошенькая блондинка, сидевшая среди зрителей, очень походила на Мерилу. Была Денверская Ночь; я просто умирал.

Там в Денвере, там в Денвере  
Я просто умирал.

На другой стороне улицы сидели на своих крылечках негритянские семейства, они судачили, вглядываясь сквозь деревья в звездную ночь, от души наслаждались теплой погодой и изредка наблюдали за игрой. Все это время улица была полна машин, и они останавливались на углу, когда загорался красный свет. Кругом царило возбуждение, воздух был напоен трепетом подлинно счастливой жизни, которой неведомы ни разочарования, ни «белая скорбь», ни прочая подобная чушь. У старого негра в кармане пиджака была банка пива, и он занялся ее откупориванием, а белый старик с завистью покосился на банку и принялся рыться в карманах, желая выяснить, не сможет ли он купить себе такую же. Как я умирал! Я зашагал прочь.

Направился я к знакомой богатой девице. Утром она изъяла из своих несметных капиталов стодолларовую бумажку и сказала:

— Ты что-то говорил про поездку во Фриско. Так вот, если ты не шутил, возьми, езжай, повеселись как следует.

Вот и решены были все мои проблемы. Выложив одиннадцать долларов за бензин до Фриско, я взял в бюро путешествий машину и взмыл над страной.

Вели машину двое парней, которые заявили, что они — сутенеры. Еще двое, как и я, были пассажирами. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу и устремившись мыслями к конечной цели нашего путешествия. Одолев Бертодский перевал, мы спустились к громадному плато — Табернаш, Траблсам, Креммлиг, еще ниже, через перевал Рэббит-Иарс — к Стимбоут-Спрингз, потом пятьдесят миль по пыльной объездной дороге и — Крейг и Великая Американская Пустыня. Когда мы пересекали границу между Колорадо и Ютой, в небе, в контурах огромных золотистых, подсвеченных солнцем облаков, над пустыней я увидел Бога, который, казалось, направил на меня свой указующий перст и произнес: «Продолжай свой путь, он приведет тебя на небеса». Однако — увы и ах! — меня больше занимали какие-то ветхие, полусгнившие фургоны и бильярдные столы, расставленные посреди пустыни Невада, у киоска с кока-колой, а также местечки, где стояли хибары с потрепанными вывесками, все еще колыхавшимися на тревожном,

полном призрачных тайн ветру пустыни и гласившими: «Здесь жил Билл Гремучая Змея» или «В эту берлогу на много лет зарылась Энни Рваная Пасть». Да, только вперед! В Солт-Лейк-Сити сутенеры проинспектировали своих девиц, и мы поехали дальше. Я и ахнуть не успел, как вновь увидел легендарный город Сан-Франциско, вытянувшийся вдоль залива в разгар ночи. Не откладывая, я помчался к Дину. Теперь у него был свой маленький домик. Мне не терпелось узнать, что у него на уме и что будет дальше, ведь позади у меня больше ничего не осталось, все мосты были сожжены, и мне на это было целиком и полностью наплевать. В два часа ночи я постучался в дверь Дина.



Дверь он открыл совершенно голый, и будь на моем месте хоть сам президент, он бы и глазом не моргнул. Мир он воспринимал во всей его наготе.

— Сал! — воскликнул он с неподдельным трепетом в голосе. — А я уж решил, что этому не бывать. Наконец-то ты пришел ко *мне!*

— Угу, — сказал я. — У меня все пошло прахом. А как твои дела?

— Хорошего мало, хорошего мало. Однако нам надо обсудить миллион разных вещей. Наконец-то, Сал, самое время нам с тобой потолковать, давно пора.

Сойдясь на том, что да, самое время, мы вошли в дом. Мой приезд походил на явление зловещего демона-искусителя в обитель непорочных ангелов. Только мы с Дином уселись на кухне и в волнении приступили к нашей беседе, как сверху послышались рыдания. Что бы я ни сказал, Дин на все шептал с неистовой дрожью в голосе один ответ: «Да!» Камилла знала, что будет дальше. Очевидно, на несколько месяцев Дин затих; теперь же, когда явился демон, он снова начал сходить с ума.

— Что с ней? — прошептал я.

— Она совсем плоха, старина, — все время плачет и закатывает истерики, не пускает меня к Долговязому Гэйларду, стоит мне прийти попозже — психует, а если я остаюсь дома, она со мной не разговаривает и вдобавок называет отъявленным негодяем.

Он побежал наверх ее утешать. Слышно было, как Камилла кричит: «Ты врешь, врешь, врешь!» Воспользовавшись случаем, я принялся осматривать их удивительный дом. Это был покосившийся, шаткий деревянный двухэтажный коттедж, терявшийся среди многоквартирных домов на самой вершине Русской Горки, откуда открывался вид на залив. В доме было четыре комнаты — три наверху и одна большая, служившая чем-то вроде полуподвальной кухни, внизу. Дверь кухни выходила в заросший травой дворик, где было вывешено выстиранное белье. В глубине кухни была кладовка, где валялись старые башмаки Дина, покрытые дюймовым слоем запекшейся тexasской грязи — грязи той ночи, когда «хадсон» застрял

у реки Бразос. «Хадсона» уже, конечно, не было. Дин больше не в состоянии был за него выплачивать. Теперь у него вообще не было машины. Вскоре должен был появиться на свет нежеланный второй ребенок. Рыдания Камиллы навевали жуткую тоску. Не в силах этого вынести, мы сходили за пивом и, вернувшись, уселись на кухне. Камилла наконец уснула, а может, просто лежала, безучастно глядя во тьму. Я понятия не имел, что у них стряслось, разве что Дин попросту свел ее с ума.

После моего отъезда из Фриско он вновь помешался на Мерилу и несколько месяцев кряду ошивался возле ее дома на Дивисадеро, куда каждую ночь она приводила нового матроса. Подглядывая в почтовую щель, Дин созерцал ее кровать. Он видел, как по утрам она валяется там с очередным парнем. Он таскался за ней по всему городу. Ему нужны были неопровержимые доказательства того, что она — шлюха. Он любил ее и испытывал страшные муки. В конце концов он раздобыл где-то дурной зеленки, как ее называют в среде наркоманов, — зеленка, необработанная марихуана, — раздобыл по нелепой случайности и накурился до умопомрачения.

— В первый день, — сказал он, — я лежал на кровати одеревенелый, как доска, не в силах ни пошевелиться, ни вымолвить словечка, — вытаращил глаза и уставился в потолок, слушал, как шумит у меня в голове, смотрел цветные видения и прекрасно себя чувствовал. На другой день на меня снизошло все, *все*, что я когда-либо сделал, о чем знал, читал, слышал или догадывался, — все это вновь явилось мне и выстроилось в голове в совершенно новую логическую цепь, так как в мыслях у меня было только одно: как бы не растерять, не спугнуть овладевших мною изумления и благодарности, я непрерывно твердил: «Да, да, да, да». Негромко. Одно только «да» — очень тихо, и видения от этой зеленой травы длились, пока не настал третий день. К тому времени я все понял, до меня дошел смысл всей моей жизни, я знал, что люблю Мерилу, знал, что должен разыскать отца, где бы он ни был, и спасти его, знал, что ты — мой друг и все такое. Я знал, как велик Карло. Я знал тысячи вещей обо всех, обо всем. Потом, на третий день, началась жуткая череда кошмаров наяву, они были такими дьявольски страшными и зелеными, что я в испуге свернулся калачиком, обхватил руками колени и стонал: «Ох, ох, ох, ах, ох...» Соседи меня услышали и

послали за врачом. Камилла с ребенком гостила у родственников. Взбудоражилась вся округа. Когда соседи вошли, они увидели, что я лежу на кровати с навеки раскинутыми руками. Потом, Сал, взял я малость этой травки и побежал к Мерилу. И хочешь — верь, хочешь — нет, с этой тупоголовой чуркой произошло то же самое — те же видения, та же логика, то же окончательное решение всех проблем, осознание всех истин сразу, одной тяжелой глыбой, а дальше — трах! — кошмары и боль. Тогда я понял, что так сильно люблю ее, что хочу убить. Я прибежал домой и начал биться головой о стену. Потом помчался к Эду Данкелу — они с Галатеей вернулись в Фриско. Я расспросил его об одном малом, у которого, как мы знали, есть пистолет, потом зашел к этому малому, взял пистолет, понесся к Мерилу, заглянул в почтовую щель — она спала с каким-то парнем, я никак не мог решиться и ушел, а через час вернулся и вломился в дом. Она была одна — я дал ей пистолет и велел убить меня. Целую вечность она держала пистолет в руке. Я попросил ее заключить со мной любовное соглашение о двойном самоубийстве. Она не захотела. Тогда я сказал, что один из нас должен умереть. Она и на это не согласилась. Я бился головой о стену. Старина, я просто-напросто спятил. Можешь у нее спросить — это она меня отговорила.

— А что было дальше?

— Все это произошло несколько месяцев назад — когда ты уехал. В конце концов она вышла замуж за торговца подержанными автомобилями, этот безмозглый ублюдок поклялся убить меня, как только отыщет. Если понадобится, мне придется защищаться и убить его, и тогда я отправлюсь в Сан-Квентин, Сал, потому что еще одно, *любое* обвинение, и я отправлюсь в Сан-Квентин пожизненно — это для меня конец. А тут еще эта никудышная рука и все такое прочее. — Он показал мне свою руку. В волнении я не заметил, что его рука ужасно изуродована. — Я двинул Мерилу в лоб двадцать шестого февраля в шесть часов вечера, точнее — в шесть десять, потому что я помню, что через час двадцать должен был встретить проходящий товарняк, тогда мы увиделись в последний раз и в последний раз все решили, а теперь слушай: мой большой палец преспокойненько отскочил от ее лба, у нее и синяка-то не осталось, она даже засмеялась, а вот пальчик мой сломался у запястья, и какой-то гнусный доктор вправил кость, что оказалось делом нелегким, он три

раза накладывал гипс — в общей сложности двадцать три часа я прождал на жестких скамейках и все такое, а когда он делал последнюю гипсовую повязку, то проткнул кончик пальца вытягивающей шпилькой, так что в апреле, когда гипс сняли, оказалось, что шпилька внесла инфекцию в кость, и у меня начался остеомиелит, который перерос в хронический, и после операции, которая не удалась, после месяца в гипсе мне в конце концов ампутировали крохотный кусочек этого злосчастного пальца.

Он размотал бинты и показал палец. Под ногтем не хватало примерно полдюйма мяса.

— Дальше — хуже. Камиллу-то с Эми содержать надо, вот мне и пришлось гнуть спину формовщиком в Файерстоуне, где я вулканизировал покрышки с новым протектором, а потом затаскивал в кузов стопятидесятифунтовые колеса — при этом я мог пользоваться только здоровой рукой и то и дело ударялся больной, опять ее сломал, опять ее вправили, опять возникло заражение, и она распухла. Так что теперь я сижу с ребенком, а Камилла работает. Понятно? Мать честная, у затравленного джазом великого спортсмена и работяги Мориарти болит пальчик, жена каждый день колет ему из-за этого пальчика пенициллин, от которого он покрывается сыпью, потому что он вдобавок еще и аллергик! За месяц он должен принять шестьдесят тысяч единиц флеминговского горючего. Да еще каждые четыре часа плотать таблетку, чтобы сражаться с аллергией, которую это горючее вызывает. Он должен принимать кодеин с аспирином, чтобы унять боль в большом пальце. Ему надо прооперировать ногу из-за воспаления кисты. В следующий понедельник он должен подняться в шесть утра, чтобы ему почистили зубы. Два раза в неделю он обязан показывать врачу свою ногу. Каждый вечер пить микстуру от кашля. Он должен непрерывно сморкаться и фыркать, чтобы прочистить нос, который провалился в том месте, где несколько лет назад была сделана операция переносицы. Он потерял палец бросковой руки. А ведь был самым великим пасующим в истории исправительной школы штата Нью-Мексико — на семьдесят ярдов бросал. И все же... все же никогда я еще не был так счастлив и доволен жизнью, я счастлив, что вижу, как играют на солнышке прелестные маленькие дети, я страшно рад видеть тебя, мой славный бесподобный Сал, и я знаю, *знаю*, что все будет хорошо. Завтра ты увидишь ее, мою дивную милую дочурку,

она уже может без посторонней помощи простоять целых тридцать секунд, она весит двадцать два фунта, а рост ее двадцать девять дюймов. Недавно я высчитал, что она на тридцать один с четвертью процента англичанка, на двадцать семь с половиной процентов ирландка, на двадцать пять процентов немка, на восемь и три четверти голландка, на семь с половиной шотландка и на сто процентов — настоящее чудо. — Он от души поздравил меня с завершением книги, которую уже приняли в издательстве. — Мы знаем жизнь, Сал, мы стареем, каждый из нас, мало-помалу, и начинаем разбираться кое в каких вещах. Мне хорошо понятно все, что ты рассказываешь про свою жизнь, мне всегда были близки твои переживания, а теперь ты уже готов заполучить несравненную девушку, если только сможешь ее найти, заинтересовать и заставить тревожиться о твоей душе, что я так упорно пытаюсь сделать с этими своими чертовками. Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! — завопил он.

А наутро Камилла вышвырнула нас обоих вон, со всеми пожитками. Началось все с того, что мы позвонили Рою Джонсону, старому денверскому Рою, и пригласили его выпить пива. Дин при этом присматривал за ребенком, мыл посуду и стирал на заднем дворе, однако в своем возбуждении делал все это спустя рукава. Джонсон согласился отвезти нас в Милл-Сити на поиски Реми Бонкура. Камилла вернулась из врачебного кабинета, где работала, и бросила на нас печальный взгляд женщины, уставшей жить. Я попытался внушить этой загнанной бедняжке, что не вынашиваю никаких низких помыслов в отношении ее семейной жизни: поздоровался и заговорил с ней со всей сердечностью, на какую только был способен, но она знала, что это надувательство, к тому же наверняка перенятое у Дина, и лишь слабо улыбнулась. Утром они устроили жуткий скандал, Камилла улеглась на кровать и зарыдала, а мне как раз приспичило в туалет, и попасть туда я мог только через ее комнату.

— Дин, Дин! — крикнул я. — Где тут ближайший бар?

— Бар? — удивленно переспросил он. Дин мыл руки в кухонной раковине, внизу. Он решил, что я хочу напиться. Я признался, перед какой стою дилеммой, и он сказал:

— Иди себе спокойно, она постоянно плачет.

Нет, этого я сделать не мог. Я выскочил на улицу и принялся искать бар. Пройдя в гору и под гору и миновав квартала четыре

Русской Горки, я не обнаружил ничего, кроме прачечных-автоматов, химчисток, киосков с газировкой и косметических салонов. Тогда я вернулся в наш ветхий домик. Дин с Камиллой орала друг на друга, а я с виноватой улыбкой проскользнул между ними и заперся в ванной. Через несколько секунд Камилла уже бросала Диновы вещи на пол гостиной и велела ему убираться. К своему изумлению, над диваном я увидел написанную маслом картину, на которой в полный рост была изображена Галатhea Данкел. И тут до меня дошло, что все эти женщины долгие месяцы своего одиночества и бабства проводят вместе, судача о безумии своих мужчин. С дальней половины дома доносилось маниакальное хихиканье Дина, сопровождавшееся громким плачем ребенка. В следующее мгновение Дин уже бесшумно, словно Гручо Маркс, скользил по всему дому, и его сломанный палец, замотанный гигантским белым бинтом, стоял торчком, напоминая маяк, неподвижно возвышающийся над неистовством волн. Вновь я увидел его многострадальный громадный потрепанный чемодан, откуда торчали носки и грязное белье; Дин склонился над ним и принялся бросать туда все, что попадет под руку. Потом он взял чемодан поменьше, самый немыслимый чемодан в США. Сделан он был из бумаги и разрисован так, чтобы его можно было принять за кожаный, вдобавок к нему были прищиплены какие-то шарниры. Крышку пересекала огромная прореха; этот чемодан Дин обвязал веревкой. Затем он схватил матросский брезентовый мешок и побросал вещи туда. Я взял свой мешок, набил его и, пока Камилла лежала на кровати, твердя: «Врешь! Врешь! Врешь!» — мы выскочили из дома и потащились по улице к ближайшему фуникулеру, являя собою ходячее нагромождение чемоданов с торчащим наружу гигантским перебинтованным пальцем.

Этот большой палец стал символом решающей стадии Диновой эволюции. Его уже больше ничто не волновало (впрочем, как и прежде), однако теперь его вдобавок стало *волновать в принципе* все; другими словами, все ему было безразлично — раз уж он родился и живет в этом мире, ничего тут не поделаешь. Посреди улицы он меня остановил.

— Знаю, знаю, старина, ты наверняка ошарашен. Не успел ты добраться до города, как в первый же день нас вышвырнули на улицу, и ты не можешь понять, что я такого сделал, чтобы заслужить

подобную немилость, да и все прочие напасти в придачу... хи-хи-хи!.. но посмотри на меня. Прошу тебя, Сал, посмотри на меня.

Я посмотрел на него. На нем была футболка и сползшие с живота рваные брюки, дырявые башмаки; он был небрит, лохмат и нечесан, глаза налились кровью, огромный забинтованный палец он держал вертикально на уровне груди (держат его так он должен был постоянно), а на лице его блуждала самая идиотская ухмылка, какую я когда-либо видел. Нетвердой походкой, вертя во все стороны головой, он обошел вокруг меня.

— Что видят мои очи? Ага — голубое небо. Лонгфелло. — Он пошатнулся, прищурился и протер глаза. — А еще окна — ты вглядывался когда-нибудь в окна? Давай поговорим об окнах. Мне попадались просто сумасшедшие окна, они корчили мне рожи, а если были задернуты шторы, то еще и подмигивали. — Он выудил из своего брезентового мешка «Парижские тайны» Эжена Сю и, пристроив книгу на оттянутой вперед футболке, принялся с видом истинного педанта читать прямо на улице. — А правда, Сал, давай на ходу врубаться во все, что увидим... — В следующее мгновение он уже об этом забыл и безучастно смотрел вокруг. Я был рад, что приехал, в тот момент я был ему нужен.

— Почему Камилла тебя выгнала? Что ты теперь будешь делать?

— А? — переспросил он. — Чего?

Мы ломали голову над тем, куда идти и что делать. Я понял, что все должен решать сам. Бедняга Дин — сам дьявол ни разу не пал так низко. Обуреваемый идиотизмом, с зараженным пальцем, увешанный потрепанными чемоданами своей сиротской лихорадочной жизни, проведенной в нескончаемых гонках из конца в конец Америки, — загубленная перелетная птаха.

— Пошли пешком в Нью-Йорк, — сказал он, — а по дороге запасемся всем необходимым... да!

Я достал свои деньги, пересчитал их и показал Дину.

— Здесь у меня, — сказал я, — целых восемьдесят три доллара с мелочью, и, если хочешь, поехали вместе в Нью-Йорк... А потом отправимся-ка мы в Италию.

— В Италию? — Глаза его загорелись. — В Италию, да... как же мы туда доберемся, любезнейший Сал?

Я все взвесил.

— Я заработаю кое-какие деньги — получу тысячу долларов в издательстве. Будем с тобой любоваться всеми сногшибательными красотками Рима, Парижа и прочих подобных мест, будем сидеть в уличных кафе, жить в бардаках. Как же не поехать в Италию?

— Заметано, — сказал Дин.

А потом до него вдруг дошло, что я настроен серьезно, и он впервые искоса посмотрел на меня, ведь раньше я никогда не брал на себя обязательств в отношении его тягостного существования, и взгляд этот был взглядом человека, взвешивающего свои шансы в последний момент перед тем, как сделать ставку. В глазах его были торжество и высокомерие — то был долгий дьявольский взгляд, устремленный мне прямо в глаза. Я тоже взглянул на него и смутился.

— В чем дело? — спросил я, чувствуя себя несчастным.

Он не ответил, но продолжал искоса буравить меня все тем же настороженно-высокомерным взглядом.

Я пытался припомнить все, что сделал Дин в своей жизни, и понять, не было ли среди этих дел такого, которое теперь заставляло его что-то подозревать. Решительно и твердо я повторил то, что сказал раньше:

— Поехали со мной в Нью-Йорк. Деньги у меня есть.

Я взглянул на него в смятении; мои глаза увлажнились. А Дин все не отводил от меня своего взгляда. Однако глаза его стали пустыми, он смотрел сквозь меня. Наверное, это был переломный момент нашей дружбы, когда Дин осознал, что я и в самом деле часами думаю о нем и его бедах, и теперь он пытался втиснуть этот факт в рамки своих страшно запутанных, вымученных мыслительных категорий. Что-то щелкнуло внутри нас обоих. Я вдруг ощутил беспокойство за парня, который на несколько лет моложе меня — на пять — и чья судьба все последние годы была тесно связана с моей; в нем же происходило нечто такое, о чем я смог бы судить лишь по дальнейшим его поступкам. Он высказал бурную радость и заявил, что все решено.

— Что значил этот взгляд? — спросил я.

Мои слова причинили ему боль. Он нахмурился. А хмурился Дин очень редко. Оба мы были расстроены, сбиты с толку. В тот чудесный солнечный день мы стояли на вершине холма в Сан-Франциско, и на тротуар падали наши тени. Из многоквартирного дома, стоявшего по соседству с домом Камиллы, вереницей высыпали одиннадцать греков



и гречанок, которые моментально выстроились на залитом солнцем тротуаре, а один из них попятился на другую сторону узкой улочки, наводя на них фотоаппарат и улыбаясь. Мы глазели на этих представителей древнего народа, которые играли свадьбу одной из своих дочерей, быть может тысячную в непрерывном чередовании смуглых поколений и улыбок на солнце. Они были хорошо одеты, они были нам чужими. Казалось, мы с Дином волшебным образом перенеслись на Кипр. Над головой, в искрящемся воздухе, парили чайки.

— Ну что, — еле слышно, робко произнес Дин, — мы едем?

— Да, — сказал я, — мы едем в Италию.

И мы подняли с земли свою поклажу: он, здоровой рукой, большой чемодан, я — все остальное, и потащились к остановке фуникулера. Через мгновение мы уже спускались с холма, устроившись на покачивающемся сиденье и болтая ногами над тротуаром, — два надломленных героя западной ночи.

Первым делом мы отправились в бар на Маркет-стрит, где обо всем и договорились — мы друзья до гроба и обязаны держаться вместе. Дин вел себя очень тихо и озабоченно разглядывал в пивной старых бродяг, которые напоминали ему отца.

— Наверняка он в Денвере, на этот раз мы обязательно должны его найти. Может, он в Окружной тюрьме, а может, снова крутится на Лаример-стрит, но разыскать его надо. Согласен?

Да, я был согласен. Мы собирались заняться всем, чего не сделали до сих пор, чего просто не могли сделать в прошлом, потому что были слишком глупы. Кроме того, перед отъездом мы решили повеселиться пару дней в Сан-Франциско, а ехать договорились, конечно, на машинах бюро путешествий с бензином на паях и экономить как можно больше денег. Дин объявил, что Мерилу ему больше не нужна, хотя он все еще ее любит. В конце концов мы сошлись на том, что в Нью-Йорке он найдет, с кем забыться.

Дин надел свой костюм в тонкую полоску и спортивную рубашку, за десять центов мы сунули наши пожитки в автоматическую камеру хранения на автовокзале и отправились на встречу с Роем Джонсоном, который на время двухдневных сан-францисских увеселений должен был стать нашим шофером. Его согласием мы заручились по телефону. Вскоре он подъехал на угол Маркет и Третьей и посадил нас в машину. Рой теперь жил в Фриско, ходил на службу и был женат на хорошенькой блондиночке по имени Дороти. Дин по секрету сообщил мне, что у нее слишком длинный нос — по непонятной причине, когда речь заходила о ней, он неизменно упирал именно на эту деталь, — однако нос ее вовсе не был таким уж длинным. Рой Джонсон — худой, смуглый, симпатичный малый с правильными чертами лица и гладко зачесанными за уши волосами. Он ревностно брался за любое дело, не переставая при этом широко улыбаться. Его жена Дороти, очевидно, повздорила с ним, не желая, чтобы он для нас шоферил, однако, исполненный решимости отстаивать свое право мужчины в доме (а жили они в маленькой комнатке), он не нарушил данного нам

обещания, правда, ссора эта не осталась без последствий: его умственная дилемма разрешилась горьким молчанием. Он возил нас с Динком по Фриско в любое время дня и ночи и ни разу не проронил ни слова. Все, что он делал, — это мчался на красный свет и совершал головокружительные повороты на двух колесах, что красноречивее всяких слов говорило о тех неурядицах, которые мы внесли в его жизнь. Он колебался, не зная, кому отдать предпочтение: молодой жене или старому главарю денверской тотализаторной шайки. Дин находился наверху блаженства и, конечно, нисколько не был смущен подобным вождением машины. Мы не обращали на Роя абсолютно никакого внимания и занимались только тем, что болтали на заднем сиденье.

Первым делом мы отправились в Милл-Сити разыскивать Реми Бонкура. Я с некоторым удивлением обнаружил, что в бухте уже нет старого корабля «Адмирал Фриби»; а потом, разумеется, оказалось, что и Реми уже нет в его непревзойденной по убогости лачуге на дне каньона. Вместо него дверь открыла красивая темнокожая девушка. Мы с Динком с ней разговорились. Рой Джонсон ждал в машине, уткнувшись в «Парижские тайны» Эжена Сю. Я последний раз взглянул на Милл-Сити и понял, что нет никакого смысла ворошить туманное прошлое. Взамен мы решили навестить Галатею Данкел и договориться с ней о ночлеге. Эд опять ее бросил, он был в Денвере, а она наверняка все еще лелеяла надежду заполучить его обратно. Мы обнаружили ее в четырехкомнатной квартире, которую она снимала в конце Мишн-стрит. Поджав ноги по-турецки, она сидела на восточного типа ковре с колодой гадальных карт в руках. Славная девушка. Я заметил печальные признаки того, что какое-то время Эд Данкел здесь жил, а потом, когда ему надоели оцепенение и бездействие, уехал.

— Он вернется, — сказала Галатея. — Без меня этот парень не сможет о себе позаботиться. — Она гневно посмотрела на Дина и Роя Джонсона. — На этот раз виноват Том Снарк. Пока он не заявился, Эд был просто счастлив, он работал, мы бывали в обществе и прекрасно проводили время. Тебе, Дин, это известно. Потом они стали часами просиживать в ванной — Эд в ванне, а Снарки на унитазах, и все говорили, говорили и говорили, несли какую-то несусветную чушь.

Дин рассмеялся. Долгие годы он был главным пророком этой шайки, а теперь его методам обучались остальные. Томми Снарк отрастил бороду и явился во Фриско высматривать Эда Данкела своими большими скорбными голубыми глазами, а самое главное заключалось в том, что (и это чистая правда) в Денвере в результате какого-то несчастья Томми потерял мизинец и к тому же собрал немалую сумму денег. Без всякой видимой причины они решили улизнуть от Галатеи и отправиться в Портленд, штат Мэн, где у Снарка, кажется, была тетушка. Так что сейчас они либо были в Денвере, либо уже добрались до Портленда.

— Когда у Тома кончатся деньги, Эд вернется, — сказала Галатея, глядя в свои карты. — Чертов идиот, он же ничего не знает, да и не знал никогда. А ведь ему надо понять только самую малость — то, что я его люблю.

Сидевшая на ковре Галатея была похожа на дочь тех греков с залитой солнцем фотокамерой, ее длинные волосы струились на пол, рассыпаясь по гадальным картам. Я почувствовал к ней симпатию. Мы даже решили вечером пойти послушать джаз, а Дин должен был прихватить с собой шестифутовую блондинку Мэри, которая жила на той же улице.

Вечером Галатея, я и Дин зашли за Мэри. У девушки были полуподвальная квартира, маленькая дочь и старая машина, которая еле передвигалась, и нам с Дином пришлось толкать ее по улице, пока девушка жала на стартер. Мы приехали к Галатее и там расселись — Мэри, ее дочь, Галатея, Рой Джонсон, его жена Дороти, — все угрюмые, в чересчур жестко набитых креслах. Я стоял в углу, сохраняя нейтралитет в проблемах Фриско, а Дин встал посреди комнаты, держа на уровне груди свой раздутый, словно воздушный шар, палец и хихикая.

— Черт подери, — сказал он, — все мы теряем пальцы... хо-хо-хо!

— Дин, почему ты так по-дурацки себя ведешь? — спросила Галатея. — Звонила Камилла, она сказала, что ты ее бросил. Ты что, не понимаешь — у тебя же дочь!

— Не бросал он ее, она сама его выгнала, — сказал я, нарушив свой нейтралитет.

Все с негодованием посмотрели на меня. Дин осклабился.

— Да и чего вы хотите от бедняги, когда у него такой палец? — добавил я.

Они не сводили с меня глаз, особенно хмуро и пристально взирала на меня Дороти Джонсон. Ну ни дать ни взять кружок кройки и шитья, в центре этого кружка — Дин, преступник, обвиняемый во всех мыслимых грехах. Я выпянул в окно на шумную вечернюю улицу Мишн; мне захотелось уйти, послушать великий джаз Фриско — не забывайте, начиналась всего лишь вторая моя ночь в городе.

— Я считаю, что Мерилу поступила очень мудро, бросив тебя, Дин, — сказала Галатея. — Ты уже давно лишился всякого чувства ответственности. Ты натворил столько ужасных вещей, что я просто слов для тебя не нахожу.

В том-то и заключалась суть дела, и все они сидели, мрачно и с презрением глядя на Дина, а он стоял среди них на ковре и хихикал — хихикал, и все. И еще пританцовывал. Повязка его была уже грязной, она ослабла и начала разматываться. Я вдруг осознал, что Дин благодаря своей нескончаемой серии грехов становится для всей честной компании Идиотом, Слабоумным, Святым.

— Тебя же ничего не интересует, кроме собственной персоны да еще твоих треклятых развлечений. Ты думаешь только о том, что болтается у тебя между ног, и как бы выжать из людей побольше денег и веселья, а потом ты этих людей просто отшвыриваешь. Да ты же одурел от такой жизни. Тебе и в голову не приходит, что жизнь — штука серьезная, что есть люди, которые пытаются прожить ее благопристойно и вовсе не желают валять дурака.

Да-да, вот кем был Дин — *святым дурачком*.

— Камилла все глаза себе выплакала, но не воображай, что она хочет тебя вернуть, она сказала, что не желает тебя больше видеть, сказала, что на этот раз все кончено. А ты только и знаешь, что стоять здесь и корчить дурацкие рожи, по-моему, у тебя просто нет сердца.

Это была неправда. Я знал это, я мог бы им всем об этом сказать, однако знал я и то, что они меня не услышат. Мне очень хотелось подойти к Дину, положить ему руку на плечо и сказать: «Послушайте, вы, запомните только одно: у этого малого есть и свои беды, и еще — он никогда не жалуется, и всем вам чертовски здорово живется только оттого, что он всегда остается самим собой, а если вам этого

недостаточно, то отправьте его на расстрел, что вам и без того не терпится сделать...»

Из всей честной компании одна Галатейя Данкел не боялась Дина, она сидела спокойно и, глядя ему прямо в глаза, отчитывала, при полном молчании остальных. В прошлом бывали дни, когда в Денвере все сидели со своими девушками в темноте, а Дин говорил и говорил — голосом в те времена гипнотическим и необыкновенным — и, по слухам, только силой убеждения и сутью своих слов заставлял девиц складывать оружие. Тогда ему было лет пятнадцать-шестнадцать. Теперь же его ученики переженились, и жены этих учеников вызвали его на ковер за сексуальность и тот образ жизни, который сложился с его помощью. Я слушал дальше.

— Теперь ты собрался с Салом на Восток, — сказала Галатейя, — и чего ты хочешь этим добиться? Камилле без тебя придется сидеть дома с ребенком — работать она больше не сможет, — а тебя она и видеть не желает, и я ее не виню. Если где-нибудь по дороге встретишь Эда, передай ему, чтоб возвращался ко мне, не то я его убью.

Вот так — просто и ясно. Это был очень грустный вечер. Мне казалось, что вместе с незнакомыми братьями и сестрами я попал в безрадостный сон. Все погрузилось в молчание. Некогда в подобной ситуации Дин наверняка разразился бы потоком слов, но теперь он тоже был нем как рыба и лишь стоял перед всеми — подавленный, оборванный и нелепый, стоял под самой люстрой, с покрывшимся потом и пульсирующими венами лицом и твердил: «Да, да, да» — словно на него теперь постоянно снисходили потрясающие откровения, а я уверен, что так оно и было, остальные тоже это подозревали и были напуганы. Он был *блаженным* — источником, духом Блаженства. Что познавал он? Он прилагал все силы, пытаясь поведать мне это, а они все мне из-за этого завидовали, завидовали моему положению при нем, тому, что я могу его защищать и упиваться им, как и сами они когда-то пытались делать. Они посмотрели на меня. Что я, чужак, делаю в эту чудесную ночь на Западном Побережье? От этой мысли мне стало тошно.

— Мы едем в Италию, — сказал я.

Мне все надоело, я попытался умыть руки. И тогда в комнате повеяло странным материнским удовлетворением, ведь девушки и

впрямь смотрели на Дина так, как мать смотрит на самого своего любимого и самого заблудшего ребенка, а ребенок этот, со своим жалким пальцем и всеми своими откровениями, прекрасно это знал и именно потому в нарушаемой лишь тиканьем часов тишине нашел в себе силы, не говоря ни слова, выйти из дома, чтобы внизу дожидаться момента, когда мы наконец вспомним о *времени*. Именно так мы и поняли этого призрак на тротуаре. Я выплянул в окно. Одинокое стоя в дверях, он оглядывал улицу. Горечь, взаимные упреки, советы, нравоучения, грусть — все это уже было для него позади, а впереди была глубокая и восторженная радость простого бытия.

— Галатея, Мэри, бросьте вы это дело, поехали лучше прошвырнемся по джазовым притонам. Когда-нибудь Дин умрет. Что вы ему тогда сможете сказать?

— Чем скорее он помрет, тем лучше, — сказала Галатея, и так считали почти все, кто был в комнате.

— Что ж, прекрасно, — сказал я, — но пока-то он жив, и, бьюсь об заклад, вы хотите знать, что он сделает в следующую минуту, а все потому, что он владеет тайной, которую всем нам не терпится раскрыть, от которой у него раскалывается башка, и не беспокойтесь — если он сойдет с ума, это будет не ваша вина, а вина Господа.

Тут они на меня ополчились; они заявили, что я совсем не знаю Дина что он — последний негодяй на свете и когда-нибудь я, к своему сожалению, это пойму. Меня забавляло то, как бурно они протестуют. Рой Джонсон встал на сторону дам и сказал, что знает Дина лучше других и что Дин — всего-навсего очень занятный и даже забавный мошенник. Я вышел на улицу, отыскал Дина, и мы перекинулись на этот счет парой слов.

— Брось, старина, не волнуйся, все просто великолепно. — Он почесывал живот и облизывал губы.

Девушки спустились вниз, и наше грандиозное ночное веселье началось с того, что нам вновь пришлось толкать машину.

— Ура! Поехали! — крикнул Дин, мы плюхнулись на заднее сиденье и с лязгом покатали в маленький Гарлем на Фолсом-стрит.

Выскочив из машины в теплую сумасшедшую ночь, мы услышали, как на другой стороне улицы оплустительно воет тенор-саксофон: «Ии-йя! Ии-йя! Ии-йя!», как хлопают в такт ладоши и народ орет: «Давай наяривай!» Дин уже мчался через улицу со своим устремленным ввысь пальцем и вопил: «Дуй, старина, дуй!» В первых рядах буянила компания цветных в вечерних костюмах. Это был сооруженный из прессованных опилок салун с маленькой эстрадой, на которой, не сняв шляп, сгрудились игравшие над головами публики музыканты. Казалось, это шаткое строение вот-вот развалится. По залу слонялись страшно вялые женщины, кое-кто из них — в купальных халатах, в проходах звенели бутылки. В глубине салуна, в темном коридоре у замызганных уборных стояли, прислонясь к стене, компании мужчин и женщин, они пили «винные сэндвичи» — смесь вина и виски — и поплевывали в сторону звезд. Нацепивший шляпу тенорист находился в апогее восхитительной импровизации — то набиравшего силу, то затихавшего риффа, который из «Ии-йя!» переходил в еще более безумное «Ии-ди-ли-йя!» и гремел под несмолкаемый грохот прожженных окурками барабанов, по которым колотил здоровенный звероподобный негр с бычьей шеей, ему было наплевать на все, лишь бы задать перцу своим измочаленным бочкам — трах, тарарах-бум, трах! — И буйство музыки, и сам саксофонист были на пределе, и все знали, что это — предел. Дин сунулся в толпу, а толпа сошла с ума. Все криками и бешеными глазами умоляли тенориста не сдаваться и продолжать, а тот приседал, вставал и вновь приседал, и из его инструмента вырывался и витал над царившим внизу исступлением отчетливый крик о помощи. У самого раструба саксофона гремела костями тощая шестифутовая негритянка, а он знай себе тыкал в нее своей дудкой: «Ии! Ии! Ии!»



Все раскачивались и ревели. Галатея и Мэри с кружками пива в руках влезли на стулья и принялись трястись и подергиваться. С улицы вваливались компании темнокожих парней, которые разве что в драку не лезли, чтоб пробиться поближе к эстраде.

— Давай, старина, держись! — громоподобным голосом проревел какой-то малый и издал оглушительный стон, который наверняка донесся до самого Сакраменто!

— Ух! — вымолвил Дин.

Он почесывал живот и грудь, с лица его струился пот. «Бум! Бум!» — ударник пинками загонял свои барабаны в подвал, а его смертоносные палочки возносили оглушительный ритм на второй этаж — трах-тарарах-бум! Какой-то толстяк прыгал по сцене, от чего та прогибалась и скрипела: «Видите, вот я каков!» Пианист попросту колотил растопыренными пальцами по клавишам, аккорды звучали в интервалах, когда тенорист переводил дыхание — невыносимые аккорды, сотрясавшие каждую деревяшку, каждую трещинку и струнку рояля, — жуть! Тенорист спрыгнул со сцены и играл, стоя в толпе. Шляпа сползла ему на глаза, кто-то ее поправил. А он отступил назад, топнул ногой, саксофон издал хриплый жалобный звук, тенорист перевел дыхание, снова поднес инструмент к губам, и зал огласился высокой, размашистой, щемящей мелодией. Дин стоял прямо перед ним, заглядывал в раструб саксофона, хлопал в ладоши, поливал потом клапаны, а парень это заметил и рассмеялся в свою дудку долгим, прерывистым, безумным смехом; тогда, не переставая раскачиваться, рассмеялись все, и парень решил наконец выдать все, на что способен, — он присел и ваял долгое «до», а прочие инструменты все грохотали, крики усилились, и я решил, что вот-вот ворвется толпа копов из ближайшего участка. Дин пребывал в трансе. Тенорист уже не сводил с него взгляда, он нашел сумасшедшего, который не просто постигает музыку, но страстно желает постичь больше, много больше, чем есть в ней на самом деле, и из-за этого между ними начался поединок. Звуки саксофона не были больше музыкальными фразами, теперь раздавались одни только вопли — от «А-аа-у» вниз к «Биип!», вверх к «ИИИ-ИИ!», снова вниз, к неизвестно откуда взявшимся нотам, а потом — к трубному гласу, которому со всех сторон вторило эхо. Тенорист перепробовал весь набор движений и поз: вверх, вниз, в стороны, вверх ногами,

горизонтально, тридцать градусов, сорок градусов, и, наконец, повалился спиной кому-то на руки и затих, а все пытались протиснуться к нему и орали: «Да! Да! Он это сыграл!» Дин утирался носовым платком.

Потом вновь тенорист поднялся на сцену, заказал медленный ритм, печально взглянул поверх голов в раскрытую дверь и запел «Закрой свои глазки». На минуту воцарилась тишина. На тенористе были ободранная замшевая куртка, пурпурная рубаша, мятые узкие брюки и потрескавшиеся башмаки; ему было наплевать, как он одет. Он был похож на Хассела, только чернокожего. Его большие карие глаза были полны печали, пел он неторопливо, с долгими, глубокомысленными паузами. Однако на втором куплете он разволновался, схватил микрофон и, спрыгнув со сцены, склонился над ним. Каждую ногу он тянул вверх до такой степени, что его начинало шатать, но в себя он приходил как раз к следующей неторопливой ноте. «Му-у-у-зыка звучи-и-и-и-и-и-т!» — опустив микрофон, он отклонился назад и запрокинул лицо к потолку. Он раскачивался и дрожал. Потом согнулся, едва не рухнув лицом на микрофон: «И на та-а-а-анец нас ма-а-а-нит!» — и он взглянул в сторону распахнутой на улицу двери, презрительно скривив губы в надменной усмешке Билли Холидей, — «в жизни сказка наста-а-а-анет» — его шатало из стороны в сторону, — «пра-а-аздник любви-и-и» — он покачал головой, выражая бесконечную усталость и отвращение ко всему на свете, — «нам покажется» — чем он покажется? все ждали; он горестно продолжил: «счастьем». Прозвучал аккорд рояля. «Ты, малютка моя, лишь закро-о-о-ой свои гла-а-а-азки» — губы его задрожали, он посмотрел на нас, на меня и на Дина, и взгляд его, казалось, говорил: «Эй, что это мы делаем тут, в этом печальном сумеречном мире?» — а потом его песня подошла к концу, и чтобы ее закончить, ему потребовались такие тщательные приготовления, за время которых Гарсиа успел бы получить дюжину облетевших вокруг света донесений, но кому было до этого дело? Ведь мы попали в самое пекло преисподней обездоленных и блаженных, в беспросветные закоулки рода человеческого, вот он и говорил нам своей песней: «Закрой... свои...» — и голос его возносился к потолку и сквозь потолок — к звездам, и еще выше — «гла-а-а-а-азки», — а закончив, пошатываясь спустился со сцены, чтобы предаться своим

скорбным раздумьям. Он подошел к компании парней в углу и сел, не обращая на них ни малейшего внимания. Опустив голову, он плакал. Он был самым великим.

Решив поговорить с ним, мы с Дином привели его в машину. Там он неожиданно заорал:

— Да! Люблю погулять на славу! Куда едем?!

Дин ерзал на сиденье и маниакально хихикал.

— Подождите! Подождите! — сказал тенорист. — Сейчас я вызову своего мальчика, и он отвезет нас в «Приют Джемсона» — я должен петь. Я живу, чтобы петь, ребята. Вот уже две недели пою «Закрой глазки» — и больше ничего петь не желаю. А у вас, ребята, какие планы? — Мы ответили, что через два дня едем в Нью-Йорк. — Боже праведный, там я еще не был, городишко, говорят, что надо! Правда, мне и здесь жаловаться не на что. Я ведь женат.

— Вот как? — оживился Дин. — А где же милашка?

— Что ты имеешь в виду? — Тенорист покосился на Дина. — Разве я не сказал, что женат на ней?

— Конечно, конечно, — сказал Дин. — Я ведь только спросил. Может, у нее есть подружки? Или сестрички? Пойми, мне просто нужна девочка.

— Да что толку в этих девицах — жизнь слишком грустная штука, чтобы прожигать ее и растрачивать на кутежи, — сказал тенорист, угрюмо глядя на улицу. — Дер-рррь-мо! У меня нет денег, но сегодня мне на это плевать.

Мы вернулись в салун. Девушки были так возмущены нашей беготней и исчезновениями, что ушли, отправившись в «Приют Джемсона» пешком; да и машину было уже не завести. Внутри нашим глазам предстало жуткое зрелище: недавно появившийся помешанный на джазе белый педик в гавайской рубахе упрашивал дюжего барабанщика уступить ему место. Музыканты смотрели на него с недоверием.

— А ты играешь?

Поломавшись, тот ответил, что играет. Они переглянулись:

— Да, да, до чего дошел парень — дер-рррь-мо!

И принялись играть зажигательный ритм, педик уселся за бочки и начал постукивать по ободкам нелепыми мягкими щеточками для «бопа», мотая головой в том райховском экстазе самолюбования,



— Да это же Карло Маркс! — вскричал, перекрывая неистовство, Дин.

И верно. У бабушкиного внука с перебинтованным альтом были сверкающие глазки-бусинки и тонкие кривые ножки. С дудкой в руках он подскакивал, плюхался на колени и дрыгал ногами, не сводя при этом пристального взгляда с публики (а публика смеялась, рассевшись за дюжиной столиков в комнатке тридцать на тридцать футов, с низким потолком) и ни на секунду не замерев на месте. Он находил прелесть новизны в каждой новой незамысловатой вариации темы. Начав с «та-тап-тадер-рара... та-тап-тадер-рара», он повторялся, увеличивал темп и, награждая свою дудку улыбками и поцелуями, переходил к «та-тап-ИИ-да-де-дера-РАП! та-тап-ИИ-да-де-дера-РАП!» — и для него, и для всех, кто слушал, это были великие мгновения согласия и смеха. Его звонкий, чистый, высокий звук несся прямо нам в лицо с расстояния в два фута. Дин стоял перед ним, склонив голову и позабыв обо всем на свете. Сплетя пальцы рук, он раскачивался на каблуках, а пот, всегдашний пот, струился и брызгал с его многострадального воротника, собравшись у ног в настоящую лужу. Были там и Галатее с Мэри, но дошло это до нас лишь минут через пять. Ах, ночи Фриско, конец континента и конец сомнениям — прощайте, все дурацкие сомнения и прочий вздор, прощайте! Абажур носился по зальчику с уставленными пивом подносами. Что бы он ни делал, все попадало в ритм; в такт музыке он орал официантке: «Эй, малютка, дай дорогу, дай дорогу Абажуру!» — и с пивом над головой вихрем мчался мимо нее, уносился сквозь двухстворчатые двери на кухню, отплясывал там с поварами и, обливаясь потом, возвращался назад. Наш саксофонист абсолютно неподвижно сидел за угловым столиком. Не притронувшись к выпивке, он тупо уставился в пространство, руки повисли плетями и едва не касались пола, расставленные ступни напоминали высунутые языки, тело съежилось, и весь вид его говорил о предельной усталости, о скорбном оцепенении и обо всей той тяжести, что томила его душу: каждый вечер этот малый доводил себя до изнеможения, а ночью получал последний, смертельный удар от других. Вокруг него все кружилось вихрем. А коротконогий бабушкин альт-саксофонист, этот маленький Карло Маркс, все скакал и кривлялся со своей волшебной дудкой в руках; он сыграл уже две сотни блюзовых тем, одна неистовей другой,

и никаких признаков упадка сил, никакого желания хоть где-то поставить точку. Зальчик ходил ходуном.

На углу Четвертой и Фолсом, часом позже, я стоял с Эдом Фурнье, альт-саксофонистом из Фриско, который ждал вместе со мной, пока Дин из пивной вызывал по телефону Роя Джонсона. Вспоминать тут в общем-то не о чем, мы просто стояли и разговаривали, вот только нашим глазам вдруг предстало невероятно безумное зрелище. Это был Дин. Он хотел дать Рою Джонсону адрес бара, поэтому велел ему обождать минуту у телефона и побежал взглянуть на указатель, а чтобы это сделать, ему надо было очертя голову промчаться через длинный зал, полный шумных пьяниц в белых рубашках, добежать до середины улицы и посмотреть на прибитую к столбу табличку. Все это он проделал в стиле Гручо Маркса: припал чуть ли не к самой земле, ноги с поразительной быстротой вынесли его из бара — привидение с торчащим в ночи шарообразным большим пальцем, — посреди дороги он резко затормозил и в поисках указателя завертел головой. В темноте он не сразу заметил табличку и описал на мостовой дюжину кругов — с поднятым вверх пальцем, в бешеном, тревожном молчании, — взлохмаченный тип с устремленным в небеса громадным воздушным шаром-пальцем, он вертелся во тьме, растерянно сунув другую руку в штаны. Эд Фурнье продолжал свою речь:

— Я всюду играю легкий джаз, и если это кому-то не нравится, ничем помочь не могу. Слушай, старина, не иначе этот твой дружок — натуральный псих, посмотри-ка на него.

И мы посмотрели. В звонкой всеобщей тишине Дин, разглядев табличку, снова ворвался в бар, проскочив чуть ли не между ног выходящих оттуда людей, и так резво пронесся через весь зал, что с первой попытки его просто невозможно было увидеть. Мгновением позже появился Рой Джонсон, и с такой же поразительной скоростью Дин плавно пересек улицу и без единого звука скользнул в машину. Мы вновь тронулись в путь.

— Знаю, знаю, Рой, мы у вас с женой уже в печенках сидим, но сейчас у нас просто нет другого выхода, кроме как совершить чудо и за три минуты добраться до угла Сорок шестой и Гири, иначе все пропало. Хм! Да! (Кхе-кхе.) Утром мы с Салом уезжаем в Нью-Йорк и

уж последнюю ночь хотим погулять на славу, ты ведь не против, я знаю.

Нет, Рой Джонсон был не против, он лишь мчал на каждый красный свет, который только в состоянии был отыскать, второпях увозя нас в наше безрассудство. На рассвете он уехал отсыпаться. А мы с Дином в конце концов сошлись с чернокожим малым по имени Уолтер, который заказал в баре выпивку и, выстроив стаканы в ряд, произнес: «Винный сэндвич!» — что означало порцию портвейна, порцию виски и еще одну порцию портвейна.

— Вот теперь это гнусное виски попало в славный переплет! — крикнул он.

Он пригласил нас к себе на бутылочку пива. Жил он в многоквартирном доме на задворках Ховард-стрит. Когда мы вошли, его жена спала. Если не считать лампочки над ее кроватью, в квартире не было никакого света. Пришлось влезть на стул и вывернуть лампочку, а она лежала и улыбалась. В смущении отводя от нее взгляд, это проделал Дин. Она была лет на пятнадцать старше Уолтера и вдобавок милейшей женщиной на свете. Вывернув лампочку, мы еще должны были воткнуть над ее кроватью удлинитель, а она все улыбалась и улыбалась. Она так и не спросила Уолтера ни где тот пропал, ни который час — ничего. Наконец мы провели удлинитель на кухню и уселись за простенький столик выпить пива и поболтать. Взошло солнце. Настало время уходить, и теперь надо было отнести удлинитель в спальню и вернуть лампочку обратно. Пока мы вновь проделывали все эти идиотские манипуляции, жена Уолтера не переставала улыбаться. Она так и не произнесла ни слова. На рассвете, выйдя на улицу, Дин сказал:

— Вот тебе, старина, *настоящая* женщина. Ни одного грубого слова, никакого намека на недовольство. Ее старик может заявиться домой в любое время ночи, привести с собой кого угодно и сидеть пить пиво на кухне, а потом еще уйти — хоть под утро. Вот тебе настоящий мужчина, а вот — его крепость. — Он показал на дом.

Мы потащились прочь. Кончилось ночное веселье. Несколько кварталов нас подозрительно сопровождала полицейская машина. В булочной на Третьей улице мы закупили свежих жареных пирожков и там же, на унылой глухой улочке, их съели. Мимо проковыляли высокий, прилично одетый очкарик и негр в фуражке водителя

грузовика. Парочка была довольно странная. Их обогнал большой грузовик, негр показал на него пальцем и принялся что-то с чувством доказывать. Высокий белый отвернулся и украдкой пересчитал свои деньги.

— Да это же Старый Буйвол Ли! — Дин хохотнул. — Считает свои денежки и волнуется по любому поводу, а тот, другой, только и знает, что болтать о грузовиках и прочей ерунде.

Какое-то время мы шли за ними.

Плывущими в воздухе святыми цветами были все эти усталые лица на заре Джазовой Америки.

Нам было необходимо поспать. О том, чтобы сделать это у Галатеи Данкел, не могло быть и речи. У Дина был знакомый железнодорожный тормозной кондуктор по имени Эрнест Берке, который жил с отцом в гостинице на Третьей улице. Когда-то Дин водил с ним дружбу, но в последнее время отношения испортились, и план наш состоял в том, что я должен добиться разрешения переночевать у них на полу. Все это было страшно неприятно. Мне пришлось звонить из утренней закуской. Сначала старик отнесся к моей просьбе с недоверием. Однако вспомнил, что сын что-то ему обо мне рассказывал. К нашему удивлению, он спустился в вестибюль и проводил нас в номер. Это была ничем не примечательная, унылая, старая и дешевая сан-францисская гостиница. Мы поднялись наверх, и старик расщедрился настолько, что предоставил в наше распоряжение всю кровать.

— Мне все равно пора вставать, — сказал он и ретировался на маленькую кухоньку варить кофе.

При этом он повел рассказ о временах, когда работал на железной дороге. Старик напоминал мне моего отца. Я не ложился и все слушал его истории. А Дин, не слушая, почистил зубы и принялся суетливо бегать по комнате, едва ли не после каждого слова старика вставляя: «Да, вот именно!» Наконец мы уснули, а утром вернулся из рейса по Западной дороге Эрнест. Он занял кровать, а мы с Дином встали. Старый мистер Берке уже прифрантился к свиданию со своей пожилой возлюбленной. Он надел зеленый твидовый костюм, матерчатую кепку, тоже зеленого твида, и воткнул в петлицу цветов.

— У этих романтических потасканных сан-францисских железнодорожников своя особая, грустная, но бурная жизнь, — сказал



я Дину в уборной. — Он просто молодец, что пустил нас переночевать.

— Да, да, — не слушая, сказал Дин.

Он помчался в бюро путешествий заказывать машину. Моей задачей было сгонять за вещами к Галатее Данкел. Она сидела на полу со своими гадальными картами.

— Ну, прощай, Галатея, надеюсь, все образуется.

— Когда Эд вернется, я каждый вечер буду водить его в «Приют Джемсона», пускай набирает свою дозу безумия. Как ты думаешь, Сал, это поможет? Прямо не знаю, что делать.

— А что говорят карты?

— Туз пик от него далеко. Все время его окружают черви — червонная дама постоянно поблизости. Видишь этого пикового валета? Это Дин, он всегда рядом.

— Через час мы уезжаем в Нью-Йорк.

— Когда-нибудь Дин отправится в одну из своих поездок и больше уже не вернется.

Она позволила мне принять душ и побриться, потом я распрощался с ней, отнес вещи вниз и остановил сан-францисское маршрутное такси. Это обычное такси, только ходит оно по регулярному маршруту, его можно остановить на любом углу и центов за пятнадцать доехать до любого другого угла; пассажирами оно забито, словно автобус, но болтовня и шутки там звучат, как в частной машине. В тот последний день во Фриско Мишн-стрит была сплошным буйством строительных работ, детских игр, громких выкриков идущих с работы негров, пыли, возбуждения — оплунительного гула и неумолчного рокота города, самого взбудораженного города Америки; а над головой — чистое голубое небо; и еще восторг от затянутого туманом моря, чьи волны каждую ночь накатываются на берег, чтобы пробуждать у всех аппетит и жажду новых возбуждений. Мне жутко не хотелось уезжать, я пробыл там чуть больше шестидесяти часов. С неистовым Дином я мчался по свету, лишенный всякой возможности хоть что-то разглядеть. Днем мы уже неслись в сторону Сакраменто — вновь на восток.

Автомобиль принадлежал длинному тощему педерасту, который ехал домой в Канзас. Нацепив темные очки, он с величайшей осторожностью вел машину, которую Дин окрестил «педик-плимутом»; у нее не было ни кузова-пикапа, ни по-настоящему мощного двигателя.

— Женоподобный автомобильчик! — прошептал мне на ухо Дин.

С нами ехали еще два пассажира — семейная парочка, типичные недоделанные туристы, которым на каждом шагу хотелось остановиться и заночевать. Первой остановкой должен был стать Сакраменто, а его и началом пути в Денвер не назовешь. Мы с Дином устроились вдвоем на заднем сиденье и, оставив им их проблемы, принялись болтать.

— Слушай, старина, у вчерашнего альтиста было *это* — он это нашел и сразу ухватил. Я еще не встречал парня, который может так долго это удерживать.

Мне стало любопытно, что такое «*это*».

— Ну и ну, — рассмеялся Дин, — да разве на такой вопрос ответишь... хм! Вот пришел парень, собрались и все остальные, так? Ему надо выразить, что творится у каждого из них в душе. Он начинает первую тему, потом подкрепляет ее новыми идеями, народ кричит «да, да!» — и все принимает, а он вдруг возносится до уровня собственной судьбы и уже не имеет права опускаться ниже. И тут, нежданно-негаданно, во время одного из пассажей он *это схватывает* — все это чувствуют и замирают. Они слушают, а он уловил *это* и уже не теряет. Время останавливается. Он наполняет пустое пространство истинным смыслом нашей жизни, исповедью своего страждущего нутра, воспоминаниями об утерянных замыслах, старой игрой на новый лад. Своей игрой он должен наводить мосты и переходить их туда и обратно, да при этом еще и докапываться до каждой души и делать это с таким непостижимым ощущением мелодического настроения каждого мгновения, что все понимают: не в мелодии тут вовсе дело, а в *этом*... — Продолжить Дин не смог он уже давно обливался потом.

Тогда заговорил я. Ни разу в жизни я не говорил так много. Я рассказал Дину о том, как ребенком, когда меня возили на машине, воображал себе, будто в руке у меня большая коса и я срубая все столбы и деревья, а то и кромсаю на куски каждый проносящийся за окном холм.

— Да! Да! — завопил Дин. — Я тоже это делал, только другой косой — и вот почему. При поездках по Западу с его бескрайними просторами моя коса должна была быть неизмеримо длиннее, ей надо было зацепить дальние горы, срезать их верхушки, потом добраться до других мест, до еще более далеких гор, а заодно состричь все столбы вдоль дороги, те жерди, что непрерывно мелькают за окном. Вот поэтому... ах, старина, я просто обязан рассказать. *Вот!* Я ухватил *это*... я обязан рассказать тебе о том, как мы с отцом и одним зассыхой с Лаример-стрит в самый разгар депрессии отправились в Небраску продавать хлопущки для мух. А делали мы их так: покупали куски обыкновенной старой сетки от насекомых, куски проволоки, которую сплетали вдвое, и кусочки красно-синей ткани, чтоб обшить концы, и все это за гроши, в дешевых лавчонках, и делали тысячи мухобоек, запихивали их в колымагу этого старого бродяги, ездили по всей Небраске, заглядывали в каждый фермерский дом и продавали по пять центов за штуку — чаще всего эти пятицентовики давали просто из сострадания к нам, двум нищим и мальчику, бесприютным невинным душам, а старик мой в те дни все время напевал «Аллилуйя, нищий я, нищий я опять». А теперь, старина, послушай: после целых двух недель невероятных лишений, гонок по ухабам и суеты на жаре ради того, чтобы сбыть эти никуда не годные самодельные хлопущки, они затеяли ссору из-за дележа выручки, жестоко подрались на обочине дороги, потом помирились, накупили вина и начали это вино пить, и не останавливались пять дней и пять ночей, а я все это время сидел и ревел на заднем плане, и когда они выдохлись, промотав все до последнего цента, мы очутились там, откуда пришли, — на Лаример-стрит. И моего старика арестовали, а мне пришлось идти в суд и умолять судью отпустить его, потому что он мой папаша, а матери у меня нет. Сал, когда мне было восемь лет, я произносил перед пристрастными юристами длинные, тщательно продуманные речи... — Нам было жарко; мы ехали на восток; мы были взволнованы.

— Я хочу еще рассказать, — произнес я, — точнее, добавить кое-что к твоим словам и закончить свою последнюю мысль. Ребенком, развалясь на заднем сиденье отцовской машины, я еще представлял себе, что скачу рядом на белом коне и преодолеваю на своем пути все препятствия: проношусь между столбами, на всем скаку объезжаю дома, а то и перепрыгиваю через них, если замечаю слишком поздно, скачу по холмам, пересекаю неизвестно откуда взявшиеся площади, где приходится невероятным образом лавировать в потоке машин...

— Да! Да! Да! — восторженно выдохнул Дин. — И со мной происходило то же самое, только бежал я сам, у меня не было коня. Ты ведь рос на Востоке, вот и мечтал о лошадях. Конечно, мы в подобные вещи не очень-то верим, ведь мы оба знаем, что все это чепуха и литературщина, но только в своей, быть может, еще более буйной шизофрении я именно *бежал* рядом с машиной, да еще с невероятной скоростью, даже под девяносто, перескакивал через все кусты, заборы и фермерские домики, а иногда срывался в сторону холмов и возвращался на то же место, не потеряв ни секунды...

Мы болтали без умолку и оба обливались потом. За разговором мы совсем забыли о сидящих впереди, а те уже начали прислушиваться к тому, что творится на заднем сиденье. Наконец водитель сказал:

— Ради всего святого, вы же сзади лодку раскачиваете!

Он был прав; машину болтало из стороны в сторону оттого, что мы с Дином раскачивались, повинуюсь ритму и *этому* своего высшего радостного упоения разговором и тем, что мы живы, покуда не иссякнут окончательно в последнем самозабвенном порыве все бессчетные мелкие, но неодолимые и священные подробности, которые всю жизнь таятся в наших душах.

— Ах, старина! Старина! Старина! — стонал Дин. — И это еще даже не начало... наконец-то мы вместе едем на восток, Сал, подумать только, мы с тобой пошляемся по Денверу и увидим, чем они там все занимаются, хоть нас это и не слишком волнует, ведь главное — мы знаем, что такое *это*, знаем, что такое *время*, и знаем, что все просто *великолепно!* — Потом он схватил меня за рукав и, обливаясь потом, зашептал: — Ты только полюбуйся на этих, впереди. У них свои заботы, они считают мили, думают о том, где бы сегодня переночевать и сколько платить за бензин, а еще о погоде и о том, как

бы добраться до места — а они-то уж точно доберутся. Но им просто необходимо волноваться и обманывать время дутыми неотложными делами, а иначе их жалкие суетные душонки так и не найдут покоя, им непременно нужно ухватиться за прочную и проверенную заботу, а уж если они ее отыщут, тут же принимают несчастный вид и так с ним и ходят, с этим понурым видом, он так и витает над ними, и они это знают, и это их *тоже* заботит, и так без конца. Слушай! Слушай! «Даже не знаю, — изменив голос и гримасничая, произнес он, — может, не стоит заправляться на этой станции. На днях я прочел в „Нэшнл Петроффиус Петролеум Ньюс“, что в этом сорте бензина полно октановой хреновины, а еще кто-то как-то мне сказал, что в нем даже есть какой-то левый высокочастотный *член*. Не знаю, не знаю, как бы то ни было, мне это не по душе...» Только врубись, старина! — Чтобы до меня получше дошло, Дин яростно тыкал меня в бок. А я и без того что было сил старался понять. С заднего сиденья только и неслось, что трах-тарарах и «Да! Да! Да!», а сидевших на переднем перекосило от страха, они от души жалели, что взяли нас с собой в бюро путешествий. И это тоже было всего лишь начало.

В Сакраменто педик явно с дальним прицелом снял номер в гостинице и пригласил нас с Дином выпить. Семейная парочка отправилась ночевать к родственникам. В номере Дин перепробовал все мыслимые способы вытянуть из педика деньги. Все его попытки были сплошным безрассудством. Педик начал с того, что он страшно рад нашему приходу, потому что ему нравятся такие молодые люди, как мы, к тому же, хоть это и звучит невероятно, ему совсем не нравятся девушки, и недавно во Фриско он порвал с одним парнем, парень тот исполнял роль женщины, а сам он — мужчины. Дин засыпал его деловыми вопросами и энергично кивал. Педик сказал, что больше всего на свете хочет знать, что думает обо всем этом Дин. Сообщив предварительно, что когда-то в юности и сам был не прочь на этом подзаработать, Дин спросил педика, сколько у него денег. Я в этот момент был в ванной. Педик тут же помрачнел и умолк, по моему, он начал догадываться о том, что у Дина на уме. Денег он никаких не дал и лишь что-то смутно пообещал насчет Денвера. К тому же он то и дело пересчитывал свои деньги и проверял, на месте ли бумажник. Дин потерял терпение и сдался.

— Видишь ли, старина, все это впустую. Стоит им только предложить именно то, чего они втайне желают, как они тут же начинают паниковать.

И все-таки Дину удалось покорить владельца «плимута» настолько, что тот без особых уговоров позволил ему сесть за руль, и теперь мы путешествовали по-настоящему.

На рассвете мы выехали из Сакраменто и в полдень пересекали пустыню Невада, успев к тому времени стремительно одолеть Сьерры, где педикю и туристам пришлось цепляться друг за друга на заднем сиденье. Мы были впереди, мы взяли власть в свои руки. Дин снова был счастлив. Все, что ему было нужно, — это руль в руках и четыре колеса на дороге. Он рассказал о том, как плохо водит машину Старый Буйвол Ли, не преминув проиллюстрировать свой рассказ примерами:

— Если впереди маячил громадный грузовик, вон как тот, Буйволу требовалась уйма времени, чтобы его заметить, он ведь ничего *не видит*, старина, совсем ничего. — Для пущей убедительности он принялся бешено тереть глаза. — Я ему говорю: «Эй, осторожно, Буйвол, грузовик», а он отвечает: «А? Ты что-то сказал, Дин?» Грузовик, говорю, грузовик! И тогда, *в самый последний момент*, он напрямик на этот грузовик и поворачивает, вот так... — И Дин бросил «плимут» вперед, прямо на мчавшийся на нас грузовик, мгновение помешкал перед ним, вихляя передними колесами, перед глазами у нас выросло серое лицо водителя, люди на заднем сиденье умолкли, задохнувшись от ужаса, и в последнее мгновение Дин вывернул машину. — Вот так, ясно? Точно так же. Совершенно не умеет водить машину.

Я совсем не испугался; я знал Дина. А пассажиры на заднем сиденье лишились дара речи. Они даже не посмели выразить недовольство: одному Богу известно, что еще натворит Дин, подумали они, если они начнут роптать. Вот так он и прокатил через всю пустыню, демонстрируя всеми возможными способами, как не надо водить машину, как в свое время гонял на старых колымагах его отец, как преодолевают виражи великие водители, как никудашные водители слишком резко выворачивают руль в начале и как из-за этого им приходится воевать с ним в конце виража, и так далее. Был жаркий солнечный день. Рино, Бэтл-Маунтин, Элко — все городки вдоль Невадской дороги, один за другим, проносились за окошком, и в

сумерках мы очутились на равнинах Соляного озера, а чуть ли не в сотне миль от нас, за миражом равнин, едва заметно замерцали огоньки Солт-Лейк-Сити, они раздваивались, и те, что возвышались над выпуклостью земли, были светлее тех, что оставались ниже. Невозможно увидеть, сказал я Дину, того, что связывает нас всех друг с другом в этом мире, и в подтверждение своей мысли показал на бесконечную вереницу телеграфных столбов, которая исчезала из поля зрения, скрываясь за громадой сотни соляных миль. Размотавшийся бинт Дина, уже весь грязный, трепетал на ветру, а лицо его так и светилось.

— О да, старина! Боже милостивый, да, да!

Вдруг он остановил машину и затих. Я взглянул на него и увидел, что он спит, свернувшись калачиком в углу сиденья. Лицом он уткнулся в здоровую руку, а перевязанная, непроизвольно послушная долгу, оставалась на весу.

Позади раздались вздохи облегчения. Я услышал, как там шепотом затевают бунт.

— Нельзя его больше сажать за руль, он же ненормальный, наверняка его выпустили из сумасшедшего дома.

Я встал на защиту Дина и, повернувшись к ним, сказал:

— Никакой он не сумасшедший, все с ним будет в порядке, можете не волноваться. На всем белом свете никто не водит машину лучше.

— Я этого больше не вынесу, — едва сдерживая истерику, шепотом произнесла девушка.

Я откинулся на спинку сиденья и, наслаждаясь тем, как опускается на пустыню ночь, стал ждать, когда проснется бедное дитя, Ангел Дин. Мы находились на холме, возвышавшемся над тонкими световыми узорами Солт-Лейк-Сити, и, открыв глаза, Дин увидал то самое место этого призрачного мира, где много лет назад, чумазый и безымянный, он появился на свет.

— Сал, Сал, пляди-ка, здесь я родился, подумать только! Люди меняются, они год за годом уплетают свою еду и с каждой едой меняются. Э-эх! Гляди-ка!

Он был так взволнован, что я и сам едва не расплакался. К чему это все приведет? Туристы потребовали, чтобы им дали довести машину до Денвера. Что ж, нам было все равно. Мы уселись сзади и

разговорились. Однако к утру они выдохлись, и в восточной части пустыни Колорадо, у Крейга, за руль сел Дин. Почти всю ночь мы с величайшей осторожностью ползли через Земляничный перевал в Юте и потеряли уйму времени. Туристы уснули. Дин очертя голову ринулся в сторону величественной стены перевала Бертод, стоявшей в сотне миль впереди, на крыше мира, — гигантские крепостные ворота, окутанные облаками. Он перепорхнул через Бертодский перевал, словно майский жук, — а заодно одолел и Техачапи, выключив мотор и плавно скользнув вниз, обгоняя всех и каждого, ни на мгновение не прервав ритмичного продвижения вперед, о котором заботились сами горы, и вскоре мы вновь оказались над бескрайней знойной равниной Денвера — и Дин был дома.

С нескрываемым облегчением наши спутники высадили нас на углу 27-й и Федерал. Вновь были вывалены на тротуар наши потрепанные чемоданы; нас ждали еще более дальние дороги. Но не беда, дорога — это жизнь.



В Денвере надо было решить кое-какие мелкие проблемы, причем совсем другого рода, нежели те, что были у нас в 1947 году. Мы могли либо сразу взять машину в бюро путешествий, либо несколько дней погулять в Денвере, а заодно и попытаться найти Динова отца.

Оба мы были измучены и грязны. В ресторанной уборной я встал у писсуара, преградив Дину путь к умывальнику, отошел, не закончив, возобновил свое дело у другого писсуара и сказал Дину:

— Видал фокус?

— Да, старина, — сказал он, намыливая руки, — это очень хороший фокус, но он опасен для почек, к тому же всякий раз, как ты его проделываешь, ты заодно немного стареешь и в старости в конце концов наживешь годы мучений, будешь сидеть в сквериках и страдать от жутких почечных колик.

Тут я взбеленился.

— Кто это старый?! По-твоему, я намного старше тебя?!

— Этого я не говорил, старина!

— Ага, — сказал я, — ты только и знаешь, что отпускать шуточки по поводу моего возраста. Я тебе не какой-нибудь старый педераст, вроде того гомика, за мои почки можешь не волноваться.

Мы вернулись за столик, и когда официантка подала сэндвичи с ростбифом, а Дин, по обыкновению, с жадностью набросился на еду, я, не в силах сдержать раздражения, сказал:

— И больше не желаю об этом слышать!

И вдруг на глаза Дина навернулись слезы, он встал и, позабыв о дымящейся на столе еде, вышел из ресторана. Я решил, что он больше не вернется, но был так взбешен, что меня это ничуть не тревожило, — на мгновение я попросту спятил, и это обернулось против Дина. Однако от вида брошенной им еды мне стало грустно так, как не было долгие годы. Я не должен был этого говорить... он так любит поесть... Впервые он так бросает еду... Ах черт! Во всяком случае, этот его поступок говорит о многом.

Дин постоял на улице ровно пять минут, а потом вернулся и сел.

— Ну, — сказал я, — и что же ты там делал? Сжимал кулаки? Ругал меня, сочинял новые шуточки на предмет моих почек?

Дин молча покачал головой.

— Нет, старина, нет, ты очень ошибаешься. Если уж хочешь знать...

— Ну, рассказывай. — Все это я говорил, не поднимая глаз от тарелки. Я чувствовал себя последней скотиной.

— Я плакал, — сказал Дин.

— Черт подери, ты же никогда не плачешь!

— Ты так думаешь? С чего ты взял, что я никогда не плачу?

— Да откуда у тебя такие смертные муки, чтоб плакать? — Каждое слово причиняло невыносимую боль мне самому. Всплывало наружу все, что я некогда затаил против своего брата: выплескивалась вся склочность, вся мерзость, что скрывалась до поры в глубинах моей гнусной природы.

Дин снова покачал головой:

— И все же, старина, я плакал.

— Да ладно, бьюсь об заклад, ты так раскипятился, что просто не мог не выйти.

— Поверь, Сал, прошу тебя, поверь, если ты мне когда-нибудь хоть чуточку верил.

Я знал, что он говорит правду, и все-таки не желал взглянуть этой правде в глаза. А когда поднял наконец взгляд на Дина, то едва не окосел от жуткого заворота кишок. И понял, что я не прав.

— Ах, Дин, прости, старина, я еще ни разу так себя с тобой не вел. Что ж, теперь ты знаешь. Ты знаешь, что у меня больше ни с кем нет близких отношений — я попросту не умею их беречь. Все, что я имею, я сжимаю в кулаке, словно это зерна, вот только не знаю, где их посеять. Ну да ладно, забудем. — Святой мошенник приступил к еде. — Это не моя вина! Не моя! — сказал я ему. — Ни в чем, что творится в этом паршивом мире, моей вины нет, разве ты не видишь? Я не желаю, чтобы эта вина была, ее не может быть, и ее не будет!

— Да, старина, да. И все-таки ты должен мне верить.

— Я верю тебе, верю.

Такова печальная повесть о том дне, а вечером, когда мы с Дином отправились погостить у семейства странствующих сезонников, начались жуткие осложнения.

Двумя неделями раньше, во время своего денверского уединения, я жил по соседству с этими людьми. Мать была удивительной женщиной в джинсах, она водила по заснеженным горам грузовички с углем, чтобы прокормить детишек, их было четверо. Муж бросил ее несколько лет назад, когда они в жилом прицепе ездили по стране. В этом прицепе они путешествовали от Индианы до Лос-Анджелеса. После буйного веселья, обильной воскресной выпивки в придорожных барах, после громкого смеха и гитарной игры в ночи этот неотесанный детина скрылся вдруг в темном поле и больше не вернулся. У нее росли замечательные дети. Старший мальчик в то лето был отправлен в горный лагерь; очаровательная тринадцатилетняя дочь писала стихи и мечтала стать голливудской актрисой; ее звали Джэнет; остальные были малышами: Джимми, который ночами сидел у костра и со слезами на глазах выпрашивал не успевшую и наполовину спечься «картофку», и Люси, которая пыталась приручить червей, бородавчатых жаб, жуков — все, что ползает, — нарекала их именами и сооружала им жилье. У них было четыре собаки. Свою суматошную и счастливую жизнь семья вела на маленькой, недавно заселенной улочке, и лишь потому, что бедную женщину бросил муж, да еще потому, что они захламляли двор, они служили предметом насмешек для имевших свои понятия о приличиях полуреспектабельных соседей. Ночами огни Денвера, образуя громадное кольцо, устилали лежавшую внизу равнину, ведь дом стоял в той части Запада, где к равнине спускаются подножия гор, которые в первобытные времена омывались, должно быть, кроткими волнами безбрежной, как море, Миссисипи, сотворившими безупречно гладкие основания для таких островов-пиков, как Эванс, Пайк и Лонгз. Едва Дин попал в этот дом, как его, разумеется, прошиб пот восторга, особенно при виде Джэнет, к которой я ему заранее запретил даже притрагиваться, хотя запрет этот, быть может, и был излишним. Хозяйка была просто находкой для любого мужчины, да и Дин сразу же ей приглянулся, однако оба они были чересчур застенчивы. Она сказала, что Дин напоминает ей пропавшего мужа. «Ну просто копия... Вот это был ненормальный, скажу я вам!»

Все вылилось в буйные пивные возлияния в захламленной гостиной и шумные ужины, сопровождаемые ревом радиопрограммы «Одинокый скиталец». Неожиданные проблемы возникли, налетев на

нас, словно тучи мотыльков: хозяйка — все звали ее Фрэнки — собралась наконец купить себе подержанную колымагу. Сделать это она грозила уже много лет, но лишь на днях собрала недостающие деньги. Дин немедленно взял на себя ответственность за выбор машины и за улаживание вопроса о цене, планируя, разумеется, вспомнить стародавние времена и возить в горы школьниц. Бедная простодушная Фрэнки охотно соглашалась на что угодно. Но едва они попали на стоянку и очутились перед торговцем, как ей стало страшно расставаться с деньгами. Дин тут же уселся на землю, прямо в пыль бульвара Аламеда, и принялся бить себя кулаками по лбу.

— Да за сотню ты нигде лучше не купишь!

Он клялся, что больше ей ни слова не скажет, он ругался, пока лицо его не побагровело, он готов был даже впрыгнуть в машину и уехать — а там будь что будет. — Ох уж мне эти безмозглые переселенцы, ничем их не проймешь, полнейшие, невероятные тупицы! Как время действовать, так тут же паралич, страх, истерика, ничего они так не боятся, как того, чего *хотят*, — ну просто мой *отец, снова отец*, как вылитый!

В тот вечер Дин был очень взволнован, потому что договорился встретиться в баре со своим двоюродным братом Сэмом Брэди. Он надел чистую футболку и улыбался во весь рот.

— Слушай, Сал, я должен рассказать тебе про Сэма — он мой двоюродный брат.

— Кстати, ты отца еще не искал?

— Сегодня днем, старина, я ходил в буфет Джиггса, где мой отец частенько разливал бочковое пиво, он всегда был слегка под мухой, доводил хозяина до бешенства, а потом еле выползал на улицу... нету... зашел я и в старую парикмахерскую, что рядом с «Виндзором»... и там его нет... тамошний старик сказал мне, что, по слухам, отец сейчас в Новой Англии и работает — только представь себе! — в забегаловке для железнодорожников компании «Бостон и Мэн»! Но я ему не верю, за пятак они тебе любую небылицу сочинят. А теперь выслушай меня. В детстве Сэм Брэди, мой родной двоюродный брат, был и моим единственным кумиром. Он торговал контрабандным спиртом, что доставляли с гор, а как то раз они с его братцем затеяли во дворе потрясающий кулачный бой и дрались два часа, от чего женщины пришли в ужас и визжали как оглашенные. Мы

с ним спали на одной кровати. Он один из всей семьи обо мне заботился. И вот вечером я снова его увижу, впервые за семь лет, он только что вернулся из Миссури.

— Ну и что ты задумал?

— Да ничего, старина, я только хочу узнать, что с моей семьей, не забывай, у меня есть семья, — а самое главное, Сал, я хочу, чтобы он напомнил мне кое-что из того, о чем я позабыл еще в детстве. Хочу вспомнить, очень хочу.

Никогда еще я не видел Дина таким радостным и возбужденным. Пока мы в баре ждали его двоюродного брата, он успел посудачить чуть ли не со всеми представителями молодого поколения хипстеров и жуликов из центра и разнюхать все о новых шайках и последних событиях. Потом он навел справки о Мерилу, которая незадолго до этого была в Денвере.

— Когда я был помоложе, Сал, и бегал сюда, чтобы стянуть в газетном киоске мелочь на нищенскую порцию тушенки, у того косматого громилы, что стоит вон там, на улице, на уме были одни убийства, он только и делал, что встревал в одну страшную драку за другой, я даже помню его шрамы, и вот с тех пор он стоит на углу — годами стоит, го-да-ми, — и годы эти его в конце концов утихомирили и жестоко наказали, ныне он со всеми добренький, услужливый и терпеливый, он стал просто *непременной принадлежностью* этого угла, видишь, как бывает?

Пришел Сэм — жилистый кудрявый парень тридцати пяти лет, с натруженными руками. Дин испытывал перед ним благоговейный трепет.

— Нет, — сказал Сэм Брэди, — я больше не пью.

— Видишь? Видишь? — прошептал мне на ухо Дин. — Он больше не пьет, а ведь был когда-то самым последним пропойцей в городе. Теперь он вдруг ударился в религию — так он мне сказал по телефону, полюбуйся-ка на него, смотри, как меняется человек... ну и чудным же стал мой кумир!

Сэм Брэди относился к своему младшему кузену с явным недоверием. Он предложил нам проехаться по городу в его стареньком дребезжащем автомобильчике, где немедленно, без обиняков выразил свое отношение к Дину:

— Послушай-ка, Дин, я больше не верю ни одному твоему слову. Сегодня я приехал к тебе, потому что хочу, чтобы ты ради нашей семьи подписал одну бумагу. О твоём отце в нашем доме больше не говорят, мы не желаем иметь с ним ничего общего, да и с тобой, как ни жаль, тоже.

Я посмотрел на Дина. Он мрачно потупил взор.

— Да, да, — произнес он. Кузен еще немного повозил нас по городу и даже угостил шипучкой с мороженым. Несмотря ни на что, Дин забросал его бесчисленными вопросами о прошлом, тот удовлетворял его любопытство, и в какой-то момент Дин вновь едва не начал потеть от возбуждения. Ах, где же был в тот вечер его оборванец-отец? Кузен высадил нас неподалеку от унылых ярмарочных огней бульвара Аламеда, на углу Федерал-авеню. Условившись с Дином, что тот на следующий день подпишет бумагу, он уехал. Как мне жаль, сказал я Дину, что уже никто на свете в него не верит.

— Помни, что я верю в тебя. Мне ужасно совестно за то, что я вчера тебя так по-дурацки обидел.

— Ладно, старина, мир, — сказал Дин. Мы прошлись по ярмарке. Там были карусели, чертовы колеса, воздушная кукуруза, рулетка, опилки и сотни бродящих повсюду денверских юнцов в джинсах. Пыль поднималась к звездам под самую печальную музыку на земле. На Дине были полинявшие тесные джинсы и футболка, он вдруг опять стал похож на настоящего денверца. В тени, в глубине шатров, толпились юные усатые мотоциклисты в шлемах и вышитых бисером куртках, с ними были хорошенькие девочки в джинсах и розовых блузках. Было там и множество мексиканок, а среди них — одна изумительная маленькая девица не больше трех футов ростом, настоящая лилипутка, с самым красивым и нежным личиком на свете. Она повернулась к своей спутнице и сказала:

— Пора звонить Гомесу и сматываться.

Завидев ее, Дин остановился как вкопанный. Он был пронзен гигантской стрелой, выпущенной из ночной тьмы.

— Старина, я люблю ее, ох, я ее *люблю*...

Нам пришлось долго за ней ходить. Наконец она перешла шоссе, чтобы позвонить из будки мотеля, а Дин сделал вид, что листает телефонную книгу, и едва не вывернул шею, не в силах отвести

взгляда от девушки. Я попытался заговорить с подружками прелестной куколки, но те даже не взглянули в нашу сторону. Приехал на дребезжащем грузовичке Гомес и забрал девушек. Дин остался стоять посреди дороги, стиснув рукою грудь.

— Ах, старина, я чуть не умер...

— Какого же черта ты с ней не заговорил?

— Не могу, не мог...

Мы решили купить пива и пойти к нашей переселенке Фрэнки слушать музыку. Набив баночным пивом сумку, мы добрались туда на попутках. Малышка Джэнет, тринадцатилетняя дочь Фрэнки, была самой хорошенькой девочкой на свете и вскорости обещала превратиться в бесподобную женщину. Особенно хороши были ее длинные, тонкие, нежные пальцы, с помощью которых она разговаривала, как в Нильском танце Клеопатры.

Дин сидел в дальнем углу комнаты, прищурившись любовался ею и твердил: «Да, да, да». Джэнет уже начинала немного его побаиваться и искала моего заступничества. В начале того лета я много времени провел с ней в разговорах о книгах и занимавших ее мелочах.

Той ночью еще ничего не произошло; мы легли спать. Все случилось на следующий день. После полудня мы с Дином отправились в центр Денвера, чтобы покончить со множеством дел, а заодно зайти в бюро путешествий насчет машины в Нью-Йорк. Ближе к вечеру мы пустились в обратный путь к Фрэнки, и на Бродвее Дин внезапно завернул в магазин спортивных товаров, невозмутимо взял с прилавка софтбольный мяч и вышел, подбрасывая его на ладони. Никто ничего не заметил: таких вещей никто никогда не замечает. Был жаркий, навевающий дремоту день. По дороге мы перебрасывались мячом.

— Завтра уж мы наверняка раздобудем в бюро путешествий машину.

Еще раньше одна знакомая дала мне большую бутылку виски «Олд Гранддэд». Принялись мы за нее в доме Фрэнки. За кукурузным полем жила прелестная юная цыпочка, заняться которой Дин пытался с тех пор, как приехал. Надвигалась беда. При каждом удобном случае Дин бросал ей в окно камушки и в конце концов не на шутку ее перепугал. Пока мы пили виски в захламленной гостиной со всеми ее собаками, разбросанными повсюду игрушками и скучной болтовней, Дин то и дело выбегал в дверь черного хода и направлялся через кукурузное поле бросать камушки и свистеть. Джэнет изредка выходила посмотреть, что из этого выйдет. Неожиданно Дин вернулся без кровинки в лице.

— Беда, дружище. Мать этой девицы гонится за мной с дробовиком, а с ней целая шайка школьников с нашей улицы, они хотят меня избить.

— За что? Где они?

— За полем, дружище.

Дин был пьян и не очень-то волновался. Мы вместе вышли и пересекли освещенное луной кукурузное поле. На темной грунтовой дороге я увидел стоящих группками людей.

— Вот они! — услышал я.

— Минутку, — сказал я. — Вы не скажете, что стряслось?



Мамаша притаилась сзади с перекинутым через руку большим дробовиком.

— Твой дружок нам уже осточертел. Я не из тех, кто зовет полицию. Если он еще раз здесь появится, я буду стрелять, и стрелять наверняка.

Школьники сбились в кучу и сжимали кулаки. Я был так пьян, что и меня мало что трогало, однако я их слегка утихомирил. Я сказал:

— Больше он этого не сделает. Я за ним пригляжу. Он мой брат и слушается меня. Прошу вас, уберите ружье и успокойтесь.

— Пусть только попробует! — грозно и твердо произнесла она из тьмы. — Вот вернется муж, и я пошлю его с вами расправиться!

— Это совсем ни к чему. Поймите, он вас больше не потревожит. Успокойтесь, все будет в полном порядке.

Дин за моей спиной вполголоса сыпал проклятиями. Девушка украдкой выглядывала из окна спальни. Я знал этих людей раньше, они верили мне и поэтому слегка угомонились. Я взял Дина под руку, и между освещенными луной рядами кукурузы мы направились к дому.

— Эх-ма! — заорал Дин. — Ну и наклюкаюсь я сегодня!

Мы вернулись к Фрэнки и детишкам. Дин внезапно пришел в иступление от пластинки, которую слушала маленькая Джэнет, и сломал ее о колено: пластинка была в стиле «хилбилли». На другой пластинке был ранний Диззи Гиллесли, которого Дин очень ценил, — «Конго-блюз», с Максом Уэстом на барабанах. Я подарил ее Джэнет довольно давно, а теперь, когда она расплакалась, велел ей взять пластинку и разбить о Дину голову. Она так и сделала. Дин лишь разинул рот и немного пришел в себя. Все рассмеялись. Обстановка разрядилась. И тут ненасытной Фрэнки захотелось выпить пива в придорожном салуне.

— Пошли! — завопил Дин. — Черт подери, если б ты купила ту машину, что я показывал тебе во вторник, нам бы не пришлось шагать туда пешком!

— Да не подходит мне твоя треклятая машина! — заорала Фрэнки.

Детишки разревелись. В нашей обшарпанной гостиной с ее унылыми обоями, розоватым светом лампы и взволнованными лицами воцарилась густая непроглядная вечность. Малыш Джимми

перепугался; я уложил его спать на кушетку и привязал возле него собаку. Фрэнки пьяным голосом вызвала по телефону такси, и пока мы его ждали, мне неожиданно позвонила моя знакомая. У нее был пожилой кузен, который ненавидел меня всеми печенками, а в тот самый день я написал письмо Старому Буйволу Ли, уже переехавшему в Мехико-Сити, и поведал ему о наших с Дином приключениях и о том, как мы устроились в Денвере. Я писал: «У меня есть подружка, которая снабжает меня деньгами и выпивкой и вдобавок кормит славными ужинами».

С безрассудной просьбой отправить это письмо я обратился к престарелому кузену — как раз после того, как мы отужинали, полакомившись жареным цыпленком. Кузен вскрыл письмо, прочел и сразу же вручил ей как доказательство того, что я — всего-навсего мошенник. И вот она, вся в слезах, позвонила мне сообщить, что не желает меня больше видеть. Потом трубку взял торжествующий кузен и принялся растолковывать мне, какой я ублюдок. Пока снаружи сигнасило такси, а в доме плакали дети, лаяли собаки и танцевали Дин с Фрэнки, я изрыгал в телефонную трубку все мыслимые проклятия, приходившие мне на ум, сдабривая их вновь изобретенными, а потом, в хмельном бешенстве послав всех по телефону к черту, с размаху швырнул трубку и отправился напиваться.

Спотыкаясь друг о друга, мы выбрались из такси у придорожной пивной, захолустной деревенской пивной среди холмов, вошли и заказали пиво. Все шло кувырком, но вовсе невообразимое помешательство началось в тот момент, когда в баре нам попался страдающий судорогами восторженный мальчик, который обвил Дина руками и стонал ему в лицо, а Дина в который раз охватило безумие, и, желая внести свою лепту в эту непереносимую сумятицу, он в ту же минуту, обливаясь потом, выбежал на улицу, угнал прямо с подъездной аллеи машину, стремительно умчался в центр Денвера и вернулся на другой машине, поновей и получше. Между тем я немного очухался и вдруг увидел, что у подъездной аллеи в свете фар патрульных машин толпится народ, слушая, как копы что-то толкуют об угнанном автомобиле.

— Кто-то угоняет здесь машины направо и налево, — говорил полицейский.

Дин стоял у него за спиной, слушал и твердил: «Ах, да, да!» Копы пустились в погоню. Дин вошел в бар и принялся расхаживать взад-вперед со страдающим судорогами беднягой, который как раз в тот день женился и, пока невеста где-то его дожидалась, устроил себе грандиозную пьянку.

— Ах, старина, это великолепнейший малый на свете! — орал Дин. — Сал, Фрэнки, на этот раз я пойду и раздобуду первоклассную машину, и мы все, вместе с Тони (нашим подергивающимся праведником), уедем далеко в горы.

И он умчался на улицу. В тот же миг в бар ворвался коп, который заявил, что на подъездной аллее стоит машина, угнанная из центра Денвера. Люди собрались кучками и принялись обсуждать эту новость. В окно я увидел, как Дин вскочил в ближайший автомобиль и с ревом унесся прочь, при этом ни одна живая душа не обратила на него внимания. Через несколько минут он вернулся на совершенно новой машине с открывающимся верхом.

— Вот это красавица! — шепнул он мне на ухо. — Та, другая, слегка покашливала — я бросил ее на перекрестке, а эта прелесть стояла возле фермерского домика. Пришлось немного покружить по Денверу. Ну старина, собирайся, *все* едем кататься.

Вся горечь, все безрассудство его денверской жизни вспышками молний вырывались из самого его нутра. Лицо его было пунцовым и потным, а вид — просто жалким.

— Нет, я не собираюсь связываться с угнанными машинами.

— Ну как хочешь, старина! Со мной Тони поедет — верно, несравненный дорогуша Тони?

А Тони, худой, черноволосый, — стонущая, бурлящая заблудшая душа с глазами святого, — оперся о Дина и непрестанно охал, потому что его вдруг начало тошнить, а потом благодаря некоему странному наитию он пришел от Дина в ужас, всплеснул руками и с искаженным страхом лицом поковылял прочь. Опустив голову, Дин обливался потом. Затем он выбежал из бара и укатил. Мы с Фрэнки увидели на подъездной аллее такси и решили ехать домой. Когда таксист вез нас сквозь кромешную тьму бульвара Аламеда, по которому бесчисленными ушедшими ночами того лета я вышагивал пешком, на котором пел, стонал, питался звездами и где иссыхалась моя душа, каплю за каплей роняя свои живительные соки на раскаленный

асфальт, позади нас неожиданно возник Дин в угнанной машине и принялся непрерывно сигналить, оттеснять нас с дороги и орать. Таксист побледнел.

— Да это мой друг, — сказал я.

А Дин, вдруг почувствовав к нам отвращение, умчался вперед со скоростью девяносто миль в час, пустив нам в глаза выхлопные газы и прозрачную пыль. Потом он свернул на улицу, где жила Фрэнки, и затормозил перед домом; так же внезапно он снова рванул с места, развернулся и, пока мы выходили из такси и расплачивались, укатил в сторону города. После нескольких минут тревожного ожидания в темном дворе мы увидели, как он вернулся, вновь на другой машине — помятом двухместном автомобильчике, остановился в клубах пыли перед домом, буквально вывалился наружу, направился напрямик в спальню и, мертвецки пьяный, плюхнулся на кровать. А нам досталась брошенная у самого крыльца угнанная машина.

Мне пришлось его разбудить: я хотел отогнать машину подальше от дома, но не смог ее завести. В одних спортивных трусах он сполз с кровати, под хихиканье собравшихся у окна малышей мы сели в машину и, подпрыгивая на ухабах, с невероятным грохотом понеслись сквозь густые посадки люцерны в конце дороги и гнали до тех пор, пока машина наконец не выдохлась и не встала как вкопанная под старым тополем у ветхой мельницы.

— Все, больше не могу, — честно признался Дин.

Он вылез из машины и в лунном свете, как был в одних трусах, зашагал через кукурузное поле к дому, до которого было теперь не меньше полумили. Когда мы вернулись, он сразу же лег спать. Все смешалось в этой жуткой кутерьме, весь Денвер, моя знакомая, автомобили, детишки, бедняжка Фрэнки, комната, залитая пивом и усеянная пустыми банками, — и я никак не мог уснуть. Какое-то время мне не давал спать сверчок. Еще в Вайоминге я заметил, что ночами в этой части Запада звезды крупные, как римские свечи, и одинокие, как Принц Дхармы, который потерял свою родовую рощу и скитается теперь в пространстве между звездами Большой Медведицы в надежде вновь ее отыскать. Так вот, звезды эти неторопливо вращали ночь, а задолго до истинного рассвета вдали, за окутанными тьмой холодными землями, уходящими к Западному Канзасу,

возникло огромное алое зарево, и птицы принялись выводить над  
Денвером свои трели.

Мутило нас наутро по-страшному. Дин первым делом направился на дальний край кукурузного поля выяснить, способна ли брошенная там машина дотянуть до Востока. Пошел он туда, несмотря на мои протесты, и вернулся бледный как полотно.

— Старина, это машина какого-то сыщика, а мои отпечатки пальцев известны в каждом участке города еще с тех пор, как я за год увел пятьсот машин. Ты же видел, что я с ними вытворяю — мне попросту хочется кататься, старина! Мне нельзя здесь оставаться! Пойми, если мы сию минуту отсюда не смоемся, считай, что мы уже в тюрьме.

— А ведь ты прав, черт подери! — сказал я, и со всей стремительностью, на какую только были способны наши руки, мы принялись укладывать вещи.

Не завязав галстуков и не заправив рубах, мы наскоро распрощались с нашей милой семейкой и потащились в сторону спасительной дороги, где нас уже никто не узнает. Наблюдая за моим или нашим, да и не так уж важно, чьим именно, бегством, малышка Джэнет расплакалась — Фрэнки же вела себя учтиво и деликатно, я поцеловал ее и попросил прощения.

— Он явно ненормальный, — сказала она. — И так напоминает мне моего сбежавшего муженька! Ну просто вылитый. Мой Мики таким ни за что не вырастет, хоть сейчас и все такие.

Попрощался я и с маленькой Люси, которая держала на ладони любимого жука, а малыш Джонни спал. Все это произошло за считанные мгновения, пока занималась чудесная воскресная утренняя заря и мы, спотыкаясь, выбирались из дома со своими жалкими пожитками. Приходилось поторапливаться. Мы не сомневались, что из-за поворота проселочной дороги вот-вот покажется прибывшая по нашу душу полицейская машина.

— Если та баба с дробовиком что-нибудь пронюхает, нам крышка, — сказал Дин. — Надо вызвать такси. Тогда мы спасены.

Мы собрались было разбудить одно фермерское семейство и воспользоваться их телефоном, но со двора нас прогнал пес. С каждой

минутой опасность возрастала; вставший чуть свет местный житель непременно наткнется в кукурузном поле на наш потерпевший аварию автомобильчик. Наконец одна милая старушка пустила нас позвонить, и мы вызвали денверское такси, которого, однако, так и не дождались. Мы поковыляли дальше. На дороге началось утреннее движение, и каждая легковушка казалась нам патрульной машиной. А когда мы вдруг и впрямь увидели приближающуюся полицейскую машину, я понял, что это конец моей прежней жизни и одновременно — вступление ее в новую кошмарную стадию тюрем и кандалной скорби. Однако, когда полицейская машина подъехала, она оказалась нашим такси, и спустя мгновение мы уже мчались на восток.

В бюро путешествий на все лады расхваливали «Кадиллак-47», который надо было перегнать в Чикаго. Владелец ехал с семьей из Мексики, в Денвере он устал и загрузил своих домочадцев в поезд. Все, что ему было нужно, — это знать, с кем он имеет дело, и чтобы машина благополучно добралась до места. Мои бумаги убедили его в том, что все пройдет как нельзя лучше. Я велел ему не беспокоиться. А Дину я объявил:

— И никаких фокусов с этой машиной!

Завидев ее, Дин, не в силах скрыть радостного возбуждения, подскочил на месте. Оставалось часок подождать. Мы улеглись на травку у церкви, где в 1947-м я, проводив домой Риту Беттенкорт, коротал время в компании живущих подаванием бродяг, и там, лицом к послеполуденным птицам, я в полном изнеможении забылся сном. Откуда-то явственно доносились до меня звуки органа. А Дин не выдержал и отправился носиться по городу. В закусочной он завел шашни с официанткой, пообещал покатать ее сегодня на собственном «кадиллаке» и с этой вестью явился меня будить. Немного придя в себя, я поднялся навстречу новым проблемам.

Когда «кадиллак» прибыл, Дин тут же уехал на нем «заправляться», а служащий бюро путешествий посмотрел на меня и спросил:

— Когда он вернется? Все пассажиры уже готовы ехать. — Он показал на двух ирландцев из Восточной Иезуитской школы, которые ждали, поставив на лавки свои чемоданы.

— Он только заправится и сразу назад.

Дойдя до угла, я увидел Дина, запустившего двигатель в ожидании официантки, которая переодевалась в своем гостиничном номере; и даже ее я узрел со своего наблюдательного пункта: стоя перед зеркалом, она прихорашивалась и поправляла чулки, а я пожалел, что не могу поехать с ними. Выбежав из гостиницы, она впрыгнула в «кадиллак», а я побрел назад успокаивать хозяина бюро путешествий и пассажиров. Остановившись в дверях, я мельком увидел, как «кадиллак» пересекает Кливленд-плейс, как размахивает руками, что-то рассказывая девушке, счастливый Дин в своей вечной футболке, как он успевает сгорбиться за рулем, не давая машине сбиться с пути, и с каким серьезным и гордым видом сидит подле него его спутница. Среди бела дня они въехали на автостоянку, остановились в глубине, у кирпичной стены (и на этой стоянке Дин когда-то работал), и там, по его словам, он в мгновение ока ею овладел; мало того, вдобавок он взял с нее слово, что в пятницу, как только получит жалованье, она сядет в автобус и поедет вслед за нами на восток, а ждать мы ее будем в Нью-Йорке, в берлоге Иэна Макаурта на Лексингтон-авеню. Она пообещала приехать; звали ее Беверли. Тридцать минут — и Дин помчался назад, с поцелуями, прощаниями и обещаниями вернул девушку в гостиницу и подлетел к бюро путешествий, чтобы взять команду на борт.

— Послушай, уже давно пора ехать! — сказал хозяин бюро путешествий, вылитый бродвейский гуляка. — Я уж было решил, что ты смотался вместе с «кадиллаком».

— Я за него ручаюсь, — сказал я, — можете не волноваться.

И сказал я это, потому что Дин был до такой степени взвинчен, что догадаться о его безумии не составляло труда. С деловым видом он помог иезуитам загрузить багаж. И едва они уселись, едва я помахал Денверу на прощание, как Дин уже тронулся в путь и монотонно запел обладавший поистине самолетной мощностью мотор. Не отъехали мы от Денвера и двух миль, как сломался спидометр, потому что Дин выжимал из машины никак не меньше ста десяти миль в час.

— Ладно, обойдусь без спидометра, скорость мне знать ни к чему — вот доволоку эту железяку до Чикаго, а там прикину по времени.

Казалось, мы и семидесяти не тянем, вот только все машины на ведущей в Грили скоростной автостраде были по сравнению с нами просто дохлыми мухами.



— На северо-восток, Сал, мы едем, потому что нам непременно надо заглянуть в Стерлинг, на ранчо Эда Уолла, ты должен с ним познакомиться и увидеть его ферму, а посудина эта плывет так резво, что мы без особых хлопот попадем в Чикаго намного раньше, чем поезд того малого.

Прекрасно, я ничего не имел против. Пошел дождь, но Дин не сбавил скорость. Это был превосходный мощный автомобиль, последний из старомодных лимузинов, черный, с большим удлиненным корпусом и белобокими крышками, а возможно — и с пуленепробиваемыми стеклами. Иезуиты — из колледжа Св. Бонавентуры — сидели позади, охваченные дорожным ликованием, и даже не догадывались о том, как быстро мы едем. Они попытались завязать разговор, но Дин хранил молчание; он снял футболку и сидел за рулем по пояс голый.

— Эх, бесподобная милашка эта Беверли... она приедет ко мне в Нью-Йорк... вот получу от Камиллы бумаги для развода, и мы поженимся... все уладим, Сал, и едем. Да!

Чем быстрее мы удалялись от Денвера, тем лучше я себя чувствовал, а удалялись мы *быстро*. Уже стемнело, когда у Джанкшна мы свернули с шоссе на грунтовую дорогу, которая через унылые равнины Восточного Колорадо должна была привести нас в глубь Пустоши Койотов, к ранчо Эда Уолла. Однако дождь не прекращался, и на скользкой грязи Дин сбавил скорость до семидесяти. Боясь, что нас занесет, я велел ему ехать помедленнее, но он ответил:

— Не волнуйся, старина, ты же меня знаешь.

— Но на этот раз, — сказал я, — ты и впрямь едешь чересчур быстро.

А он так и летел сквозь эту слякоть, и не успел я договорить, как мы резко вильнули влево, Дин бешено вывернул руль, пытаясь сладить с машиной, но громоздкий автомобиль занесло в самую грязь, и он угрожающе завихлял передними колесами.

— Берегись! — заорал Дин, но на самом деле ему было на все наплевать, еще мгновение он сражался со своим Демоном, после чего мы очутились задницей в канаве, а передние колеса застыли на дороге.

Наступила полная тишина. Слышно было, как жалобно воет ветер. Мы находились посреди диких прерий. В четверти мили от нас

стоял у дороги фермерский домик. Я безостановочно чертыхался — Дин довел меня до белого каления. А он молча надел плащ и под дождем направился к домику за подмогой.

— Это твой брат? — спросили ребята с заднего сиденья. — С машиной он управляется чертовски здорово. И, судя по его рассказам, с женщинами ничуть не хуже.

— Он ненормальный, — сказал я, — да-да, он мой брат.

Дин вернулся вместе с фермером на тракторе. Прицепив к трактору машину, фермер вытащил нас из канавы. Автомобиль стал грязно-бурым, вдобавок было помято крыло. Фермер взял с нас пять долларов. Под дождем за нами с любопытством наблюдали его дочери. Самая красивая и самая застенчивая из них смотрела на нас, притаившись далеко в поле, и причина так себя вести у нее была веская: такой красивой девушки мы с Дином не видели никогда в жизни — это окончательно и бесповоротно. Ей было лет шестнадцать, у нее был типичный для Равнин румянец на лице, румянец цвета дикой розы, самые голубые на свете глаза, самые восхитительные волосы, и отличалась она стыдливостью и проворством дикой антилопы. Она вздрагивала от каждого нашего взгляда. Чудесный ветерок, долетевший к нам от самого Саскачевана, завивал волосы, таинственной пеленой окутывавшие ее прелестную головку. От смущения она заливалась краской.

Закончив расчеты с фермером, мы бросили последний взгляд на ангела прерий и поехали, уже не так быстро, а когда стало совсем темно, Дин сказал, что теперь до ранчо Эда Уолла рукой подать.

— Ох, боюсь я таких девушек, — сказал я. — Я бы мог все позабыть и броситься к ее ногам, а если бы она меня отвергла, тогда оставалось бы только пойти да и броситься вниз с края света.

Иезуиты захихикали. Они были просто напичканы банальным зубоскальством и теми рассказами, что в ходу в восточных колледжах, а в качестве начинки этой язвительности держали в своих куриных мозгах одного только так и не постигнутого Аквинского. Мы с Дином не обращали на них никакого внимания. Пока мы пересекали слякотные равнины, Дин рассказывал истории о своих ковбойских временах, он показал участок дороги, где когда-то все утро скакал верхом; а когда мы въехали во владения Уолла, которые оказались необъятными, он показал место, где чинил ограду; и место, где старик

Уолл, отец Эда, то и дело с грохотом гонялся по пастбищу за телками, издавая страшный рев: «Держите ее, держите, черт подери!»

— Каждые полгода ему приходилось менять машину, — сказал Дин. — Он просто не умел осторожничать. Когда корова отбивалась от стада, он рулил за ней до ближайшего прудика, а там бросал машину и дальше бежал бегом. Считал каждый нажитый цент и откладывал его на черный день. Старый полоумный скотовод. Вот подъедем ближе к дому, и я покажу тебе остатки его машин. Сюда-то я и пришел отрабатывать условный срок после последней отсидки. Здесь-то я и жил, когда писал Чеду Кингу те письма, что ты видел.

Мы свернули с дороги и, переехав тропу, принялись петлять по зимнему пастбищу. Внезапно фары осветили стадо бестолково круживших на одном месте унылых беломордых коров.

— Ага! Они самые! Короны Уолла! Уж теперь-то нам не проехать. Придется выходить и разгонять их! Хи-хи-хи!

Однако выходить не пришлось, мы просто черепашьям темпом потащились сквозь стадо, иногда легонько подталкивая животных, а те с мычанием кружили у самых дверей машины настоящим коровьим морем. Вдалеке показался огонек домика Эда Уолла. На сотни миль во все стороны от этого одинокого огонька простирались равнины.

Житель Востока не в состоянии представить себе такую кромешную тьму, какая окутывает прерию. Не было ни звезд, ни луны, ни единого огонька, кроме того, что горел на кухне миссис Уолл. Все, что лежало за смутными тенями скотного двора, являло собой бескрайний мировой пейзаж, который откроется взору лишь с рассветом. Постучав в дверь и вызвав из темноты Эда Уолла, который в хлеву доил коров, я на минуту осторожно углубился в эту тьму, футов на двадцать, не больше. Мне почудилось, что я слышу койотов. Уолл сказал, что это, должно быть, негромко ржет вдалеке одна из отцовских диких лошадей. Эд Уолл, наш ровесник, был высоким, жилистым и немногословным парнем с острыми зубками. Бывало, они с Дином подолгу простаивали на углах Куртис-стрит, свистом провожая проходящих девушек. Ныне же он милостиво позволил нам войти в его мрачную, неосвещенную и явно нежилую гостиную, пошарил в поисках тусклых светильников и, включив их, обратился к Дину:

— Какого черта, что у тебя с пальцем?

— Я врезал Мерилу, и у меня началось такое заражение, что кончик пальца пришлось ампутировать.

— Так на кой черт ты это сделал? — Я понял, что для Дина Эд был все равно что старший брат. Он покачал головой; ведро с молоком все еще стояло у его ног. — Как был ты полоумным сукиным сыном, так и остался.

Тем временем его молодая жена приготовила в просторной кухне роскошное угощение. Она попросила извинения за персиковое мороженое:

— Тут ничего особенного, я просто заморозила сливки вместе с персиками.

И разумеется, из всех мороженых, что я перепробовал в своей жизни, только это оказалось настоящим. Начала она довольно скромно, однако под конец стол ломился от яств; пока мы ели, на нем появлялись новые лакомства. Эта статная блондинка, как и все женщины, живущие среди невообразимых просторов, слегка сетовала на скуку. Она перечислила все радиопередачи, которые обычно слушает в это время ночи. Эд Уолл сидел, уставившись в свои ладони. Дин с жадностью поглощал еду. Он ждал от меня поддержки в своих рассказах о том, что владелец «кадиллака» — я, что я очень богат, а сам он — мой друг и шофер. На Эда Уолла все это не произвело никакого впечатления. Он лишь изредка поднимал голову, вслушиваясь в каждый звук, издаваемый скотиной в хлеву.

— Что ж, надеюсь, вы доберетесь до Нью-Йорка, ребята.

И не подумав принять на веру басню о том, что «кадиллак» принадлежит мне, Эд был убежден, что Дин его попросту угнал. На ранчо мы пробыли около часа. Эд Уолл, точно так же как Сэм Брэди, потерял доверие к Дину — если он и смотрел на Дина, то смотрел с опаской. В прошлом бывали разгульные деньки, когда заканчивался сенокос и они под руку шатались по улицам Ларами, Вайоминг, но все это давным-давно быльем поросло.

Дин уже беспокойно ерзал на стуле.

— Ну что ж, да, да, по-моему, пора двигать, ведь завтра вечером надо быть в Чикаго, а мы и так потеряли несколько часов.

Студенты снисходительно поблагодарили Уолла, и мы вновь пустились в путь. Я обернулся посмотреть, как тонет в море ночи кухонный огонек. А потом решительно подался вперед.

В мгновение ока мы вновь оказались на главной автостраде, и той ночью моему взору открылся весь штат Небраска. Сто десять миль в час по прямой как стрела дороге, спящие городки, никакого дорожного движения, и лишь позади ползет в лунном свете поезд обтекаемой формы, принадлежащий компании «Юнион Пасифик».

В ту ночь мне совсем не было страшно; напротив, я чувствовал, что иначе нельзя, что непременно надо выжимать сто десять и болтать, в то время как один за другим с фантастической скоростью уносятся вспять Огаллала, Готенберг, Кирни, Гранд-Айленд, Коламбус — все городки Небраски. Машина оказалась бесподобной; на дороге она держалась, словно судно на поверхности воды. Плавные повороты она одолевала с напевной беззаботностью.

— Просто корабль мечты, старина, — вздохнул Дин. — Только представь, каких бы дел мы наделали, будь у нас с тобой такая машина! Тебе известно, что есть дорога, которая ведет в Мексику и дальше — напрямик в Панаму? А может, и на самое дно Южной Америки, где индейцы растут до семи футов и жуют на горных склонах кокаин? Да! Мы с тобой, Сал, с такой машиной могли бы весь мир повидать, ведь в конце концов, старина, та дорога должна и ко всему миру вывести. Больше-то ей вести некуда, верно? Ах, да мы еще на этой штуковине исколесим весь старый Чи. Представляешь, Сал, я в жизни не был в Чикаго, даже проездом!

— В этом «кадиллаке» мы явимся туда, как настоящие гангстеры!

— Да! А девушки! Мы ведь сможем и девушек снимать, Сал. Я решил ехать со сверхкурьерской скоростью, так что сможем колесить по городу весь вечер. Ты себе отдыхай, я уж сам доведу жестянку до места.

— А сейчас ты с какой скоростью едешь?

— По-моему, постоянно сто десять — просто это незаметно. Еще засветло мы проскочим Айову, а потом я вмиг доберусь до старого Иллинойса. — Ребята уснули, а мы проболтали всю ночь.

Дин обладал удивительной способностью: он мог лишиться рассудка, а потом неожиданно вновь его обрести, и тогда душа его —

сокрытая, по-моему, в скоростном автомобиле, в Побережье, которого надо достичь, и в женщине в конце пути — становилась умиротворенной и здоровой, словно ничего и не случилось.

— Стоит мне теперь попасть в Денвер, как я тут же схожу с ума — я больше не выношу этот город. Суэта-суматоха — с чердаком у Дина плохо. Вперед!

Я сказал ему, что уже ездил по этой небрасской дороге в сорок седьмом. Дин тоже здесь бывал. — В тысяча девятьсот сорок четвертом, Сал, когда я присочинил насчет своего возраста и нанялся в лос-анджелесскую прачечную «Новая эра», я смотался оттуда с единственной целью: попасть в Индианаполис на гоночный трек и увидеть знаменитые гонки в честь Дня памяти погибших. Днем я добирался на попутках, а ночью, чтоб не терять время, угонял машины. К тому же в Лос-Анджелесе у меня остался двадцатидолларовый «бьюик», мой первый автомобиль. С его фарами и тормозами техосмотр ему было не пройти, вот я и смекнул: дабы избежать ареста, нужно разрешение выезжать за пределы штата, и как раз здесь-то я и задумал это разрешение получить. Спрятал я номерные знаки под пиджак, а когда проезжал на попутке один из этих самых городков, на главной улице ко мне привязался дотошный шериф, который решил, что я слишком молод, чтобы голосовать на дорогах. Он нашел номера и посадил меня в двухкамерную тюрягу, к местному преступнику, которому на роду было написано просидеть в каталажке до глубокой старости, потому что он и есть-то сам не мог (его кормила шерифская жена), и только и делал, что целыми днями распускал нюни и сопли. После допроса с применением таких банальностей, как отеческие уговоры, резкий переход к угрозам, сличение моего почерка и все такое прочее, и после того как, желая выбраться из этой передряги, я произнес самую вдохновенную речь в моей жизни, закончив признанием в том, что насчет угона машин я все наврал и что я всего лишь разыскиваю своего папашу, который где-то поблизости батрачит на ферме, шериф меня отпустил. На гонки я, конечно, не попал. Следующей осенью я снова проделал то же самое, чтобы посмотреть игру «Нотр-Дам» с «Калифорнией» в Саут-Бенде, Индиана, — на этот раз без приключений, а денег у меня было в обрез, только на билет, ни цента лишнего, и всю дорогу туда и обратно я ничего не ел, разве что удавалось кое-что выклянчить у разных

психопатов, что попадались мне в пути, и при этом я еще успевал приударять за девчонками. Единственный малый в Соединенных Штатах Америки, который перенес столько лишений, чтобы посмотреть бейсбольный матч.

Я попросил его рассказать о том, как он жил в Лос-Анджелесе в 1944 году.

— Меня арестовали в Аризоне, каталажка оказалась самой гнусной из всех, где я сидел. Оставалось бежать, и я совершил самый великий побег в своей жизни, если уж говорить о бегстве в широком смысле этого слова. Только представь — лесом, ползком, по болотам, через всю тамошнюю гористую местность. Мне вовсе не улыбалась перспектива быть избитым шлангами, а то и умереть так называемой случайной смертью, вот и приходилось выбираться из леса вдоль горного кряжа и держаться подальше от тропинок и дорог. Надо было избавиться от тюремной робы, и на заправочной станции неподалеку от Флагстаффа я виртуознейшим образом украл рубашку и брюки, а через пару дней в наряде рабочего бензоколонки прибыл в Лос-Анджелес, явился на первую попавшуюся станцию обслуживания, нанялся на работу, снял комнату, сменил имя (Ли Булье) и провел в Лос-Анджелесе умопомрачительный годик — с целой шайкой новых друзей и просто несравненных девочек, а кончилось все однажды ночью, когда мы всей компанией ехали по Голливудскому бульвару и я велел дружку покрутить руль, пока я буду целоваться со своей девчонкой — за рулем-то сидел я, — а он не расслышал, мы врезались в столб, и, хотя мы ползли не быстрее двадцати миль в час, нос я все-таки сломал. Ты же видел, какой у меня был раньше нос — с греческой горбинкой вот здесь. После этого я отправился в Денвер, а весной встретил в забегаловке Мерилу. Ах, старина, ей было всего пятнадцать, она носила джинсы и только и ждала, чтоб кто-нибудь ее подцепил. Три дня и три ночи разговоров в гостинице «Ас», третий этаж, номер в юго-восточном углу, светлой памяти номер, святыня моих лучших дней, — какой она была тогда милашкой, какой *молоденькой*, хм-м, ах-х! Однако гляди-ка, провалиться мне на этом месте, если там, в темноте, не кодла старых бродяг, ну вон же они, у костра, возле железной дороги! — Он даже сбавил скорость. — Почем знать, может, там и мой отец. — У самой железнодорожной колеи

вертелись возле костра какие-то люди. — Вечно я не решаюсь спросить. Он ведь где угодно может оказаться.

Мы неслись дальше. Где-то позади нас, а может, и впереди в непроглядной ночи лежал под кустом его пьяный отец, и с подбородка его наверняка стекала слюна, брюки были залиты водой, в ушах — черная патока, на носу — струпья, в волосах, быть может, кровь, и светила на него сверху луна.

Я сжал Динов локоть.

— Теперь-то уж мы точно едем домой, старина. — Впервые Нью-Йорк должен был стать его постоянным домом. Его всего трясло; он не умел ждать.

— Подумать только, Сал, вот доберемся мы до Пенси и услышим бесподобный «боп», который крутят по радио диск-жокеи. Эгей, плыви, старая калоша, плыви!

Наш шикарный автомобиль заставлял ветер реветь, заставлял равнины развертываться и расстилаться перед нами бумажным свитком; он мягко отбрасывал назад раскаленный асфальт — величественный корабль. Я открыл глаза и увидел, как разгорается утренняя заря; мы мчались ей навстречу. Как и прежде, Дин с каменным лицом, исполненным извечной его скуластой решимости, сидел, склонившись над огоньком приборного щитка.

— О чем задумался, старикан?

— Ха! Сам знаешь, все о том же — девочки, девочки, девочки.

Я уснул, и разбудил меня сухой нагретый воздух июльского воскресного утра в Айове, а Дин, не снижая скорости, все гнал и гнал машину вперед. Крутые виражи среди кукурузных полей Айовы он одолевал не меньше чем на восьмидесяти, а на прямой, как всегда, выжимал сто десять, если только двухстороннее движение не загоняло его в общий поток, ползущий на жалких шестидесяти. При малейшей возможности он вырывался вперед и обгонял с полдюжины машин, оставляя их позади в клубках пыли. Завидев такое дело, один психопат в новеньком с иголки «бьюике» решил посостязаться с нами в скорости. Только Дин собрался предпринять очередной массовый обгон, как этот тип неожиданно вынырнул у нас перед носом и с ревом умчался вперед, бросив нам вызов гудками и миганием задних фонарей. Мы ринулись в погоню, словно хищная птица.



— Ах так! — рассмеялся Дин. — Погоняю-ка я этого сукина сына дюжину миль. Смотри!

Дав «бьюику» уйти довольно далеко. Дин увеличил скорость и самым неучтивым образом его догнал. Психопат Бьюик окончательно лишился рассудка; он уже выжимал не меньше сотни. У нас появилась возможность его рассмотреть. Его вполне можно было принять за чикагского хипстера, путешествующего с женщиной, по возрасту годящейся ему в матери, — а скорее всего, она ему матерью и приходилась. Одному Богу известно, выражала ли она недовольство, но он выжимал полный газ. У него были растрепанные темные волосы — итальянец из старого Чи; на нем была спортивная рубаша. Быть может, он вообразил себе, что мы — новоявленные лос-анджелесские бандиты, стремящиеся захватить Чикаго, к примеру, люди Мики Коэна, ведь лимузин имел абсолютно бандитский вид, да и номер был калифорнийский. А в общем-то, это было обычное дорожное озорство. Чтобы не выпустить нас вперед, он шел на жуткий риск: он совершал обгоны на поворотах и однажды едва успел вернуться в общий поток машин, когда перед глазами у него возник и завихлял колесами угрожающих размеров грузовик. Таким манером мы проскочили восемьдесят айовских миль, и гонки так меня захватили, что я даже не успел испугаться. Наконец психопат сдался, остановился у бензоколонки — вероятно, по требованию старой дамы — и, когда мы проносились мимо, весело помахал рукой. А мы мчались дальше: Дин без майки, я — задрал ноги на щиток, а студенты — погрузившись в сон на заднем сиденье. Решив позавтракать, мы остановились у ресторанчика, которым заправляла седая дама. Под перезвон церковных колоколов, доносившийся из расположенного поблизости городка, она дала каждому из нас по гигантской порции картошки. И снова в путь.

— Днем так быстро ехать не стоит, Дин.

— Успокойся, старина, я знаю, что делаю.

Меня уже пробирала дрожь. Дин обрушился на вереницы машин, словно Демон Страх. Выискивая просвет, он разве что не шел на таран. Он тормозил их бамперы, сбавляя скорость, а потом, резко увеличив ее, вытягивал шею, пытаясь увидеть лазейку, и наш громадный автомобиль, послушный малейшему прикосновению Дина, шел на обгон, всякий раз едва успевая вернуться на свою сторону

дороги, чудом не столкнувшись со встречным потоком машин, а я дрожал мелкой дрожью. Это становилось невыносимым. В отличие от Небраски, в Айове редко попадаются длинные прямые дороги, и когда мы наконец выехали на одну из них, Дин вновь развил свои сто десять, а я увидел, как за окном промелькнули места, знакомые мне еще с 1947-го, — участок пути, где мы с Эдди крепко сели на мель. Вся давняя дорога прошлого разматывалась передо мной с такой головокружительной скоростью, словно кто-то опрокинул чашу жизни и мир сошел с ума. Глаза болели от страшного сна наяву.

— Черт возьми, Дин, я уйду на заднее сиденье, больше я этого не вынесу, не могу смотреть.

— Хи-хи-хи! — прыснул Дин и, обогнав на узком мосту очередную машину, вильнул на мгновение в пыль и покатыл дальше.

Я плюхнулся на заднее сиденье и, свернувшись калачиком, попытался заснуть. Один из ребят радостно плюхнулся на переднее. Охваченный тяжким приступом страха перед неминуемой и скорой катастрофой, я сполз на пол и закрыл глаза. Служа матросом, я частенько задумывался о волнах, стремительно набегающих снизу на корпус корабля, и о бездонной морской пучине под ними; теперь же в каких-нибудь двадцати дюймах от себя я ощущал дорогу, она с немыслимой скоростью раскрывалась подо мною и со свистом неслась через весь стонущий континент вместе с этим безумным Ахавом за рулем. И с закрытыми глазами я видел, как дорога проносится сквозь меня. А открыв их, я увидел, как мелькают на полу машины дрожащие тени деревьев. Спасения не было. Я смирился. А Дин гнал машину, ему и в голову не приходило поспать, прежде чем мы доберемся до Чикаго. После полудня мы вновь миновали старый Де-Мойн. Там мы, конечно, попали в пробку, пришлось сбавить скорость, и опять я пересел вперед. И тут произошла непонятная и прискорбная история. Впереди нас ехал в седане толстый негр со своим семейством; к заднему бамперу был подвешен один из тех брезентовых бурдюков, что в пустыне продают туристам. Негр резко затормозил. Дин заболтался с сидящими позади парнями и не заметил этого, и на скорости пять миль в час мы врезались прямо в бурдюк, который лопнул, как нарыв, выбросив вверх струю воды. Больше никаких повреждений, если не считать слегка помятого бампера. Мы с Дином вышли на переговоры. Кончилось все обменом адресами и

непринужденной болтовней, во время которой Дин не сводил глаз с мужниной жены, чьи великолепные смуглые груди были едва прикрыты свободной хлопчатобумажной блузкой. «Да! да!» Оставив негру адрес нашего чикагского барона, мы поехали дальше.

На другом конце Де-Мойна нас нагнала патрульная машина с рычащей сиреной и громкими распоряжениями подъехать к тротуару.

— Ну что там еще?

Коп вышел из машины.

— Не вы, случаем, устроили аварию?

— Аварию? На перекрестке мы порвали одному малому мешок с водой.

— Он говорит, что в него врезалась полная народу краденая машина.

Это было одно из тех редких мгновений, когда нам с Дином попадался негр, ведущий себя как недоверчивый старый болван. И это так нас поразило, что мы расхохотались. Пришлось последовать за полицейским в участок и там битый час просидеть на травке, дожидаясь, пока они дозвонятся в Чикаго владельцу «кадиллака» и удостоверятся в том, что машину мы взяли напрокат. По словам копа, мистер Барон сказал:

— Да, это моя машина, но я не могу ручаться, что ребята больше ничего не натворили.

— Тут, в Де-Мойне, они попали в небольшую аварию.

— Да, это я уже слышал. Я говорю, не могу ручаться, что они ничего не натворили в прошлом.

Все утряслось, и мы помчались дальше. Ньютон, штат Айова, где в 1947-м я совершил рассветную прогулку. Еще днем мы вновь проехали сонный Давенпорт и переправились через низинную Миссисипи, заключенную в свое полное опилок русло; потом Рок-Айленд, несколько минут среди городского транспорта, солнце, окрашивающееся багрянцем, и внезапно открывшиеся взору живописные маленькие притоки, плавно струящиеся меж волшебных деревьев зеленого срединноамериканского Иллинойса. Местность вновь приобретала мягкие очертания плодородного Востока; великий засушливый Запад был позади. Штат Иллинойс во всю ширь расстилался передо мной те несколько часов, что Дин, не сбавляя скорости, катил напрямик. Усталость толкала его на отчаянный риск.

С откровенным безрассудством он пулей влетел на узкий мостик через одну из живописных речушек, где ситуация и без него накалилась до предела. Перед нами протискивались через мост две тихоходные легковушки; навстречу приближался громадный грузовик с прицепом. Водитель наскоро прикидывал, сколько времени потребуется тихоходам, чтобы одолеть мост, и, по его расчетам, они успевали это сделать раньше, чем он сам до него доберется. Ни для грузовика, ни для любой другой встречной машины на мосту просто не было места. Машины позади грузовика дергались в поисках лазейки для обгона. Впереди тихоходных легковушек тащились другие тихоходы. В этом тесном скоплении машин каждый яростно стремился вырваться вперед. Недолго думая, Дин на скорости сто десять миль в час бросился в атаку. Он оставил позади тихоходов, вильнул в сторону, едва не врезавшись в левый поручень моста, очертя голову рванулся вперед, в тень не сбавляющего скорость грузовика, резко взял вправо, чудом не угодив под его левое переднее колесо, едва не столкнулся с первой тихоходной легковушкой, развернулся для обгона поперек дороги и вынужден был стремглав вернуться в общий поток, когда из-за грузовика выехала на разведку другая легковушка, — все это в течение двух секунд, с быстротой молнии, оставив всего лишь облако пыли позади, там, где должно было произойти страшное массовое столкновение ринувшихся во все стороны легковушек с огромным грузовиком, вставшим на дыбы в роковом багровом предвечерье Иллинойса с его уснувшими полями. К тому же я никак не мог отделаться от мысли о знаменитом «боп»-кларнетисте, погибшем недавно в иллинойской автокатастрофе, быть может, и в такой же день. Я опять перелез на заднее сиденье.

На этот раз и ребята остались сзади, а Дин твердо вознамерился еще засветло попасть в Чикаго. На железнодорожном переезде мы подобрали двух бродяг, которые совместными усилиями наскребли полдоллара на бензин. Еще минуту назад сидевшие среди сложенных штабелями шпал, приканчивая остатки какого-нибудь винишка, сейчас они очутились в замызганном, но непокоренном, роскошном лимузине, на всех парусах державшем курс на Чикаго. И старикан, усевшийся впереди, рядом с Дином, даже принялся, не отрывая взгляда от дороги, читать свои нищенские молитвы.

— Ну и ну, — сказали они, — мы и не мечтали так быстро попасть в Чикаго!

Для жителей сонных иллинойских городков, не понаслышке знающих о чикагских бандах, которые каждый день ездят мимо в лимузинах вроде нашего, мы являли собой диковинное зрелище: все небритые, водитель по пояс голый, двое бродяг, да еще я позади, сижу, уцепившись за ремень и откинув голову на мягкую подушку, и надменно оглядываю окрестности — ни дать ни взять новоявленная калифорнийская банда, прибывшая оттапать у Чикаго его добычу, шайка головорезов, сбежавших из тюрем подлунной Юты. Когда мы остановились у бензоколонки маленького городка заправиться и выпить кока-колы, люди вышли поглазеть на нас, при этом никто не проронил ни слова, но каждый, по-моему, старался на всякий случай запомнить наши приметы. На деловые переговоры с девушкой, которая держала бензоколонку, Дин направился, набросив на плечи футболку. Произнеся, как всегда, несколько отрывистых грубоватых фраз, он вернулся в машину, и мы покатали дальше. Очень скоро багровый свет сменился пурпурным, промелькнула последняя из околдованных речушек, и в стороне от дороги мы увидели далекие дымы Чикаго. От Денвера до Чикаго, с заездом на ранчо Эда Уолла, 1180 миль, мы проехали ровно за семнадцать часов, не считая двух часов в канаве, трех на ранчо и двух в полицейском участке Ньютона, Айова, пересекли страну со средней скоростью семьдесят миль в час и с одним водителем. Что является своеобразным безумным рекордом.

Прямо перед нами засверкали огни огромного Чикаго. В мгновение ока мы оказались на Мэдисон-стрит в окружении шумной толпы бродяг. Одни разлеплись на тротуаре, задрав ноги на бордюр, сотни других толпились в дверях пивных и в узких переулочках.

— Эй, смотрите не прозевайте старого Дина Мориарти, в этом году он вполне мог забрести в Чикаго!

На этой улице мы высадили бродяг и направились в сторону центра. Визгливые трамваи, разносчики газет, спешащие куда-то девицы, воздух, напитанный запахами жареной снеди и пива, мерцающая неоновая реклама — «Ого! Мы в большом городе, Сал!»

Первым делом надо было подыскать укромное местечко для «кадиллака», а потом умыться и поприличней одеться. Через дорогу от общежития Христианской ассоциации мы обнаружили узкий проход между кирпичными домами, куда загнали «кадиллак», для пущей боевой готовности развернув его мордой на улицу, после чего вместе со студентами направились в общежитие, где они сняли комнату, пустив нас на часок в свою ванную. Мы с Дином побрились и приняли душ, я обронил в коридоре бумажник, Дин нашел его и уже собрался украдкой сунуть в карман рубахи, когда до него дошло, что бумажник наш, чем он был донельзя разочарован. Потом мы распрощались с ребятами, которые были страшно рады, что добрались до места целыми и невредимыми, и отправились перекусить. Сумрачный старый Чикаго, населенный странными людьми не то восточного, не то западного типа, оживал и выплескивался на улицы. Стоя в закуской, Дин почесывал живот и пытался осмыслить происходящее. Ему захотелось пообщаться с чудаковатой немолодой негритяжкой, которая, войдя в закускую, с порога поведала о том, что денег у нее нет, однако имеются с собой сдобные булочки, и спросила, не дадут ли ей здесь немного масла. Вошла она, покачивая бедрами, а получив отказ, удалилась, вихляя задом.

— У-ухх! — вымолвил Дин. — Давай-ка ее догоним давай затащим ее в подворотню, в наш родимый «кадиллак». Устроим потеху!

Однако мы тут же о ней позабыли и, покружив в Петле, направились напрямиком на Норт-Кларк-стрит, желая поглазеть на тамошние танцевальные притоны и послушать «боп». И что за ночь нам предстояла!

— Ах, старина, — сказал Дин, когда мы стояли у входа в бар, — вот тебе улица жизни, только вдумайся: по Чикаго шляются китайцы! Что за чудной город — красотища! А вон та бабенка в окне наверху — вывалила из ночной рубашки свои мощные сиськи и глядит себе вниз, а глазищи-то какие огромные! Ну и ну! Сал, мы обязаны ехать без остановок, пока не доедем.

— Куда ехать, старина?

— Не знаю, но мы обязаны ехать.

Потом появилась компания молодых «боп»-музыкантов, которые вылезли из автомобилей с инструментами в руках. Они гурьбой ввалились в салун, а мы последовали за ними. Расположившись на сцене, они принялись дудеть, а только этого мы и ждали! Лидером был худой, сутулый и узкоплечий тенор-саксофонист с надменно поджатыми губами, одетый в просторную рубаху спортивного покроя. В жаркой ночи он не терял хладнокровия, а глаза выдавали в нем человека, потакающего лишь собственным желанием. Он взял свою дудку, хмуро заглянул внутрь и сыграл спокойную, но замысловатую мелодию, грациозно притопывая ножкой, чтобы уловить одни идеи, и слегка отклоняясь в сторону, чтобы пропустить мимо ушей другие. «Дуй», — очень тихо произносил он, когда солировать брался кто-нибудь из других музыкантов. Среди них был Прес — напоминающий веснушчатого боксера, красивый светловолосый здоровяк, тщательно облаченный в плотный клетчатый костюм удлиненного покроя, вот только воротник стоял неважно, да и галстук был завязан с тонко рассчитанной небрежностью. Обливаясь потом, он встряхивал свою дудку и извивался, разве что в нее не вползая, а звук — в точности как у самого Лестера Янга.

— Видишь, старина, Прес во всем старается походить на музыканта, который заколачивает большие деньги, он единственный, кто хорошо одет, погляди, как он нервничает, когда фальшивит, а вот лидер — тот, что играет кул-джаз, велит ему взять себя в руки и дуть поспокойней, ведь самого его волнует одно только звучание да

неисчерпаемое богатство музыки. Он артист. Он учит юного Преса, боксера. Однако полюбуйся на остальных!

Третий саксофонист играл на альтовой дудке, спокойный, задумчивый восемнадцатилетний негр чарли-паркеровского типа. Большеротый школьник, вымахавший выше всех прочих музыкантов, он держался на сцене весьма степенно. Поднеся инструмент к губам, он принялся негромко и вдумчиво извлекать из него фразы, напоминающие птичьи трели и выстроенные согласно архитектурной логике Майлза Дэвиса. Это были дети великих новаторов «бопа».

Некогда среди новоорлеанской грязи возник Луи Армстронг с его прекрасной яростной музыкой; предшественниками его были безумные музыканты, которые в праздник вышагивали по улицам, дробя марши Сузы на мелодии рэгтайма. Потом появился свинг, а с ним — Рой Элдридж, мужественный и сильный, и из трубы его хлынули неслыханные доселе волны мощи, логики и утонченности; с горящими глазами и ослепительной улыбкой он подносил инструмент к губам, и по всем приемникам звучала музыка, расшевелившая наконец джазовый мир. И тогда пришел Чарли Паркер, малыш из матушкиного дровяного сарая, что в Канзас-Сити, он дудел среди бревен в свой перемотанный тесьмой альт, упражняясь на нем в дождливые дни, а выбирался из сарая лишь для того, чтобы своими глазами увидеть, как свингует старик Бейси, и услышать ансамбль Бенни Мотена, где играл Пейдж «Жаркие Губки», да и всех прочих... Чарли Паркер покинул дом и приехал в Гарлем, где встретил безумного Телониуса Монка и еще более безумного Гиллесли... Чарли Паркер в молодые голы, когда он получал зуботычины, а играя, ходил с шапкой по кругу. Немногим старше его и Лестер Янг, тоже из Канзас-Сити, этот угрюмый безгрешный увалень, в котором воплотилась вся история джаза; ведь когда он поднимал инструмент и держал его горизонтально на уровне рта, не было музыканта более великого; но по мере того, как отрастали его волосы, а сам он становился все ленивее и развязнее, дудка его опускалась, пока наконец не опустилась совсем, и сегодня, когда он носит башмаки на толстой подошве, чтобы не ощущать пешеходных тропок жизни, он слабыми руками прижимает инструмент к груди и играет холодные и простые, стерильные фразы. Да, перед нами были сыны американской «боп»-ночи.



Они были порождением странным и удивительным: чернокожий альт-саксофонист задумчиво и гордо созерцал что-то над головами публики, а молодой, высокий и стройный блондин с денверской Куртис-стрит, в джинсах с утыканным заклепками ремнем, посасывал мундштук в ожидании, когда закончат остальные; а когда они закончили, вступил он, и невозможно было не насторожиться и не начать разыскивать то место, откуда зазвучало это соло, потому что исходило оно из прижатых к мундштуку ангельски улыбающихся губ и было тихим, нежным, волшебным соло на альте. Одиноким, как сама Америка, раздирающий душу звук в ночи.

Что же прочие и как они строили звучание? Был среди них контрабасист — жилистый, рыжеволосый, с бешеными глазами; неистово дергая струны, он то и дело бился о контрабас бедром, а в наиболее темпераментных местах разевал рот, словно впадая в транс.

— Вот тебе парень, старина, от которого ни одна девица не отвертится!

Грустный барабанщик, похожий на нашего белого хипстера с сан-францисской Фолсом-стрит, вконец одурев, смотрел прямо перед собой широко раскрытыми невидящими глазами, жевал резинку и в самозабвенном порыве вдохновения с чисто райховской неумолимостью тряс головой. Пианист — детина-итальянец с мясистыми пальцами шофера — играл глубоко и сильно. Продолжалось это около часа. Никто не слушал, у стойки чесали языки старые бродяги с Норт-Кларк, вскрикивали в раздражении визгливые шлюхи. Куда-то направлялись таинственные китайцы. В зал вторгались жуткие звуки танцевального притона. А музыканты знай себе играли. На тротуаре у входа возникло привидение: шестнадцатилетний паренек с козлиной бородкой и тромбонным футляром. Этот рахитично-худой сумасброд хотел влиться в компанию музыкантов, а те знали его и не желали с ним связываться. Крадучись он вошел в бар, тайком достал из футляра тромбон и поднес его к губам. Никакого эффекта. На него никто не взглянул. Ребята доиграли, собрали инструменты и отправились в другой бар. Но он был неугомонен, этот тощий чикагский малыш. Оставшись один, он напялил темные очки, поднес тромбон к губам и, издав жалобный стон, выбежал вслед за музыкантами. Они ни за что не

примут его в свою команду — ни дать ни взять дворовые футболисты, что играют на пустыре за топливной цистерной.

— Все эти ребятишки живут вместе со своими бабусями, в точности как Том Снарк и наш альтовый Карло Маркс, — сказал Дин.

Мы помчались догонять всю честную компанию. Музыканты обосновались в клубе Аниты О'Дэй, где, распаковавшись, играли до девяти утра. А мы с Дином пили пиво.

В антрактах мы садились в «кадиллак» и колесили по Чикаго в поисках девочек. А тех отпугивал наш большой, обезображенный шрамами автомобиль — предвестник беды. В своем бешеном неистовстве Дин с маниакальным хихиканьем наезжал задним ходом прямым ходом на водоразборные краны. К девяти часам машина представляла собой настоящую развалину: тормоза больше не работали, в крыльях зияли пробоины, громко дребезжали все стержни. Дин уже был не в силах остановить машину на красный свет, и она лишь судорожно дергалась на мостовой. За эту ночь она заплатила сполна. До блеска начищенный лимузин превратился в грязный башмак.

— Красотища! — Ребята все еще играли у «Нитса».

Внезапно Дин уставился во тьму угла позади эстрады и сказал:

— Сал, явился Бог.

Я осмотрелся. *Джордж Ширинг*. И, как всегда, подперев незрячую голову бледной рукой, он по-слоновьи наострил уши, вслушиваясь в американские звуки, чтобы подчинить их своей английской летней ночи. Потом ребята принялись уговаривать его подняться и сыграть. Он уступил. И исполнил бесчисленное множество тем с поразительными аккордами, которые возносились все выше и выше, до тех пор пока рояль не оказался забрызганным потом, а всех слушателей не охватил благоговейный страх. Через час его увели со сцены. Он вернулся в свой темный угол — старый Бог Ширинг, — и музыканты сказали:

— После этого нам здесь делать нечего.

Однако худощавый лидер нахмурился:

— Давайте все-таки сыграем.

Как раз теперь у них должно было что-то получиться. Всегда есть нечто большее, всегда можно сделать маленький шаг вперед — предела нет. Теперь, после Ширинга, они стремились найти новые

ходы, они выбивались из сил. Они корчились, извивались — и играли. Время от времени раздавался отчетливый и стройный крик, и в нем слышался намек на мелодию, которая в один прекрасный день станет единственной на свете и возвысит человечьи души, поселив в них радость. Они нашли эту мелодию, потеряли, вступили в борьбу за нее и нашли опять, они смеялись и плакали, а Дин за столиком обливался потом и заклинал их: еще, еще, еще...

В девять часов утра все — музыканты, девицы в брюках, бармены и все тот же маленький, тощий, несчастный тромбонист — вывалились из клуба в оглушительный грохот чикагского дня и разошлись отсыпаться перед следующей сумасшедшей «боп»-ночью.

Мы с Дином содрогнулись от резкого шума. Пришло время вернуть «кадиллак» владельцу. Тот жил на Лейк-Шор-драйв, в шикарном доме с громадным подвальным гаражом, которым заправляли насквозь промасленные негры. Подрулив туда, мы поставили замызганную развалину на якорь. Механик отказался признать в ней «кадиллак». Мы вручили ему бумаги. Взглянув на них, он почесал затылок. Надо было уносить ноги. Что мы и сделали. На автобусе мы вернулись в центр Чикаго, и дело с концом. А по поводу состояния машины мы не услышали от нашего чикагского барона ни словечка, хотя у него были наши адреса и он вполне мог подать жалобу в суд.

Пришла пора ехать. Мы взяли билеты на автобус до Детройта. Кое-какие деньги у нас еще оставались. Нагруженные нашим жалким багажом, мы поплелись через автовокзал. Бинт на Диновом пальце стал почти угольно-черным и весь размотался. Выглядели мы не менее несчастными, чем любой, окажись он на нашем месте. Смертельно уставший, Дин уснул в автобусе, который мчался по штату Мичиган. Я разговорился с пышной деревенской девицей в хлопчатобумажной блузке с глубоким вырезом, обрамлявшим красивую загорелую грудь. От девицы веяло скукой. Рассказывала она о том, как деревенскими вечерами стряпает на веранде воздушную кукурузу. Быть может, в другое время я бы от души порадовался ее речам, однако, видя, что они не доставляют радости ей самой, я понимал: вся их суть в том, кому чем следует заниматься.

— А чем ты еще развлекаешься?

Я пытался навести ее на мысль о парнях и сексе. В устремленном на меня взгляде ее больших темных глаз была пустота и еще — нечто вроде досады, множество поколений тому назад вьевшейся в кровь ее предков, потому что впустую звучали их мольбы — о чем бы они там ни молили, хотя и это известно всем.

— Чего ты хочешь от жизни?

Я желал прошибить ее, выжать из нее ответ. А она понятия не имела о том, чего хочет. Она бормотала что-то о работе, о кино, о летних поездках к бабушке, о том, что мечтает съездить в Нью-Йорк и наведаться в «Рокси», перечисляла, какие бы по этому случаю надела наряды — вроде тех, что надевала на прошлую пасху: белую шляпку с розами, розовые туфельки-лодочки и габардиновое пальто цвета лаванды.

— Что ты делаешь по воскресеньям? — спросил я.

Она сидит на веранде. Парни ездят мимо на велосипедах и останавливаются поболтать. Она читает газетный юмор, она лежит в гамаке.

— Что ты делаешь теплыми летними вечерами?

Она сидит на веранде, она смотрит на проезжающие машины. Они с матерью стряпают воздушную кукурузу.

— А что делает летними вечерами твой отец?

Он работает в ночную смену кочегаром, всю жизнь он потратил на то, чтобы прокормить женщину с ее отпрысками, а взамен — ни уважения, ни любви.

— Что делает летними вечерами твой брат?

Он катается на велосипеде, он торчит у киоска с газировкой.

— К чему он стремится? К чему стремимся все мы? Чего мы хотим?

Она не знала. Она зевнула. Ей хотелось спать. Это уже было чересчур. Никто этого сказать не сможет. Никто никогда не скажет. Все было кончено. Ей было восемнадцать, она была очень миловидной — и пропащей.

А мы с Дином, такие грязные и лохматые, словно питались в последнее время одной саранчой, вывалились из автобуса в Детройте. Утра мы решили дождаться в ночном кинотеатре в районе притонов. В скверах было уже холодновато. Здесь, в этих сомнительных кварталах Детройта, бывал некогда Хассел, и внимательный взгляд его темных глаз не раз проникал внутрь всех здешних наркоманских притонов и ночных кинотеатров, всех шумных баров. Призрак Хассела не давал нам покоя. Никогда больше не отыщем мы его на Таймс-сквер. Мы подумали, что в Детройт могло занести и Старого Дина Мориарти — но там его не было. Заплатив по тридцать пять центов, мы вошли в старенький, выдавший виды кинотеатр, поднялись на балкон и просидели там до утра, до тех пор, пока нас оттуда не выставили. Люди в этом ночном зальчике были людьми, дошедшими до последней черты. Измочаленные негры, которых молва привела из Алабамы на здешние автомобильные заводы; старые белые нищие; молодые длинноволосые хипстеры, которые оказались в конце пути и пили теперь вино; потаскухи, обыкновенные влюбленные парочки и домохозяйки, которым нечем было заняться, некуда идти и не в кого верить. Даже просеяв весь Детройт сквозь сито, и то не соберешь в одном месте столь чистого конгломерата изгоев. Шел фильм про «Ноющего Ковбоя» Эдди Дина и его лихого белого коня Блупа — это номер один. Под номером два в программе из двух фильмов были Джордж Рафт, Сидни Гринстрит и Питер Лорри в картине про

Стамбул. За ночь мы посмотрели каждый из этих фильмов по шесть раз. Мы видели, как они просыпаются, слышали, как они спят, чуяли, что они видят во сне, и к утру насквозь пропитались странным Серым Мифом Запада и таинственным темным Мифом Востока. Все мои последующие поступки были непроизвольно и подсознательно продиктованы этими ужасными осмотическими впечатлениями. Не меньше сотни раз слышал я, как зубоскалит верзила Гринстрит; слышал, как затевает свое гнусное жульничество Питер Лорри; меня одолевали параноидальные страхи Джорджа Рафта; я скакал верхом и пел вместе с Эдди Дином и перестрелял множество угонщиков скота. Зрители прикладывались к бутылкам и вертели головами, отыскивая себе в темном зале какое-нибудь занятие, кого-нибудь, с кем можно поговорить. Но никто из этих виновато-тихих людей не произносил ни слова. Пасмурный рассвет, который призрачным облаком поднялся за окнами кинотеатра и уцепился за карниз, застал меня спящим. А пока я храпел, уронив голову на деревянный подлокотник, шестеро служителей кинотеатра сходились с разных сторон, собирая воедино накопленный за ночь мусор, и под самым моим носом росла огромная пыльная куча — в конце концов они едва не смели в нее и меня. Все это мне известно со слов Дина, который сидел сзади, девятью рядами дальше. Все окурки, бутылки, спичечные коробки, все нажитое и прожитое было сметено в эту кучу. Вынеси они меня вместе с мусором, и Дин никогда бы меня больше не увидел. Ему пришлось бы скитаться по всем Соединенным Штатам и заглядывать в каждый мусорный ящик, от побережья до побережья, покуда он не нашел бы меня, свернувшимся, как зародыш, среди хлама моей жизни, его жизни и жизни всякого, кому есть до этого дело, да и всякого, кому дела нет. Что бы я сказал ему из своего мусорного чрева? «Не тревожь меня, старина, я здесь счастлив. Ты потерял меня как-то ночью в Детройте, в августе сорок девятого. Какое право ты имеешь приходить и нарушать безмятежный ход моих грез в этом блевотном ящике?» В 1942 году я стал героем одной из самых грязных драм всех времен. Тогда я был моряком и однажды отправился выпить в кафе «Империял» на Сколлей-стрит в Бостоне; выпив шестьдесят стаканов пива, я удалился в уборную, где и уснул, заключив в объятия унитаза. За ночь там перебивало не меньше сотни моряков и разного рода штатских, и все направляли на меня свои склонные к

чувствительности орудия, отчего к утру я до неузнаваемости задубел. Ну и что из того, в конце концов? Анонимность в мире людей лучше, чем слава на небесах, ведь что есть небеса? Что есть земля? Все в душе.

Бормоча себе под нос какую-то тарабарщину, мы с Дином выползли на рассвете из этой кошмарной дыры и отправились разыскивать обещанную нам в бюро путешествий машину. Проведя добрую половину утра в негритянских барах, где мы пытались приударить за девицами, и наслушавшись музыкальных автоматов с джазовыми пластинками, мы, нагруженные своими дурацкими пожитками, одолели местными автобусами пять миль до дома человека, который должен был взять с нас по четыре доллара за поездку в Нью-Йорк. Это был очкастый блондин средних лет, имевший жену, ребенка и приличный дом. Его милейшая жена в хлопчатобумажном домашнем платье предложила нам кофе, но мы были слишком поглощены разговором. К тому времени Дин настолько вымотался и лишился рассудка, что его взор радовало решительно все. Он был близок к очередному благоговейному неистовству. Он непрерывно потел. Как только мы оказались в новеньком «крайслере» и тронулись в сторону Нью-Йорка, бедолага хозяин понял, что взял с собой в поездку двух маньяков, однако он безропотно перенес наше присутствие, а когда мы проехали стадион «Бриггз» и заговорили о шансах «Детройтских тигров» на будущий сезон, вполне освоился с ситуацией.

В туманной ночи мы проехали через Толедо и двинулись по старому Огайо. До меня дошло, что я начинаю колесить по одним и тем же дорогам Америки, словно заделался коммивояжером: сумбурные путешествия, мешок с никудышным товаром, на самом дне — гнилые бобы, никто ничего не покупает. Неподалеку от Пенсильвании хозяин устал, весь остаток пути до Нью-Йорка машину вел Дин, и вскоре мы услышали по радио шоу Сида Симфонии с самым новейшим «бопом» — мы наконец въезжали в великий главный город Америки. Попали мы туда ранним утром. Таймс-сквер ходила ходуном, ведь Нью-Йорк никогда не засыпает. По дороге мы непроизвольно поискали глазами Хассела.

Через час мы с Дином добрались до новой тетушкиной квартиры на Лонг-Айленде, а сама тетушка, пока мы ковыляли вверх по

лестнице, заканчивая путь, начатый в Сан-Франциско, была поглощена оживленным спором об оплате с малярами, друзьями семьи.

— Сал, — сказала тетушка, — несколько дней Дин может пожить у нас, а потом ему придется убраться, ты меня понимаешь?

Путешествие закончилось. В ту ночь мы с Дином вышли прогуляться среди топливных цистерн, железнодорожных мостов и противотуманных фонарей Лонг-Айленда. Помню, как он остановился у фонарного столба.

— Когда мы прошли вон тот фонарь, Сал, я еще хотел рассказывать дальше, но теперь вставлю новую мысль, а когда дойдем до следующего, вернусь к первой теме, идет?

Разумеется, я согласился. Мы так привыкли путешествовать, что не могли не исходить пешком весь Лонг-Айленд, однако дальше земли не было, только Атлантический океан, лишь до него можно было пройти. Мы обменялись крепким рукопожатием и условились навсегда остаться друзьями.

Дней через пять мы попали на нью-йоркскую вечеринку, там я увидел девушку по имени Инес и сказал ей, что со мной пришел друг, с которым она непременно должна познакомиться. Я был пьян и сказал ей, что он ковбой.

— Ах, я давно мечтаю познакомиться с ковбоем!

— Дин! — Я попытался перекричать шумную компанию, в которую входили Ангел Лус Гарсия, поэт; Уолтер Эванс; Виктор Виллануэва, венесуэльский поэт; Джинни Джоунз, моя бывшая любовь; Карло Маркс; Джин Декстер и прочие, и прочие, и прочие. — Подойди-ка сюда, старина!

Дин в смущении подошел. Спустя час, в разгар хмельной и претенциозной вечеринки («в честь окончания лета, конечно»), он уже стоял на коленях, уткнувшись подбородком ей в живот, рассказывал ей обо всем на свете, все на свете обещал и обливался потом. Инес была высокой привлекательной брюнеткой — как сказал Гарсия: «Нечто в духе Дега» — и во всем походила на красивую парижскую кокетку. Через пару дней они уже звонили по междугородному телефону в Сан-Франциско и пытались выторговать у Камиллы бумаги, необходимые для развода, а значит — и для их брака. Мало того, через несколько месяцев Камилла родила Дину второго ребенка — результат



взаимопонимания, достигнутого ими на пару ночей в начале года. Миновало еще несколько месяцев, и родила Инес. Вместе с одним внебрачным ребенком где-то на Западе у Дина теперь стало четыре малыша и не стало ни цента, а все невзгоды, восторженность и скорость оставались при нем, как и прежде. А в Италию мы так и не поехали.

## **Часть четвертая**

От продажи книги мне перепали кое-какие деньги, и я привел в порядок тетушкины дела, заплатив за квартиру до конца года. Всякий раз, когда в Нью-Йорк приходит весна, меня гипнотически манит цветение той земли, что лежит за рекой, в Нью-Джерси, и я не могу не уехать. Я и уехал. Впервые в жизни я простился с Дином, оставив его в Нью-Йорке. Он работал на автостоянке на углу Мэдисон-авеню и Сороковой. Как обычно, он носился взад-вперед в своих стоптанных башмаках, в футболке и сползших на животе штанах, без всякой посторонней помощи отражая чудовищный натиск автомобилей.

Когда же я заходил к нему, обычно уже смеркалось и делать было нечего. Он стоял в домике, пересчитывая квитанции и почесывая живот. Радио никогда не выключалось.

— Слышал, старина, как комментирует баскетбольные матчи этот ненормальный Марти Гликман? «Пас-в-центр-площадки-дриблинг-обманное-движение-бросок-два-очка!» Более великого комментатора я в жизни не слышал.

Он дошел до того, что стал находить удовольствие в таких простых вещах. Жили они с Инес в квартирке без отопления на Восточных Восьмидесятих. Вечерами, вернувшись домой, он стаскивал с себя всю одежду, облачался в длинную, до бедер, китайскую шелковую куртку и усаживался в мягкое кресло выкурить начиненный травкой кальян. В этом, да еще в колоде порнографических карт состояли его домашние развлечения после трудового дня.

— Очень меня занимает в последнее время эта бубновая двойка. Ты заметил, где ее другая рука? Бьюсь об заклад, не дознаешься. Смотри, смотри, попробуй разобраться.

Ему хотелось всучить мне на время двойку бубен, на которой были изображены высокий мрачноватый парень и низкопробная похотливая шлюха с их постельными экспериментами.

— Действуй, старина, я-то уже не раз пробовал!

Инес, которая на кухне занималась стряпней, с кривой улыбкой заглянула к нам. Все это ничуть ее не удивляло.

— Видал? Полюбуйся-ка, старина, это Инес. Смотри, все, что она делает, — знай себе заглядывает в комнату и улыбается. Да, я поговорил с ней, и все уладилось как нельзя лучше. Летом мы уедем в Пенсильванию, будем жить на ферме. У меня будет фургончик, чтобы гонять в Нью-Йорк развлекаться, большой уютный дом, а через несколько лет народится куча детишек. Гм! Хм-хм! Ей-богу! — Он вскочил с кресла и завел пластинку Уилли Джексона «Крокодилий хвост». Встав перед проигрывателем, он принялся в такт бешено колотить в ладоши, трястись и дрыгать ногами. — У-ухх! Ну и сукин сын! Когда я услышал его в первый раз, то решил, что той же ночью он непременно протянет ноги, однако он до сих пор жив.

Все это ничуть не отличалось от того, чем он занимался, живя с Камиллой в Фриско, на другом краю материка. Из-под кровати торчал все тот же обшарпанный чемодан, в любую минуту готовый к бегству. Инес частенько звонила Камилле и подолгу с ней беседовала; они обсуждали даже мужские достоинства Дина — так, по крайней мере, утверждал он сам. Они обменивались письмами о его чудачествах. Разумеется, Дину приходилось каждый месяц отсылать Камилле часть своего жалованья, иначе он угодил бы на шесть месяцев в исправительную тюрьму. Дабы возместить убытки, этот мошенник, каких свет не видывал, откалывал на автостоянке довольно опасные номера. При мне он настолько витиевато пожелал одному состоятельному клиенту веселого Рождества, что тот так и не вспомнил про пятерку сдачи с двадцатки. Мы отправились в «боп»-ресторанчик «Бердленд», где ее и истратили. На эстраде был Лестер Янг, его огромные глаза уже смыкала вечность.

Как-то в три часа утра мы с Дином разговорились на углу 47-й улицы и Мэдисон-авеню.

— Черт возьми, Сал, жаль, что ты уезжаешь, правда жаль, первый раз я остаюсь в Нью-Йорке без старого дружка. — И еще он сказал: — В Нью-Йорке я не задержусь. Мой родной город — Фриско. За все время, что я здесь, у меня не было ни одной девушки, кроме Инес, — только в Нью-Йорке со мной такое бывает! Черт подери! Но как подумаю, что снова придется тащиться через весь этот жуткий материк... Давненько, Сал, мы не говорили с тобой начистоту.

В Нью-Йорке мы только и делали, что волчком вертелись в толпе друзей на хмельных вечеринках. Не скажу, что Дин был от этого в

восторге. А вот поживаясь ночью в холодной туманной измороси на безлюдной Мэдисон-авеню, он чувствовал себя намного уютнее.

— Инес любит меня, она твердо пообещала разрешить мне делать все, что захочу, и избавить от всяческих хлопот. Видишь ли, старина, чем ты старше, тем больше у тебя хлопот. Еще придет день, когда мы с тобой вдвоем будем на закате бродить по закоулкам и рыться в мусорных ящиках.

— Ты хочешь сказать, что в конце концов мы станем старыми нищими?

— А почему бы и нет, старина? Конечно, станем, если захотим, ясное дело. Что ж в этом плохого? Живешь себе, и всю жизнь тебе безразлично то, чего хотят другие, даже богачи и политиканы, никто тебя не трогает, а ты мчишься, мчишься своей дорогой. — Я с ним согласился. Прямым и простейшим путем он уже подходил к своему даосизму. — Какова твоя дорога, старина?.. Дорога святого, дорога безумца, дорога радуги, дорога пустословия — да любая. Она ведет кого угодно, куда угодно, как угодно. Кого, куда и как? — Мы кивали друг другу под дождем. — И, как ни крути, нужен подходящий спутник. Кто не скачет с места на место, тот не мужчина... Дорога — это то, что доктор прописал. По правде говоря, Сал, где бы я ни жил, мой чемодан всегда торчит под кроватью, я всегда готов к отъезду, а то и к тому, что меня вышвырнут вон. Я все решил пустить на самотек. Ты-то видел, как я из кожи вон лез ради того, что не имеет никакого смысла, а ведь мы понимаем время — умеем замедлять его ход, бродить, смотреть вокруг и со вкусом веселиться, как это издавна делают негры, — разве по-другому повеселишься? Мы-то знаем. — Мы вздыхали под дождем. А дождь лил и лил той ночью по всей долине Гудзона. Он пропитал влагой величественные пирсы безбрежной, как море, реки, насквозь промочил ветхие пароходные пристани в Пакипси, наполнил старый пруд Сплит-Рок и берущие в нем начало реки, залил гору Вандерэкер.

— Вот я и несусь по жизни, — сказал Дин, — а она показывает мне путь. Знаешь, я недавно написал своему старику в Сиэтл, в тюрьму, и на днях получил от него первое за много лет письмо.

— Правда?

— Да, да. Он пишет, что хочет приехать в Фриско и взглянуть на «бэбби» — с двумя «б». Я приглядел на Восточной Сороковой конуру

без отопления за тринадцать в месяц. Попробую выслать ему деньги, чтоб он обосновался в Нью-Йорке — если сюда доберется. По-моему, я никогда не рассказывал тебе о моей сестре, у меня ведь есть премилая сестренка. Я бы хотел, чтобы и она приехала и жила со мной.

— А где она?

— В том-то и дело, что не знаю... Старик мой собирается ее разыскать, но тебе-то известно, чем он займется на самом деле.

— Значит, он отправился в Сиэтл?

— И напрямиком в грязную тюрьгу.

— Где же он был?

— В Техасе, в Техасе... Вот видишь, старина, что у меня на душе, какие дела, в каком я состоянии... заметь, я немного успокоился.

— Да, это верно.

В Нью-Йорке Дин утихомирился. Ему хотелось говорить. Мы смертельно продрогли под холодным дождем. До моего отъезда мы договорились еще разок повидаться в тетушкином доме.

В воскресенье днем он пришел. У меня был телевизор. Мы посмотрели один бейсбольный матч, послушали по радио другой, то и дело переключаясь на третий, и старались не упустить ни одного интересного момента.

— Не забудь, Сал, по второй Ходжес за «Бруклин», а пока за «Филадельфию» выходит запасной подающий; мы переключим на «Гигантов» с «Бостоном», к тому же, смотри, у Димаджио еще три броска, да и подающий возится у финиша, так что выясним побыстрому, что там с Бобби Томсоном, ведь тридцать секунд назад мы оставили его и еще одного игрока на третьей. Да!

Под вечер мы вышли из дома и поиграли с ребятней в бейсбол на покрытой сажей площадке у сортировочной станции Лонг-Айленд. Потом принялись за баскетбол, да так ретиво, что мальчишки сказали:

— Зачем так надрываться? Вы же себя угробите.

Они нас то и дело обводили и без особых усилий выигрвали. Мы с Дином обливались потом. Раз Дин растянулся на бетонной площадке. Пыхтя, мы из кожи вон лезли, пытаясь отобрать у ребят мяч, а они разворачивались и резко отдавали пас. Другие на ходу подхватывали мяч и попросту бросали поверх наших голов. Мы прыгали под корзиной, как маньяки, а мальчишки, просто вытянув руки,

выхватывали мяч из наших потных ладоней и уносились прочь. Мы напоминали отчаянного чернопузого саксофониста, обезумевшего от зажигательной музыки американских трущоб и вздумавшего сразиться в баскетбол со Стэном Гетцем и «Прохладным» Чарли. Ребята приняли нас за ненормальных. По дороге домой мы с Динем перебрасывались мячом с тротуара на тротуар. Мяч мы ловили сверхновыми способами: бросались через кусты на землю, чудом не налетая на столбы. Мимо проехала машина, я пробежался за ней и отпасовал мяч Дину, едва не задев удаляющийся бампер. Дин метнулся за мячом, повалился на траву и перекинул мне через стоявший у тротуара хлебный фургон. Я принял мяч ладонью и сразу же отбросил его Дину, так что тот вынужден был развернуться, шагнуть назад и упасть спиной на живую изгородь. Дома Дин достал бумажник, хмыкнул и вручил тетушке пятнадцать долларов, которые задолжал ей в тот раз, когда в Вашингтоне нас оштрафовали за превышение скорости. Тетушка была несказанно удивлена и обрадована. Мы устроили грандиозный ужин.

— Что ж, Дин, — сказала тетушка, — надеюсь, ты сможешь позаботиться о ребенке, который скоро родится, и на этот раз не разведешься.

— Да, да, да.

— Сколько можно вот так разезжать по стране и всюду оставлять детей! Эти бедные малютки вырастут беспомощными. Ты должен дать им шанс выжить.

Дин смотрел себе под ноги и кивал. В сырых багровых сумерках мы распрощались на мосту через скоростную автостраду.

— Надеюсь, когда я вернусь, ты еще будешь в Нью-Йорке, — сказал я ему. — Я верю, Дин, что когда-нибудь мы с семьями поселимся на одной улице и еще доживем до тех времен, когда оба превратимся в старожилы.

— Верно, старина... знаешь, я молюсь, чтоб так оно и было, потому что не забываю о передрыгах, в которые мы с тобой попадали, и о тех, что еще впереди, — о них знает и не дает мне забыть твоя тетушка. А ребенка этого я не хотел — Инес настаивала, мы даже подрались. Тебе известно, что Мерилу во Фриско вышла замуж за торговца подержанными автомобилями и уже ждет ребенка?

— Да. Все мы уже туда устремились.

К ряби на перевернутом вверх дном озере пустоты — вот что следовало добавить. Мировое дно полно сокровищ, только мир перевернут вверх дном. Дин достал сделанный в Фриско снимок Камиллы с недавно родившейся девочкой. На ребенка и на освещенный солнцем тротуар падала тень человека — две длинные, унылого вида штанины.

— Кто это?

— Всего лишь Эд Данкел. Он вернулся к Галатее, и сейчас они уже в Денвере. Они целый день фотографировались.

Эд Данкел — с его чувством сострадания к ближнему, не оцененным, как и чувство сострадания, переполнявшее святых. Дин достал другие фотографии. Я представил себе, как все эти снимки когда-нибудь с удивлением будут разглядывать наши дети; они решат, что их родители прожили безмятежную, размеренную жизнь, строго заключенную в рамки фотоснимков, и по утрам вставляли, чтобы с гордостью пройти по тротуарам бытия, им и во сне не приснятся сумасбродство и необузданность подлинной нашей жизни, подлинной нашей ночи, ее дух и лишенная смысла пустота. Невежество, достойное сожаления.

— Прощай, прощай.

В нескончаемых багровых сумерках Дин зашагал прочь. Над ним стлался паровозный дым. За ним шагала его тень, она копировала его походку, мысли, да и саму душу. Обернувшись, он смущенно помахал рукой, потом жестом дал сигнал отправления, подпрыгнул и что-то крикнул, но слов я не разобрал. Он никак не решался уйти, однако с каждым шагом приближался к бетонной опоре железнодорожного путепровода. Еще один прощальный взмах. Я помахал в ответ. Внезапно он пришел в себя и торопливой походкой скрылся из виду. Я с изумлением уставился в холодную пустоту собственной жизни. К тому же мне еще предстоял страшно долгий путь.



Когда наступила полночь, я, напевая песенку:

Дом родной в Миссуле,  
Траки — дом родной.  
Дом и в Опелусасе,  
Но нет пути домой.  
Дом — старая Медора,  
Дом и Вундид-Ни,  
Дом и в Огаллале,  
Но нет домой пути,

сел в вашингтонский автобус. Побродив без всякой цели по Вашингтону, я почувствовал, что просто обязан увидеть Голубую гряду<sup>[15]</sup>; добравшись туда, услышал пение птиц Шенандоа<sup>[16]</sup> и побывал на могиле Джексона «Каменная стена»<sup>[17]</sup>; в сумерках постоял, поплеывая в реку Каноэ, а потом прогулялся в непроглядной ночи Чарлстона, Западная Виргиния; в полночь — Эшланд, Кентукки, и одинокая девушка в опустевшем балаганном шатре. Темный и таинственный Огайо, а на рассвете — Цинциннати. Потом вновь поля Индианы и Сент-Луис, как всегда окутанный огромными послеполуденными облаками долины. Грязная булыжная мостовая и бревна Монтаны, искореженные пароходы, древние вывески, трава и такелаж у реки. К ночи — Миссури, канзасские поля, ночные канзасские коровы в таинственных просторах, игрушечные городки с неведомым морем в конце каждой улицы; рассвет в Абилине. Луга Восточного Канзаса на западе перешли в бескрайние пастбища, устремившиеся ввысь, на холмы Западной ночи.

В автобусе со мной ехал Генри Гласс. Он вошел еще в Терре-Хоте, Индиана, а теперь разговорился со мной.

— Я уже сказал тебе, почему терпеть не могу костюм, который сейчас на мне, он просто паршивый... но дело не только в этом. — Он показал мне бумаги. Его только что выпустили из федеральной

тюрьмы в Терре-Хоте. Срок ему припаяли за угон и продажу машин в Цинциннати. Кудрявый юноша двадцати лет. — Вот доберусь до Денвера, отнесу костюм в ломбард и куплю себе джинсы. Знаешь, что мне устроили в тюрьме? Одиночное заключение с Библией. Я приспособил ее, чтоб сидеть на каменном полу. Когда они углядели, что я делаю с Библией, они ее забрали и принесли другую, карманного формата, не больше. На такой не очень-то посидишь, вот я и прочел всю Библию вместе с Евангелиями. И вот что я тебе скажу... — Чавкая конфетой, он пихнул меня в бок, он постоянно жевал конфеты, потому что желудок его был испорчен в тюрьме и ничего другого уже не выдерживал. — В этой Библии есть просто потрясающие вещи. — Он растолковал мне, что такое «каркать»: — Если кому скоро на волю и он принимается болтать о дне своего освобождения, значит, он «каркает» остальным ребятам, которым еще сидеть и сидеть. Мы хватаем такого типа за плотку и говорим: «Нечего мне каркать!» Дурное это дело — каркать, слышишь?

— Я не буду каркать, Генри.

— Если мне кто-то каркает, у меня просто руки чешутся, я так зверею, что могу убить. Знаешь, почему я всю жизнь провел в тюрьме? Потому что однажды, когда мне было тринадцать лет, я не смог сдержаться. Я пошел с приятелем в кино, а он отпустил шуточку насчет моей матери — ты знаешь это грязное словечко, — вот я и достал свой складной нож и перерезал ему плотку, и убил бы, если б меня не оттащили. Судья спросил: «Ты соображал, что делаешь, когда набросился на своего друга?» — «Дассэр, ваша честь, соображал, я хотел убить этого сукина сына и до сих пор хочу». Вот меня и не освободили ни под какое честное слово и отправили прямиком в исправительное заведение. Я вдобавок и геморрой себе заработал, потому что сидел на полу в одиночке. Никогда не попадай в федеральную тюрьму, там просто паскудно. Черт, я бы мог всю ночь болтать, так давно ни с кем не разговаривал. Ты не представляешь себе, как мне *хорошо* на воле! Вот я вхожу, а ты сидишь в автобусе и проезжаешь Терре-Хот... о чем ты думал?

— Я просто сидел и ехал.

— А я вот пел. Я сел рядом с тобой, потому что с девицами садиться побаиваюсь, я ведь могу чего доброго свихнуться и полезть им под юбку. Надо бы чуток переждать.

— Еще один срок, и тебя упекут на всю жизнь. Теперь уж тебе лучше не усердствовать.

— Да я и сам знаю, только вот беда: как начнут чесаться руки, я уже не соображаю, что делаю.

Жить он намеревался с братом и невесткой; в Колорадо они подыскали ему работу. Билет ему купили федеральные власти, и место назначения было оговорено. Этот малый напомнил мне Дина в прошлом: он был не в состоянии вынести бурления собственной крови, у него чесались руки; вот только не было в нем той непостижимой врожденной святости, которая могла бы избавить его от суровой участи.

— Будь другом, последи, чтоб в Денвере у меня руки не зачесались, ладно, Сал? Может, тогда я доберусь до брата без приключений.

Когда мы приехали в Денвер, я взял его под руку и отвел на Лаример-стрит закладывать тюремный костюм. Не успел Генри распаковать сверток, как старый еврей учуял, что это такое.

— Мне здесь эта пакость ни к чему. Ребята из Каньон-Сити каждый день такие приносят.

Лаример-стрит кишмя кишела бывшими арестантами, пытавшимися продать пошитые в тюрьме костюмы. В конце концов Генри пришлось ходить по городу, сунув свои шмотки в бумажном пакете под мышку, зато в новеньких джинсах и рубаше спортивного покроя. Мы направились в старый Динов бар «Гленарм» — по дороге Генри выбросил костюм в урну — и оттуда позвонили Тиму Грэю.

— Ты? — радостно закудахтал Тим Грэй. — Сейчас буду.

Через десять минут он вприпрыжку вбежал в бар вместе со Стэном Шефардом. Тим со Стэном недавно съездили во Францию, после чего страшно разочаровались в своей денверской жизни. Генри они полюбили и угостили его пивом, а тот принялся направо и налево сорить своими тюремными деньгами. Снова я оказался в нежной темной денверской ночи с ее священными закоулками и шаткими строениями. Мы пустились в поход по всем городским барам, побывали в придорожных забегаловках Уэст-Колфакса, в негритянских салунах Файв-Пойнтса, везде и всюду.

Стэн Шефард целую вечность искал случая со мной познакомиться, и теперь нас с ним впервые ждало рискованное

предприятие.

— После возвращения из Франции, Сал, я потерял всякое представление о том, что мне делать с самим собой. Правда, ты едешь в Мексику? Черти жареные, можно я поеду с тобой? Я могу раздобыть сотню монет, а там, в Университете Мехико, сразу же оформлю себе ветеранские льготы.

Отлично, мы ударили по рукам, Стэн едет со мной. Он был длинноногим застенчивым денверским парнем с копной волос, широкой улыбкой мошенника и медлительными, даже ленивыми манерами Гэри Купера. «Черти жареные!» — произносил он и, закрепив большие пальцы обеих рук на ремне, неторопливо шагал по улице. Дед Стэна всеми правдами и неправдами пытался заставить его остаться. Раньше он был против Франции, а теперь ему претила сама мысль о поездке в Мексику. Из-за этой битвы с дедом Стэн вынужден был слоняться по Денверу, словно бродяга. В ту ночь, после того как мы покончили с выпивкой и не дали зачесаться рукам Генри в «Хот Шоппе» на Колфакс-стрит, Стэн неверной походкой направился ночевать в гостиничный номер Генри на Гленарм-стрит.

— Я даже не могу поздно прийти домой — дед затевает драку со мной, потом переходит на мать. Вот что, Сал, я просто свихнусь, если немедленно не смогаюсь из Денвера.

Я же остановился у Тима Грэй, а немного позже Бейб Роулинс обеспечила меня чисто прибранной полуподвальной комнатенкой, куда целую неделю по вечерам все являлись ко мне в гости.

Генри отправился к брату и как в воду канул, больше мы его не видели и никогда не узнаем, накаркал ли ему кто-нибудь без нас, упекли ли его за решетку, или же он мчится на всех парусах в вольной ночи.

Всю неделю Тим Грэй, Стэн, Бейб и я целыми днями просиживали в чудесных денверских барах, где официантки ходят в широких брюках и бросают на всех робкие нежные взгляды — вовсе не озлобленные официантки, а официантки, которые влюбляются в постоянных клиентов, вступают в безумные связи, гневаются, раскаиваются и страдают, — и так в каждом баре. Вечера все той же недели мы проводили в Файв-Пойнтсе, где слушали джаз и накачивались спиртным в сумасшедших негритянских салунах, а потом до пяти утра чесали языки в моем подвальчике. Полдень

обычно заставлял нас лежащими в садике за домом Бейб в окружении денверской детворы; малыши играли в ковбоев и индейцев и набрасывались на нас, прыгая с цветущих вишневых деревьев. Время я проводил расчудесно, мне принадлежал весь мир, потому что я ни о чем не мечтал. Мы со Стэном задумали уговорить Тима Грэя поехать с нами, однако Тим не пожелал расставаться со своей денверской жизнью.

Я уже готовился к отъезду в Мексику, когда ночью неожиданно позвонил Денвер Долл:

— Ну-ка, Сал, угадай, кто едет в Денвер? — Я понятия не имел. — Он уже в пути, сведения из надежных источников. Дин купил машину и отправился за тобой вдогонку.

Внезапно я едва ли не воочию увидел, как Дин, пылающий, содрогающийся и вселяющий ужас демон, с чудовищной скоростью тучей вырастает передо мной на дороге, неотступно, точно закутанный в саван Скиталец, преследует меня на равнине и, наконец, на меня обрушивается. Я увидел над равнинами его исполненное безумной решимости широкоскулое лицо с горящими глазами; я увидел его крылья; увидел его древнюю обшарпанную колесницу с тысячами вырывающихся наружу искрящихся языков пламени; увидел выжженную позади этой колесницы дорогу — и даже то, как она сама прокладывает себе путь и мчится сквозь кукурузные поля и города, разрушая мосты, осушая реки. Она явилась на Запад воплощением гнева. Я знал, что Дин опять сошел с ума. Если уж он забрал из банка все свои сбережения и купил машину, значит, у него не оставалось ни малейшей возможности посылать деньги ни одной из двух жен. Все, песенка его была спета. Позади него дымились обугленные руины. Вновь он мчался через величественный стонущий континент на запад и очень скоро должен был прибыть. Мы занялись поспешными приготовлениями к приезду Дина. До нас дошли слухи о том, что он намеревается отвезти меня в Мексику.

— Как по-твоему, возьмет он меня с собой? — спросил перепуганный Стэн.

— Я с ним поговорю, — твердо пообещал я.

Мы не знали, чего и ждать. «Где он будет ночевать? Что собирается есть? Нет ли для него каких-нибудь девушек?» Похоже было, что надвигается прибытие Гаргантюа, и к нему следовало

подготовиться: расширить трущобы Денвера и отменить действие кое-каких законов, чтобы вместить его громоздкое истрадавшееся тело, переполненное иступленным восторгом.

Приезд Дина был обставлен, как в старом кинофильме. Был золотистый день, я сидел в доме Бейб. Несколько слов о доме. Мать Бейб уехала в Европу. В роли дуэньи Бейб выступала ее тетка по имени Черити; в свои семьдесят пять лет она была бойкой, как молодая девушка. В семье Роулинсов, которая расселилась по всему Западу, она непрерывно переезжала из дома в дом и, как правило, приносила пользу. Когда-то у нее было множество сыновей. Все они разъехались; все они ее покинули. Несмотря на преклонный возраст, она интересовалась всем, что мы делаем и о чем говорим. Если в гостиной мы прикладывались к виски, она с грустью покачивала головой: «Могли бы для этого выйти во двор, молодой человек». Наверху — в то лето дом представлял собой нечто вроде пансиона — жил малый по имени Том, который был безнадежно влюблен в Бейб. Он приехал из Вермонта, был, по слухам, выходцем из богатой семьи, и впереди его ждала карьера и все такое прочее, однако он предпочитал оставаться поближе к Бейб. Вечерами он сидел в гостиной, скрыв за газетой пылающее лицо, слышал каждое наше слово, но виду не подавал. Если что-то произносила Бейб, он вспыхивал с головы до пят. Стоило нам заставить его отложить газету, как он принимался смотреть на нас с бесконечной тоской и страданием во взоре: «Что? Ах да, и мне так кажется» — только это он обычно и говорил.

Черити сидела в своем углу за вязаньем, оглядывая всех нас своими птичьими глазками. Задача ее состояла в том, чтобы неотступно находиться при молодой девушке и ограждать ее от нашего сквернословия. Бейб сидела на кушетке и хихикала. Тим Грэй, Стэн Шефард и я сидели развалясь в креслах. Бедняга Том стойко переносил свои муки. Наконец он вставал зевал и говорил: «Ну что ж, еще день, еще доллар. Доброй ночи» — и исчезал наверху. Но что толку было Бейб от его любви? Она любила Тима Грэя; а тот ускользал от нее, словно угорь.

Вот так мы и сидели в тот солнечный день, и когда уже близилось время ужина, Дин подъехал к дому на своей колымаге и выскочил из

нее — в твидовом костюме с жилетом и цепочкой для часов.

— Хоп! хоп! — донеслось с улицы.

С ним был и Рой Джонсон, который вместе с женой Дороти только что вернулся из Фриско и снова жил в Денвере. Вернулись и Данкел с Галатеей Данкел, и Том Снарк. Все опять были в Денвере. Я вышел на крыльцо.

— Ну, мой мальчик, — сказал Дин, протягивая мне свою громадную ладонь, — я пляжу, вы тут без меня не скучаете. Привет, привет, — обратился он ко всем. — Ага, Тим Грэй, Стэн Шефард, как дела? — Мы представили его Черити. — О, как поживаете? Вот это мой друг Рой Джонсон, он любезно согласился меня сопровождать, хм-хм! ей-богу! кхе-кхе! Майор Хупл, сэр, — сказал он, протягивая руку вытаращившему на него глаза Тому. — Да, да. Ну, Сал, какие дела, старина, когда едем в Мексику? Завтра днем? Прекрасно, прекрасно, гм! А сейчас, Сал, у меня ровно шестнадцать минут, чтобы добраться до Эда Данкела, там я должен починить свой старый железнодорожный хронометр, который хочу до закрытия заложить на Лаример-стрит, и гнать надо очень быстро, да и еще посмотреть по сторонам, если время позволит, — может, мой отец случайно окажется в «Буфете Джиггса», а может, и в каком другом баре, а потом меня ждет парикмахер, Долл ведь давно хотел сделать из меня постоянного клиента, а я за эти годы не очень-то изменился, вот и гну свою линию... кхе! кхе! Ровно в шесть часов... ровно, слышишь?.. ты должен быть здесь, я буду проезжать мимо и заберу тебя ненадолго к Рою Джонсону послушать Гиллеспи и прочий отборный «боп» — часок передохнем, а уж потом вы с Тимом, Стэном и Бейб можете заниматься тем, что запланировали на вечер без всякой связи с моим приездом, а приехал я, между прочим, ровно сорок пять минут назад на моем стареньком «Форде-тридцать семь», который вы видите на улице, по дороге я еще успел навеститься к моему двоюродному брату в Канзас-Сити, не к Сэму Брэди, а к тому, что помоложе...

Во время этой своей речи Дин, скрывшись от посторонних глаз в отгороженной части гостиной, деловито снимал пиджак, надевал футболку и перекидывал часы в другие брюки, которые извлек все из того же старого, потрепанного чемодана.

— А Инес? — спросил я. — Что произошло в Нью-Йорке?



— Формально, Сал, я поехал, чтобы получить мексиканский развод, более дешевый, чем где бы то ни было. У меня есть наконец согласие Камиллы, все уладилось, все чудесно, все просто замечательно, и мы знаем, что теперь нас равным счетом ничего не волнует, верно, Сал?

Что ж, ладно, я всегда готов следовать за Дином, так что мы наспех скорректировали наши общие планы, условились как следует провести вечер, и вечер оказался незабываемым. Брат Эда Данкела зазвал к себе гостей. Другие два его брата — водители автобуса. Они сидели, с благоговейным страхом взирая на все происходящее. На столе было роскошное угощение, торт и выпивка. Эд Данкел имел вид счастливого и преуспевающего человека.

— Ну и как, с Галатеей у вас наконец все наладилось?

— Дассэр, — сказал Эд, — конечно. Знаешь, я собираюсь поступить в Денверский университет, и Рой тоже.

— Что вы будете изучать?

— Да социологию и все, что с ней связано. Послушай, тебе не кажется, что Дин с каждым годом становится все безумнее?

— Так оно и есть.

Галатея Данкел тоже была с нами. Она пыталась с кем-нибудь заговорить, однако общим вниманием завладел Дин. Он толкал речь, стоя перед Шефардом, Тимом, Бейб и мной, мы сидели рядышком на расставленных вдоль стены кухонных стульях. За спиной у Дина беспокойно расхаживал Эд Данкел. Его бедного братца загнали на задний план.

— Хоп! хоп! — вещал Дин, с силой оттягивая вниз майку, почесывая живот и подпрыгивая. — Да, значит, так... вот мы все собрались, у каждого из нас позади годы, и все же вы видите, что в общем-то никто из нас не изменился, это просто поразительно — такая жизне... жизне... стойкость... между прочим, чтобы это доказать, я принес колоду карт, на которых могу безошибочно гадать всеми способами.

Это была та самая непристойная колода. Дороти Джонсон и Рой Джонсон напряженно застыли в углу. Печальная вышла вечеринка. Потом Дин неожиданно умолк, сел на кухонный стул между мной и Стэном и, не обращая больше ни на кого внимания, уставился прямо перед собой с неизбывным собачьим изумлением, смешанным с

восторгом. Он попросту исчез на минуту, чтобы вновь собраться с силами. Стоило к нему прикоснуться, и он зашатался бы, как валун, удерживаемый на краю утеса лишь маленьким голышом. Он мог с грохотом сорваться в пропасть, а мог покачаться и застыть как скала. Потом валун расцвел настоящим цветком, лицо его озарила очаровательная улыбка, он огляделся, словно пробуждаясь ото сна, и произнес:

— Ах, только посмотрите, какие замечательные люди сидят рядом со мной! Разве это не прекрасно! Ну не иначе, Сал, я только на днях с Мин потолковал, ну и ну, гм, гм, ах да! — Он встал и, протянув руку, направился через всю комнату приветствовать одного из братьев-водителей. — Как поживаете? Меня зовут Дин Мориарти. Да, я вас прекрасно помню. У вас все в порядке? Превосходно. Взгляните на этот восхитительный торт. Ох, можно мне попробовать? Только мне? Мне, бедолаге? — Сестра Эда разрешила. — Ах, просто замечательно! Все люди так добры! Выставляют на столы торты и прочие лакомства лишь для того, чтобы доставить другим дивные маленькие радости. Гм, гм! Ах да, великолепно, превосходно, хм-хм, ей-богу!

Он встал посреди комнаты и, покачиваясь и благоговейно взирая на всех, принялся есть свой торт. Его изумляло все, что бы он ни увидел. Не желая ничего упускать, он поминутно оглядывался. Гости разбились на группы и разговаривали, а он вставлял:

— Да! Вот именно!

Вдруг он оцепенел; его внимание привлекла картина на стене. Потом подошел поближе, присмотрелся, шагнул назад, нагнулся, подпрыгнул, ему хотелось рассмотреть ее на всех мыслимых уровнях, во всех ракурсах. В сердцах воскликнув: «Черт подери!» — он рванул на себе футболку. Он понятия не имел, какое впечатление производит, впрочем, его это нисколько не волновало. Народ уже начинал поглядывать на Дина с отсветом материнской и отеческой любви в глазах. Он наконец превратился в ангела, а я всегда знал, что это случится. Но, как всякому ангелу, ему, кроме всего прочего, были свойственны и ярость, и неистовство, и в ту ночь, когда все мы ушли с вечеринки и шумной толпой переместились в бар гостиницы «Виндзор», Дин безрассудно, дьявольски, да и ангельски напился.

Как вы помните, «Виндзор», некогда роскошный денверский отель времен «Золотой лихорадки» и во многих отношениях городская достопримечательность — в большом салуне внизу стены до сих пор хранят следы пуль, — служил в свое время Дину родным домом. Он жил здесь с отцом в одном из номеров. И теперь он явился сюда отнюдь не туристом. В этом салуне он пил так, словно обратился в тень своего отца: вино, пиво и виски он хлестал как воду. Он покраснелся, покрылся потом, он завывал и горланил у стойки. Одолев на полусогнутых танцплощадку, где танцевали со своими девушками западные пропойцы, он попытался сыграть на пианино, а потом принялся заключать в объятия бывших арестантов и перекрикиваться с ними во всеобщем шуме и гаме. Тем временем вся наша компания сидела за двумя громадными сдвинутыми столами. Сидели там Денвер Д. Долл, Дороти и Рой Джонсон, одна девушка из Буффало, Вайоминг, — подруга Дороти, Стэн, Тим Грэй, Бейб, я, Эд Данкел, Том Снарк и кто-то еще — всего тринадцать. Долл веселился на славу: поставив перед собой на стол машинку для очистки орехов от скорлупы, он бросал в нее монетки и лакомился арахисом. Он посоветовал нам всем написать что-нибудь на грошовой почтовой открытке и отправить ее в Нью-Йорк Карло Марксу. И мы написали несусветную чушь. Ночь Лаример-стрит оглашалась звонкой скрипичной музыкой.

— Ну, разве не весело! — орал Долл. В уборной мы с Дином ломались в закрытую дверь, а потом попытались ее взломать, но она оказалась не меньше дюйма толщиной. Я заработал себе трещину в кости на среднем пальце и понял это только на следующий день. Мы были пьяны в дымину. На наших столах стояло одновременно пятьдесят стаканов пива. Надо было лишь носиться вокруг и отхлебывать из каждого. В этом хороводе, что-то тараторя, кружились с нами бывшие арестанты из Кэньон-Сити. В фойе салуна под тикающими старинными часами сидели, опершись на трости, погруженные в грезы одряхлевшие бывшие старатели. Подобное неистовство они знавали и в куда лучшие времена. Все закружилось в вихре. Где только не устраивались вечеринки! Одна — даже в замке, куда мы все и поехали — кроме Дина, который умчался в неизвестном направлении. В зале этого замка мы расселись за громадным столом и принялись орать. Снаружи были гроты и плавательный бассейн.

Наконец-то я отыскал замок, где выползет на поверхность исполинский мировой змей.

Потом, поздней ночью, остались только Дин, я, Стэн Шефард, Тим Грэй, Эд Данкел и Томми Снарк — все в одной машине, все еще было впереди. Мы заехали в Мексиканский квартал, мы заехали в Файв-Пойнтс, мы колесили по городу. От восторга Стэн Шефард потерял рассудок. Резким визгливым голосом он то и дело выкрикивал: «Сукин сын! Черти жареные!» — и хлопал себя по коленям. Дин был от него без ума. Он повторял все, что говорил Стэн, отдувался и вытирал пот со лба.

— Эх, и повеселимся же мы, Сал, когда поедem в Мексику с этим пройдохой Стэном! Да!

Это была наша последняя ночь в священном Денвере, и мы сделали ее бурной и незабываемой. Все кончилось вином при свечах в моем подвальчике, и Черити, неслышно ходившей взад-вперед наверху, в ночной рубашке с фонарем. К тому времени к нам присоединился темнокожий мальй, назвавшийся Гомесом. Он околачивался в Файв-Пойнтсе и в ус не дул. Когда мы его увидели, Том Снарк крикнул:

— Эй, тебя случаем не Джонни звать?

В ответ Гомес дал задний ход, прошел мимо нас еще разок и произнес:

— Будьте добры, повторите, что вы сказали.

— Я говорю, ты не тот мальй, которого зовут Джонни?

Гомес плавной походкой вернулся обратно и сделал еще одну попытку.

— Ну как, теперь похоже? Я ведь изо всех сил стараюсь стать Джонни, вот только не знаю, как это сделать.

— Годится, *старина*, поехали с нами! — вскричал Дин.

Гомес прыгнул в машину, и мы тронулись. В подвальчике, чтобы не нарушать покоя соседей, мы исступленно перешептывались. В девять часов утра ушли все, кроме Дина и Шефарда, которые все еще чесали языками, как маньяки. Люди встали приготовить завтрак и услышали доносящиеся из подzemелья незнакомые голоса: «Да! Да!». Состряпала обильный завтрак и Бейб. Подходило время сматываться в Мексику.

Дин съездил на ближайшую станцию обслуживания, где машину привели в божеский вид. Это был «Форд-седан 37», правая дверца которого соскочила с петель и была примотана к раме. Сломано было и правое переднее сиденье, и сидеть на нем приходилось откинувшись назад, лицом к ветхой крыше.

— Ну чем не Мин и Билл! — сказал Дин. — Будем хрипеть и дергаться до самой Мексики. Не один денек придется туда добираться.

Я изучил карту: в общей сложности больше тысячи миль, главным образом по Техасу, до границы в Ларедо, а потом еще семьсот шестьдесят семь миль через всю Мексику до огромного города близ потрескавшихся вершин Истмуса и Охакана. О подобном путешествии я не мог и мечтать, оно обещало стать самым потрясающим из всех. Это вам не восток-запад, это манящий юг. Перед нашими глазами встала картина всего Западного полушария с его скалистыми ребрами, уходящими к самому Тьерра-дель-Фуэго, и мы вообразили себе, как стремглав спускаемся по земной кривизне в другие тропики и другие миры.

— Старина, так мы наконец доберемся до *этого!* — В голосе Дина прозвучала неколебимая вера. Он похлопал меня по плечу. — Вот увидишь! Ого-го! Эх-ма!

Я отправился вместе с Шефардом к нему домой разделаться с последней из его денверских обязанностей. Его несчастный дед стоял в дверях дома и твердил:

— Стэн... Стэн... Стэн.

— Что, дедуля?

— Не уезжай.

— Но это дело решенное, я *должен* ехать. Ни к чему все это.

У старика были седые волосы, большие миндалевидные глаза и неестественно напряженная шея безумца.

— Стэн, — бесхитростно просил он, — не уезжай. Не доводи своего старого деда до слез. Не оставляй меня снова одного.

Нелегко было на все это смотреть.

— Дин, — сказал старик, обращаясь ко мне, — не отбирай у меня моего Стэна. Когда он был ребенком, я водил его в парк и рассказывал про лебедей. А потом в том самом пруду утонула его маленькая сестренка. Я не хочу, чтобы ты увозил моего мальчика.

— Нет, — сказал Стэн, — мы уезжаем. Прощай. — Он с трудом держал себя в руках.

Дед схватил его за руку:

— Стэн, Стэн, Стэн, не уезжай, не уезжай, не уезжай.

Втянув головы в плечи, мы обратились в бегство, а старик все стоял в выходящих на улицу дверях своего денверского коттеджа с украшенным капельками входом и чересчур плотно набитой мебелью маленькой гостиной. Он был бледен как полотно и все еще звал Стэна. В его поведении сквозила полнейшая беспомощность, он даже не сделал попытки уйти, а лишь стоял в дверях, бормоча «Стэн» и «не уезжай», и с тревогой смотрел, как мы сворачиваем за угол.

— Боже мой, Шеф, не знаю, что и сказать.

— Не обращай внимания! — простонал Стэн. — Он всегда такой.

С матерью Стэна мы встретились в банке, где она брала для него деньги. Она была красивой светловолосой женщиной, на вид еще очень молодой. Они с сыном стояли на мраморном полу банка и перешептывались. Стэн был сплошь заджинсован — куртка и все такое прочее — и выглядел именно как человек, всерьез собравшийся в Мексику. Кончилось его жалкое прозябание в Денвере, и теперь он покидал город вместе с пылким новоиспеченным другом — Дином. Дин внезапно появился из-за угла и перехватил нас как раз вовремя. Миссис Шефард настояла на том, чтобы купить нам всем по чашке кофе.

— Берегите моего Стэна, — сказала она. — В той стране всякое может случиться.

— Мы все будем друг о друге заботиться, — сказал я.

Стэн с матерью ушли вперед, а я брел позади с обезумевшим Дином; он рассказывал мне о надписях, которые вырезают на стенах уборных на Востоке и на Западе.

— Они совершенно не похожи. На Востоке в ходу циничные шуточки, избитые остроты да еще прозрачные намеки и сортирные фактики с рисунками. На Западе просто пишут свои имена: здесь был Ред О'Хара, Блеф-таун, Монтана, и дата — все на полном серьезе, как, скажем, у Эда Данкела, и причиной тому — безысходное одиночество, которое если и становится немного другим, когда переплываешь Миссисипи, то и там все-таки никуда не девается.

И верно, впереди нас шел одинокий парень, ведь даже мать Шефарда, которая была прекрасной матерью и очень не хотела отпускать сына, и то сказала, что он должен ехать. Я видел, как он бежит от деда. Такая вот собралась троица: Дин, который искал отца, я — никто, Стэн, удирающий от своего старика, и мы все вместе направлялись в ночь. В суматошной толкотне 17-й улицы Стэн поцеловал мать, она села в такси и помахала нам рукой. Прости-прощай.

У дома Бейб мы с нею простились и сели в машину. Тим проехал с нами до своего загородного дома. В этот день Бейб была прекрасна: волосы у нее были длинные и светлые, как у шведки, в лучах солнца у нее обнаружили веснушки. Она в точности походила на ту маленькую девочку, какой была когда-то. Глаза ее затуманились. Она могла бы взять Тима и подъехать к нам попозже — но этого не случилось. Прости-прощай.

Мы с грохотом умчались прочь. Тима мы оставили за городом, в его дворе на Равнинах, и я обернулся посмотреть, как удаляется от нас, оставаясь среди этих равнин, Тим Грэй. Этот чудак стоял не меньше двух минут, дожидаясь, пока мы не скроемся из виду, и одному Богу известно, какими скорбными мыслями переполнялась его голова. Он становился меньше и меньше и все так же неподвижно стоял, ухватившись рукой за бельевую веревку, словно капитан корабля, а я весь извертелся, желая получше разглядеть Тима Грэя, но скоро не осталось ничего, кроме растущего отсутствия в пространстве, а пространством этим был вид на восток, в сторону Канзаса, и уходило оно вспять, к моему родному дому в Атлантиде.

Потом мы направили дребезжащую морду нашего драндулета на юг и взяли курс на Касл-Рок, Колорадо, а солнце уже окрасилось в багровый цвет, и одна из скал расположенных на западе гор стала похожа на бруклинскую пивоварню в ноябрьских сумерках. Далеко вверх, в пурпурных тенях скалы, шел и шел кто-то, но видеть его мы не могли; быть может, это был тот старик с серебристыми волосами, которого я учуял среди этих вершин много лет назад. Человек из Закатекаса<sup>[18]</sup>. Однако он приближался ко мне, если только уже не шел следом. А Денвер таял позади, словно город из соли, дым его расплзался в воздухе и исчезал на глазах.

Был май. И откуда только в такие ничем не примечательные деньки в Колорадо с его фермами, оросительными каналами и тенистыми лощинами — местами, куда ходят купаться мальчишки, — может взяться насекомое вроде того, что укусило Стэна Шефарда? Стэн ехал, непринужденно опершись рукой о сломанную дверь, и весело молот языком, когда вдруг какой-то жук на лету вонзил ему в руку свое длинное жало, и он взвыл от боли. Жук этот прилетел из американского дня. Стэн дернулся, с размаху хлопнул себя по руке и вытащил жало, а через несколько минут рука начала распухать и ныть. Мы с Дином не могли взять в толк, что это была за тварь. Оставалось только подождать и посмотреть, не спадет ли опухоль. Вот так штука! Мы направлялись в неведомые южные страны, и не отъехали и трех миль от родного города, несчастного старого города детства, как с невидимого гнилья поднялось в воздух диковинное вредоносное насекомое, вселившее страх в наши сердца.

— Что за дела?

— Кто бы мог подумать, что в этих краях водится жук, который может так укусить!

— Вот черт!

Из-за этого вся затея с путешествием представилась нам не сулящей ничего хорошего и заранее обреченной на провал. Мы ехали вперед. Рука Стэна стала еще хуже. Следовало остановиться у первой же больницы, чтобы ему сделали укол пенициллина. Мы миновали Касл-Рок и ночью добрались до Колорадо-Спрингз. Справа от нас неясно вырисовывалась громада пика Пайкс. Мы покатали по шоссе на Пуэбло.

— А на этой дороге я столько раз голосовал, что и не сосчитать, — сказал Дин. — Вон за той самой проволочной оградой я спрятался как-то ночью, потому что перепугался вдруг не на шутку, сам не знаю чего.

Решено было, что каждый расскажет свою историю, только по очереди, и начинать выпало Стэну.



— Ехать нам еще долго, — предупредил наши выступления Дин, — и поэтому не отказывайте себе в удовольствии, обсасывайте каждую деталь, все, что только сможете припомнить, — а всего все равно не расскажешь. Не спеши, — назидательным тоном он прервал Стэна, который уже начал было свой рассказ, — тебе ведь и отдохнуть не мешает.

Пока мы неслись сквозь тьму, Стэн пустился в повествование о своей жизни. Начал он со своих приключений во Франции, однако, углубившись в непролазные дебри, вынужден был повернуть вспять и начать с начала — с денверского детства. Они с Дином принялись выяснять, сколько раз они встречались, когда гоняли по городу на велосипедах.

— Один-то случай ты наверняка позабыл... Гараж Арапахо. Помнишь? Я еще на углу задурил в тебя мячом, ты отбил его кулаком, и он укатился в сточную канаву. Мы еще в школе учились. Ну, вспомнил?

Стэна трясло как в лихорадке. Ему не терпелось поведать Дину все. А Дин превращался то в хозяина и повелителя, то в арбитра, а то и в сочувственно кивающего слушателя.

— Да, да, продолжай, пожалуйста.

Мы проехали Уолзенберг, потом неожиданно миновали Тринидад, а там, где-то близ дороги, сидел у походного костра Чед Кинг. В окружении, быть может, горстки антропологов он, как встарь, тоже вел рассказ о своей жизни. Ему и в голову не могло прийти, что в эту самую минуту мы едем мимо по шоссе, держа путь в Мексику, и рассказываем о себе. О печальная американская ночь! Потом мы очутились в Нью-Мексико, миновали округлые скалы Ратона и остановились у дешевого ресторанчика, где, смертельно голодные, закупили гамбургеров, часть которых завернули в салфетку, решив съесть по ту сторону границы, внизу.

— У наших ног, Сал, лежит весь вертикальный штат Техас, — сказал Дин. — А мы всегда считали, что он горизонтальный. Но он ничуть не стал меньше. Уже через несколько минут мы будем в Техасе, а выберемся из него только завтра в это же время — и то если будем гнать без остановки. Подумать только!

Мы вновь тронулись в путь. За необъятной равниной ночи лежал первый техасский город — Далхарт, который я проезжал в 1947 году.

Он тускло мерцал, раскинувшись на темном дне земли, в пятидесяти милях от нас. В лунном свете виднелись лишь пустынные пространства и мескитовые деревья. А луна светила с небосклона. Она жирела, вырастала до гигантских размеров и покрывалась ржавчиной, она наливалась соком и каталась по небу, но вскоре в спор с ней вступила утренняя звезда, и ветер начал заносить нам в окна капли росы. А мы мчались без остановки. Оставив позади Далхарт — безлюдный игрушечный городок, — мы понеслись в сторону Амарилло и к утру уже были там, среди открытых ветрам лугов западного выступа Техаса — лугов, травы которых всего лишь несколько лет назад колыхались вокруг скопления бизоньих становищ. Теперь же там были бензоколонки и новейшие музыкальные автоматы 1950 года с громадными размалеванными мордами, щелями для десятицентовиков и жуткими песнями. Всю дорогу от Амарилло до Чилдресса мы с Дином сюжет за сюжетом вколачивали в Стэна едва ли не все прочитанные нами книги. Стэн сам об этом попросил, ему было интересно. Близ Чилдресса, под палящим солнцем, мы свернули прямо на юг, на малую дорогу, и стремительно понеслись через нетронутую пустыню к Падьюке, Гатри и Абилину, штат Техас. Дину было самое время поспать, а мы со Стэном пересели вперед и сменяли друг друга за рулем. Дряхлый перегретый автомобиль, брыкаясь, мчался из последних сил. Сверкающие просторы насылали на нас огромные облака песчаных ветров. Стэн катил и катил вперед, без умолку болтал о Монте-Карло, о Канн-сюр-Мер и о лазурных деревеньках неподалеку от Мантона, где бродят среди белых стен смуглолицые люди.

Техас ни с чем не спутаешь. Мы неторопливо вползли в пределы Абилина, и все проснулись посмотреть, что это за место.

— Воображаю, какая жизнь в этом городишке, в тысяче миль от больших городов! Ага! Вон он где, старый райончик, откуда пошел Абилин. Ну вон же, у железной дороги! Сюда везли коров, здесь поднимали пальбу в ищеек и накачивались сивухой. Смотрите! — орал Дин, высунувшись в окошко и скривив рот, точно У. К. Филдз.

Техас ему был нипочем, как, впрочем, и любое другое место. Краснолицые техасцы, не обращая на него никакого внимания, торопливо шли по раскалившимся тротуарам Южнее города, прямо по шоссе, мы остановились перекусить. С ощущением, что до

наступления сумерек еще не меньше тысячи миль, мы вновь завели мотор и направились в сторону Колмена и Брейли к самому сердцу Техаса: буйно разросшийся кустарник редкий домик у высохшего ручья, пятидесятимильный крюк по грунтовой дороге и нескончаемая жара.

— Да, далековато еще до старушки Мексики, — сквозь сон пробормотал с заднего сиденья Дин, — так что гоните, ребята, и мы еще до рассвета будем всю целовать сеньорит. Ведь этот старенький «фордик» катит за милую душу, надо с ним только хорошенько поговорить и не давить ему на психику... Разве что того и гляди отвалится сзади днище, однако насчет этого не волнуйтесь, доберемся. — И он уснул.

Я сел за руль, довел машину до Фредериксберга и там вновь принялся водить пальцем по старенькой карте. Именно в этом городе мы с Мерилу держались за руки снежным утром 1949 года. Где-то теперь Мерилу?

— Наяривай! — завопил Дин во сне, и сдается мне, что снился ему джаз Фриско, а может, и грядущее мексиканское мамбо.

Стэн тараторил без умолку. Как завел его Дин прошлой ночью, так он, судя по всему, останавливаться и не собирался. Теперь он уже был в Англии и рассказывал о своих приключениях на английской дороге, о том, как добирался на попутках из Лондона в Ливерпуль — длинноволосый, в изодранных штанах, — а чудные британские водители грузовиков подвозили его во мраке европейской пустоты. От непрекращающихся мистральных ветров старого Техаса у нас покраснели глаза. У каждого из нас было такое чувство, будто он пролотил камень, но мы знали, что рано или поздно будем у цели. Машина, вздрагивая от напряжения, выжимала сорок. После Фредериксберга мы начали спуск с бескрайних западных высоких равнин. О ветровое стекло стали биться мотыльки.

— Спускаемся в жаркие страны, ребята: беглые бандюги и текила. В первый раз я заехал так далеко на юг Техаса, — удивленно добавил Дин. — Черт подери! Ведь именно сюда приезжает зимовать мой старик, хитрющий старый бродяга.

Внезапно мы очутились среди настоящей тропической жары, у подножия протянувшегося миль на пять холма, и увидели огни старого Сан-Антонио. Чувствовалось, что когда-то здесь и в самом

деле была мексиканская территория. Непривычными были домики у дороги, более обшарпанными — бензоколонки, да и фонарей поубавилось. Дин с наслаждением сел за руль и повез нас в Сан-Антонио. Город встретил нас нагромождением чисто мексиканских покосившихся южных хижин без подвалов; на балкончиках стояли древние кресла-качалки. В машине кончилось масло, и мы подъехали к совершенно немыслимой заправочной станции. В жарком свете подвесных ламп, черных от налетевших из долины майских жуков, толпились мексиканцы. То и дело наклоняясь к ящику с освежающими напитками, они вытаскивали оттуда бутылки с пивом и бросали служителю деньги. Этому занятию они предавались целыми семьями. Повсюду виднелись хижины и поникшие деревья, воздух был напоен ароматом дикой корицы. В сопровождении парней мимо шли темпераментные юные мексиканки.

— Ого-го! — вскричал Дин. — *Si! Mañana!*

Со всех сторон неслась музыка — музыка на любой вкус. Мы со Стэном выпили несколько бутылок пива и захмелели. Почти покинув уже пределы Америки, мы все еще, вне всяких сомнений, находились в своей стране, да к тому же там, где безрассудство ее не знает границ. По улицам гоняли на своих форсированных колымагах лихачи. Ага! Сан-Антонио!

— Слушайте, братва, а не повалять ли нам пару часиков дурака в Сан-Антонио? Заодно отыщем больничку для Стэновой руки. А мы с тобой, Сал, разузнаем пока, что творится на здешних улицах... Только погляди, какие на той стороне дома! Заглядывай прямо в комнату и любуйся всеми расчудесными дочками, а они знай себе лежат да листают журнал «Тру Лав». Красотища! Поехали!

Какое-то время мы бесцельно колесили по городу, выпрашивая дорогу к ближайшей больнице. Нашли мы ее неподалеку от делового района, почти по-американски напوماженного: несколько полунебоскребов, множество неоновых огней и однотипные аптеки. И все же из тьмы то и дело с грохотом выныривали машины. Похоже, дорожных правил в городе не существовало. Мы остановились на больничной подъездной аллее. Я повел Стэна к врачу, а Дин остался в машине переодеться. Коридор больницы был забит бедными мексиканками. Одни были беременны, другие больны или привели больных ребятишек. Мне стало грустно. Я подумал о бедняжке Терри

и страшно захотел узнать, что она делает в эту ночь. Стэну пришлось прождать битый час, пока не появился живущий при больнице врач и не осмотрел распухшую руку. У инфекции, которую подхватил Стэн, было название, но никто из нас не потрудился его выговорить. Ему сделали укол пенициллина.

Мы с Дином тем временем отправились поглазеть на мексиканскую часть Сан-Антонио. Воздух был благоуханный и теплый — таким теплым воздухом я дышал впервые, — а улицы темные, таинственные и шумные. В гудящей тьме неожиданно возникли девичьи фигурки в белых шелковых платочках. Еле передвигавший ноги Дин долго не мог вымолвить ни слова.

— Все это так удивительно! Зачем еще что-то делать! — наконец прошептал он. — Только идем помедленней — надо все увидеть. Смотри! Видишь, в каких развалюхах в Сан-Антонио играют в бильярд!

Мы вошли. За тремя столами гоняли шары с десятков парней, все мексиканцы. Мы с Дином взяли кока-колы и принялись бросать пятицентовики в музыкальный автомат. Подпрыгивая под музыку, мы слушали Уайнони Блюз Харриса, Лайонела Хэмптона и Лаки Миллиндера. Дин между тем не давал мне терять бдительность.

— Хоть мы с тобой и слушаем, как Уайнони голосит про пудинг своей малютки, а заодно, как ты выражаешься, вдыхаем аромат теплого воздуха, последи уголком глаза за тем калекой, что играет за первым столом. Смотри, как над ним народ потешается. Наверняка ему всю жизнь приходится терпеть подобные шуточки. Да, жестокие тут ребята. Но они его любят.

Тот, кого Дин назвал калекой, был скорее уродливым карликом с необыкновенно красивым, хотя и чересчур крупным лицом, на котором влажно поблескивали огромные карие глаза.

— Разве ты не видишь, Сал, это же мексиканский Том Снарк из Сан-Антонио! Все в мире одинаково. Видишь, как его лупят по заднице кием? Ха-ха-ха! Только послушай, как они смеются! А он ведь хочет выиграть партию, он поставил полдоллара. Смотри! Смотри!

И мы увидели, как юный карлик с лицом ангела целится, намереваясь сыграть от борта. Он промахнулся. Все остальные покатались со смеху.

— Ах, старина, — сказал Дин, — смотри, что будет дальше.

Ребята схватили малыша за шиворот и принялись весело его мутузить. А он пронзительно кричал. Вырвавшись, он торжественно удалился в ночь, бросив все-таки через плечо робкий ласковый взгляд.

— Ах, старина, как бы я хотел познакомиться с этим пропащим малышом, узнать, о чем он думает, что у него за девушки... Ох, старина, я просто окосел от здешнего воздуха!

Мы вышли на улицу и одолели несколько темных, таинственных кварталов. Бесчисленные домики утопали в зелени густых, как джунгли, садов. Девушки мелькали в комнатах и на верандах, девушки с парнями мелькали в кустах.

— А я и знать не знал об этом сумасшедшем Сан-Антонио! Воображаю, что нас ждет в Мексике! Идем! Идем! — Мы помчались обратно в больницу. Нас уже ждал Стэн с вестью о том, что ему стало намного лучше. Обняв его за плечи, мы обо всем ему рассказали.

Наконец мы были готовы одолеть последние сто пятьдесят миль до волшебной границы. Впрыгнув в машину, мы тронулись в путь. К тому времени я так вымотался, что проспал всю дорогу через Дилли и Энсинал до самого Ларедо. Проснулся я лишь в два часа ночи. Мои спутники ставили машину у закускойной.

— Ах, — вздохнул Дин, — край Техаса, край Америки. Дальше мы ничего не знаем.

Стояла неправдоподобная жара, пот лил с нас ручьями. Не было ни ночной росы, ни дуновения ветерка — ничего, кроме миллиардов повсюду бьющихся о лампы мотыльков да резкого зловония разогретой реки, текущей где-то поблизости в ночи. Это была Рио-Гранде, которая берет начало в прохладных долах Скалистых гор, а в устье своем преобразует мировые долины, вынося в великий залив их зной, смешивающийся там с тиной Миссисипи.

В то раннее утро Ларедо встретил нас неласково. Повсюду слонялись в ожидании удобного случая поживиться таксисты и контрабандисты всех мастей. Удобных случаев представлялось немного: было слишком поздно. Этот городок являл собою мутное дно Америки, куда погружаются все тяжкие преступники, куда приходится уходить людям, согнанным с насиженных мест. Все они стремятся оказаться поближе к совсем иным местам, чтобы, улучив момент, незаметно туда пробраться. Тяжелый и густой, как сироп,

воздух был буквально пропитан контрабандой. Полицейские были краснолицые, угрюмые, потные и не гордые. Официантки — грязные и брезгливые. Во всем чувствовалось тягостное соседство необъятной Мексики. Казалось, можно даже вдохнуть аромат несметного количества жарящихся и коптящихся в ночи тортильяс. Мы и понятия не имели, какой окажется Мексика на самом деле. Вновь мы оказались на уровне моря. Попытавшись поесть, мы едва смогли проглотить кусок. Еду я все-таки завернул в салфетки и взял с собой в дорогу. Нами овладела бесконечная грусть. Однако стоило нам, миновав таинственный мост, пересечь реку и коснуться колесами земли, официально принадлежащей Мексике, хоть это и была всего лишь автомобильная дорожка для пограничного контроля, — как все переменилось. Уже на другой стороне улицы начиналась Мексика. Мы с трепетом смотрели туда. К нашему крайнему изумлению, все там в точности походило именно на Мексику. Было три часа утра, а у щербатых фасадов полуразвалившихся лавчонок околачивались десятки парней в соломенных шляпах и белых брюках.

— Нет, ты только посмотри... на... этих... пижонов! — прошептал Дин. — О-ох! — Он еле слышно вздохнул. — Подождите, подождите!

Вышли улыбающиеся мексиканские чиновники. Они спросили, не будем ли мы так добры вынуть наш багаж. Возражений не последовало. Мы не могли отвести глаз от противоположной стороны. Нам не терпелось умчаться туда и затеряться на этих таинственных испанских улочках. Это был всего-навсего Нуэво-Ларедо, но нам он представлялся священной Лхасой.

— Старина, эти ребята всю ночь на ногах, — прошептал Дин.

Мы торопливо потопали оформлять бумаги. Нас предупредили, что теперь, после пересечения границы, нельзя пить водопроводную воду. Мексиканцы наспех просмотрели наши пожитки. На чиновников эти люди ничуть не походили. Они были ленивы и заботливы. Дин в изумлении таращил на них глаза. Потом повернулся ко мне:

— Смотри, какие *копы* в этой стране. Просто не верится! — Он протер глаза. — Нет, это сон.

Наконец настал черед обмена денег. Мы увидели на столе высоченные стопки песо и узнали, что без малого восемь песо составляют американский доллар. Поменяв почти все наши деньги,

мы с наслаждением набили карманы свернутыми в трубочку толстыми пачками.



И тогда мы с робостью и трепетом повернулись лицом к Мексике, а десятки этих франтов-мексиканцев все следили за нами в ночи из-под полей скрывающих взгляды шляп. Дальше была музыка и ночные ресторанчики, из дверей которых валил наружу табачный дым.

— Вот это да! — еле слышно прошептал Дин.

— Вот и все! — осклабился мексиканский чиновник. — Все, ребята. Можете ехать. Милости просим в Мехику. Желаю повеселиться. Не зевайте деньги. Не зевайте за рулем. Только вам скажу: я — Ред, все зовут меня Ред. Если что, спросите Реда. Ешьте побольше. Будьте спокойны. Все славненько. В Мехико есть где развлечься.

— Да! — встрепенулся Дин, и мы, ощущая дрожь в ногах, направились на другую сторону улицы — в Мехику. Машину мы оставили на стоянке и все трое в ряд пошли по испанской улочке на свет тусклых бурых фонарей. В ночи сидели на стульях старики, похожие на восточных наркоманов и оракулов. Казалось, никто из них не смотрит в нашу сторону, и все же они не упускали из виду ни одного нашего движения. Мы свернули налево и очутились в прокуренной закуской, оглашаемой напевами гитар «кампо», которые неслись из американского музыкального автомата тридцатых годов. На табуретах сидели мексиканские таксисты и мексиканские хипстеры в соломенных шляпах, поглощавшие довольно неаппетитное варево из тортильяс, бобов, такос и еще всякой всячины. Мы взяли три бутылки холодного пива — называлось оно «*cerveza*»<sup>[19]</sup> и стоило около тридцати мексиканских или десяти американских центов за бутылку. Накупили мы и мексиканских сигарет по шести центов за пачку. Мы никак не могли налюбоваться нашими удивительными мексиканскими деньгами, которые таким чудесным образом умножились, мы вертели их в руках и, поминутно оглядываясь, улыбались всем и каждому. Вся Америка оставалась позади вместе со всем, что мы с Дином успели узнать о жизни — о жизни в дороге. И

дорога эта привела нас в конце концов в волшебную страну — страну, колдовская сила которой нам и не снилась.

— Подумать только, ведь эти пижоны не спят всю ночь напролет, — прошептал Дин. — Нет, ты только представь: впереди нас ждет огромный континент, ждут высоченные горы Сьерра-Мадре, которые мы видели только в кино! А джунгли без конца и края! А абсолютно голое плато, ничуть не меньше нашего, которое тянется до самой Гватемалы или еще черт знает докуда! Ух! Что же нам делать? Что же нам делать? Поехали!

Мы вышли и вернулись к машине. Последний взгляд на Америку, оставшуюся за яркими огнями моста через Рио-Гранде, — и мы повернулись к ней спиной и задним бампером автомобиля и умчались прочь.

Спустя мгновение мы уже были в пустыне, и за все пятьдесят миль этой плоской равнины не видели ни машины, ни огонька. Как раз тогда над Мексиканским заливом забрезжил рассвет, и повсюду возникли призрачные очертания напоминающих гигантские кораллы кактусов юкка.

— Что за дикая страна! — вскричал я.

Мы с Дином наконец-то ожили, а ведь еще в Ларедо мы валялись с ног от усталости. Стэн, который уже бывал за границей, безмятежно спал на заднем сиденье. Вся Мексика лежала у наших с Дином ног.

— Ну вот, Сал, все теперь позади, начинается новый, неизвестный этап. Все было за эти годы — и радости, и горести... а теперь вдруг это! Так что вполне можно ни о чем больше не задумываться — знай себе гони напропалую, глазей по сторонам, как мы сейчас, и *постигай* мир. Ведь если уж на то пошло, до нас никто из американцев этого не делал... А они тут побывали, верно? Во времена Мексиканской войны. Мотались по этим местам с пушками.

— По этой дороге, — сказал я ему, — когда-то пролегал маршрут объявленных вне закона американских бандитов, которые уносили ноги за границу и добирались до Монтеррея. Вот попробуй вглядись в эту полутемную пустыню и вообрази себе призрак бывалого головореза, который сбежал из «Гробницы» и теперь одиноко несется верхом, чтобы навсегда кануть в Лету, и тогда ты увидишь...

— Это же мир, — перебил Дин. — Боже мой! — воскликнул он, ударив ладонью по рулю. — Это же целый мир! Мы ведь так и до

Южной Америки доберемся, лишь бы дорога не кончилась. Нет, ты только представь! Сукин ты сын! Черт подери!

Мы мчались вперед. Небо светлело с поразительной быстротой, и вскоре мы уже начали различать белый песок пустыни и редкие хижины вдали от дороги. Дин замедлил ход, чтобы как следует их разглядеть.

— Настоящие развалюхи, старина. Такие разве что в Долине Смерти встретишь, да и то вряд ли. Да они же не от мира сего, эти люди.

Первый город, который был обозначен на карте, назывался Сабинас-Идальго. Ах как нам не терпелось туда попасть!

— А дорога-то ничем не отличается от американской, — вскричал Дин, — вот только одно в толк не возьму, смотри: на помильных столбах почему-то отмечают километры, и показывают они расстояние до Мехико. Выходит, это единственный большой город на всю страну, все дороги к нему ведут.

До столицы оставалось всего семьсот шестьдесят семь миль, однако в километрах получалось больше тысячи.

— Черт возьми! Полный вперед! — орал Дин.

Совершенно обессиленный, я ненадолго закрыл глаза и только слышал, как Дин лупит кулаками по рулю и кричит: «Черт! Вот это да! Ну и страна!» — и еще: «Да!» Мы пересекли пустыню и около семи утра очутились с Сабинас-Идальго. Чтобы разглядеть городок, мы почти совсем сбавили скорость и, разбудив спавшего на заднем сиденье Стэна, принялись таращиться в окно. Главная улица была грязная и вся в выбоинах. По обеим сторонам тянулись замызганные, полуразвалившиеся глинобитные дома. По улице плелись навьюченные поклажей ослики. Из темных провалов дверей за нами наблюдали босоногие женщины. Улица была запружена людьми, которые шли начинать новый день мексиканской провинции. На нас пристально смотрели старики с длинными, подкрученными вверх усами. Появление троих обросших бородами, чумазых молодых американцев вместо привычных элегантных туристов страшно их заинтересовало. Подпрыгивая на ухабах, мы ползли по главной улице со скоростью десять миль в час, стараясь ничего не упустить. Прямо перед нами шли девушки. Когда мы поравнялись, одна из них спросила:

— Эй, куда это вы?

Пораженный, я повернулся к Дину:

— Слыхал, что она сказала?

Дин так обалдел, что даже не остановился. Он только приговаривал, продолжая медленно ехать вперед:

— Да, слышал. Еще как слышал, черт меня подери! Подумать только! Прямо не знаю, что и делать, — так меня пьянит и освежает этот утренний мир! Наконец-то мы попали в рай. Ведь нигде больше нет такой прохлады, такого благолепия, нигде больше нет *ничего* подобного!

— Так давай вернемся за ними! — предложил я.

— Да, — отозвался Дин, продолжая движение вперед со скоростью пять миль в час. Он был совершенно сбит с толку. Ведь здесь ему ни к чему было делать то, что он привык делать в Америке.

— Да таких у нас впереди сколько угодно! — сказал он. И все-таки он развернулся и снова подъехал к девушкам. Они шли в поле работать, они улыбались нам. Дин воззрился на них немигающими глазами.

— Черт возьми, — еле слышно шептал он. — Просто невероятно, до чего хорошо! Девочки, девочки. Особенно сейчас, Сал, когда я дошел до такого состояния, что могу заглядывать в дома, мимо которых мы едем, и смотреть, смотреть... Дверей-то нет — смотри не хочю. А там, внутри, соломенные тюфяки, на них спят смуглые детишки, и кое-кто уже начинает потягиваться, и тогда в опустошенную сном голову возвращаются мысли, там вновь просыпается человек, а матери уже готовят им в чугунках завтрак. А какие у них на окнах ставни! А *старики*! Старики так невозмутимы, так величественны, их ничем не проймешь. Здешним людям чужда подозрительность, да и откуда ей взяться! Здесь все бесстрастны, все смотрят на тебя честными карими глазами и молчат, просто *смотрят*, во взгляде этом есть все, что свойственно человеку, — хоть и еле уловимое, глубоко запрятанное, но есть. Только вспомни, какие идиотские рассказы про Мексику нам доводилось читать: сплошные одураченные гринго и прочая дребедень... Какой только чепухи не рассказывают про этих «чумазах»... А на самом-то деле люди здесь честные и добрые, они и мухи не обидят. Это же поразительно!

Дитя ночных проезжих дорог, Дин пожаловал наконец в реальный мир. Он ссутулился за рулем, смотрел по сторонам и не спеша катил вперед. Выезжая из Сабинас-Идальго, мы остановились заправиться. Тамошние скотоводы в соломенных шляпах и с закрученными усами устроили возле допотопных колонок настоящую сходку. Они ворчливо поддразнивали друг друга. Далеко в поле с трудом брел куда-то старик, хлыстом подгоняя ослика. Поднявшееся солнце чистым светом озаряло чистые, вековечные людские дела.

Мы продолжали путь к Монтеррею. Впереди громоздились высокие горы со снежными вершинами. Мы летели прямо на них. Горный проход расширился и запетлял вверх по ущелью, увлекая за собой и нас. Буквально за считанные минуты мы оставили позади мескитовую пустыню и теперь, обдуваемые прохладным ветерком, поднимались вверх по дороге, отгороженной от пропасти каменной стеной. По другую сторону, на отвесных скалах, были крупно выведены известкой имена президентов — АЛЕМАН!<sup>[20]</sup> На этой горной дороге мы не встретили ни души. Попетляв среди облаков, дорога привела нас к громадному плато на вершине. На другом краю плато большой промышленный город Монтеррей выпускал клубы дыма в голубые небеса, где облака залива расписывали купол дня стадами чудовищных барашков. Въезд в Монтеррей меж бесконечных высоких заводских стен не отличался бы от въезда в Детройт, если бы не ослики, греющиеся под этими стенами на солнышке, лежа в траве; если бы не тесно понастроенные глинобитные дома, у дверей которых околачивались пронирыливые хипстеры, а из окон выглядывали шлюхи; если бы не диковинные лавчонки, в которых наверняка можно было купить все, что угодно; если бы не узкие тротуарчики, запруженные толпой, не менее шумной, чем та, что забивает тротуары гонконгские.

— Аа-ууу! — взвыл Дин. — И к тому же еще солнце! Ты хоть просек, Сал, какое в Мексике солнце? От него просто чумеешь. У-уухх! Хочется ехать и ехать — дорога *сама* везет!

Мы заикнулись было о том, что неплохо бы остановиться и вкусить монтеррейских прелестей, однако Дин спешил как можно скорее добраться до Мехико, а к тому же считал, что дальше дорога станет еще интереснее, поэтому главное — вперед, только вперед. Он вел машину как одержимый, ни минуты не отдохнув. Мы со Стэном совершенно раскисли и уступили ему — нам необходимо было

вздремнуть. За пределами Монтеррея я огляделся и увидел причудливые очертания двух громадных остроконечных вершин, похожих друг на друга, как близнецы, — вдали от старого Монтеррея, там, куда не добирались беглые разбойники.

Впереди был Монтеморелос, где не так высоко, но нестерпимо жарко. А по мере того как усиливалась жара, вокруг прибавлялось чудес. Дину во что бы то ни стало понадобилось разбудить меня и все показать.

— Смотри, Сал, такое упускать *нельзя!*

Я смотрел. Кругом были болота, а на обочине время от времени попадались странного вида мексиканцы в жалких лохмотьях. Одни шли по дороге с подвешенными к веревочным поясам мачете, другие рубили этими ножами кусты. Завидев нас, все они замирали и бесстрастным взором провожали машину. Иногда сквозь сплетение кустов нам удавалось разглядеть крытые соломой хижины с бамбуковыми стенами — самые настоящие африканские шалаши. Из таинственных, обвитых зеленью входов выплывали чудесные девушки, загадочные, как луна.

— Эх, старина, хотел бы я остановиться и слегка расслабиться с этими милашками! — вскричал Дин. — Но гляди, поблизости все время крутятся ихние старики и старухи... И хоть держатся они обычно на заднем плане, а то и ярдах в ста — собирают сучья и ветки или присматривают за скотиной, — девушки никогда не остаются одни. В этой стране никто не бывает один. Пока ты спал, я врубался в эту дорогу и в эту страну. Если бы я только мог рассказать, о чем я передумал, старина! — Он обливался потом. В его безумных воспаленных глазах светилась затаенная нежность. Наконец-то он нашел подобных себе людей! Мы катили по бескрайней болотистой местности с неизменной скоростью сорок пять миль в час. — Сал, по моему, эти болота надолго. Если ты поведешь машину, я посплю.

Я сел за руль и, погрузившись в раздумья о своем, поехал через Линарес, через разогретую плоскую болотистую равнину, через дымящуюся Рио-Сото-ла-Марина близ Идальго и дальше, дальше. Моему взору открылась огромная долина с зелеными джунглями, разрезанными на полосы засеянных кормовыми культурами полей. Стоя на стареньком узком мосту, на нас глазели сбившиеся в группки мужчины. Под мостом струилась нагретая река. Потом начался

подъем, и вскоре на нас вновь надвинулась пустыня. Впереди был город Грегория. Стэн с Дином спали, я был один за рулем посреди своей вечности, а дорога убегала вперед, прямая как стрела. Разве так едут через Каролину или Техас, через Аризону или Иллинойс! Так ехать можно только через весь мир, в те места, где мы наконец познаем самих себя, оказавшись среди всемирных индейцев-феллахов — племени, составляющего изначальную сущность умытого слезами первобытного человечества, которое расселилось вдоль пояса, охватившего экваториальное брюхо земли от Малайи (длинного ногтя на пальце Китая) через громадный индийский субконтинент, Аравию и Марокко, до тех же самых пустынь и джунглей Мексики, а потом через морские волны и Полинезию — до мистического, укутанного в желтую мантию Сиама и все дальше вокруг, вокруг — вот почему одни и те же скорбные стенания слышатся и у полуразрушенных стен Кадиса в Испании, и за двенадцать тысяч миль оттуда, в самом сердце Бенареса, Столицы Мира. Какие сомнения! Эти люди были подлинными индейцами, ничуть не напоминающими тех Педро и Панчо, какими их представляют себе псевдоученые цивилизованные американцы: у них были широкие скулы, раскосые глаза и доброе сердце; они не были глупцами, они не были шутами; они были благородными и печальными индейцами, они были предтечей человечества, его отцами. Пусть волны морские принадлежат китайцам, земля — владение индейцев. Так же как скал не отнять у пустыни, не отнять индейцев у пустыни, именуемой «историей». И они знали это, когда провожали взглядом нас — вроде бы самодовольных, набитых деньгами американцев, собравшихся поразвлечься в их стране. Они знали, кто родоначальник, а кто — преемник извечной жизни на земле, знали и помалкивали. Потому что, когда мир «истории» придет к своей гибели и снова — уже в который раз! — настанут времена, предсказанные в Апокалипсисе феллахов, люди будут теми же глазами смотреть на мир из пещер Мексики, как и из пещер Бали, где было положено начало всех начал, где был вскормлен и получил урок познания Адам. Таким был ход моих мыслей, когда я въезжал в пышущий жаром, пропеченный солнцем город Грегория.

Еще в Сан-Антонио я в шутку пообещал Дину, что раздобуду ему девушку. Это было нечто среднее между вызовом и пари. Когда

вблизи солнечной Грегории я остановил машину у бензоколонки, с противоположной стороны дороги ко мне направился босоногий паренек с громадным солнцезащитным экраном для ветрового стекла. Подойдя, он спросил, не желаю ли я этот экран купить.

— Хотеть? Шестьдесят песо. *Habla Espanol? Sesenta peso.* Меня звать Виктор.

— Нет, — ответил я и беспечно добавил: — Куплю сеньориту.

— Конечно! Факт! — возбужденно вскричал Виктор. — Я добывать вам девочки, только через время. Еще слишком жарко, — поморщившись, добавил он. — Ждать вечер. Хотеть экран?

Экран мне был не нужен, но от девушек я бы не отказался. Я разбудил Дина.

— Эй, старина, говорил я в Техасе, что будет тебе девушка? Так вот, просыпайся и разомни свои старые кости. Девушки уже ждут.

— Что? Что? — Дин вскочил как ошпаренный, хоть и с изможденным видом. — Где? Где?

— Вот Виктор нам покажет.

— Так поехали же! Вперед!

Выскочив из машины, Дин пожал Виктору руку. У бензоколонки околачивалась компания сияющих улыбками парней. Все они были в соломенных шляпах с обвисшими полями, а половина — босиком.

— Старина, — обратился Дин ко мне, — скажи, славный способ провести денек? Куда спокойнее, чем играть в Денвере на тотализаторе! Виктор, у тебя есть девочки? Где? *A donde?* — громко повторил он по-испански. — Врубись-ка, Сал, я говорю по-испански!

— Спроси его, нельзя ли здесь раздобыть немного травки? Эй, малыш, есть у тебя ма-рии-уа-на?

Малыш с серьезным видом кивнул:

— Факт, только через время, друг. Идти со мной.

— Ииии! Ура! Ого-го! — завопил Дин. Сна у него не было уже ни в одном глазу, он подпрыгивал от нетерпения на этой сонной мексиканской улице. — Все, поехали!

Я угощал собравшихся парней сигаретами «Лаки Страйк». Мы доставляли им несказанное удовольствие, особенно Дин. Размахивая друг перед другом сложенными чашей ладонями, они без умолку тараторили, то и дело упоминая этого тронутого американца.



— Подумать только, Сал, они же говорят о нас, они все секут! Боже мой, что за мир!

Виктор сел к нам в машину, и мы, кренясь на сторону, отползли от бензоколонки. От этой суматохи проснулся доселе безмятежно спавший Стэн Шефард.

Доехав до самой пустыни на другом конце города, мы свернули на изрытую колеями грунтовую дорогу, где машина принялась подпрыгивать пуще прежнего. Впереди показался дом Виктора. Он стоял на краю поросшей кактусами низины, в тени немногочисленных деревьев — ни дать ни взять глинобитная коробка из-под печенья. Во дворе слонялись без дела несколько человек.

— Кто это? — вскричал охваченный волнением Дин.

— Мои братья. Мать тоже там. И сестра. Моя семья. Я женат, живу в центре.

— А как же мать? — Дин даже вздрогнул. — Что она скажет насчет марихуаны?

— О, она мне ее добывать.

Мы остались в машине, а Виктор вылез и вприпрыжку помчался к дому. Там он сказал несколько слов старухе, и та проворно повернулась, удалилась в садик и принялась собирать сухие ветки и листья марихуаны, которые уже были сорваны с кустов и брошены сушиться на солнце пустыни. Братья Виктора тем временем, улыбаясь, сидели под деревом. Они хотели подойти и познакомиться с нами и искали в себе силы подняться и дотопать до машины. Виктор вернулся с обворожительной улыбкой на лице.

— Старина, — сказал Дин, — этот Виктор — милейший, бесподобнейший и самый безумный дикарь из всех, что мне попадались в жизни. Ты только погляди на него, погляди, как он идет спокойно, не спеша. В здешних краях ведь некуда торопиться.

В машину задувал ровный, назойливый ветер пустыни. Было очень жарко.

— Видеть, как жарко? — спросил Виктор, усаживаясь на переднее сиденье рядом с Дином и показывая пальцем на раскалившуюся крышу «форда». — Вы курить ма-рии-гуана, и больше не жарко. Вы подождать.

— Да, — сказал Дин, поправляя темные очки, — я подождать. Непременно, Виктор, дружище.

Немного погодя к нам семенящей походкой приблизился высокий братец Виктора с кучкой травы на газетном листе. Вывалив кучку Виктору на колени, он небрежно оперся о дверцу машины, кивнул, улыбнулся и произнес: «Привет!» В ответ Дин тоже кивнул и любезно улыбнулся. Никто ничего не говорил, и это было просто чудесно. Виктор приступил к изготовлению самокрутки невиданных размеров. В конце концов он скрутил (из простой оберточной бумаги) нечто напоминающее сигару «Корона», только с травкой. Просто гигантскую. Дин в изумлении таращил на нее глаза. Небрежно прикурив, Виктор пустил самокрутку по кругу. Затягиваться этой штуковиной было все равно что глубоко дышать, сунув голову в дымоход. При этом в плотке проносился сильнейший порыв обжигающего ветра. Мы задержали дыхание и почти одновременно выпустили дым. Одурели все мгновенно. Пот на лбу застыл, и мы вдруг оказались на взморье в Акапулько. Я посмотрел в заднее окошко машины. Еще один, самый чудной из братьев Виктора — высокий индеец перуанского типа с лентой, переброшенной для украшения через плечо, — стоял, прислонясь к столбу и улыбался, не решаясь подойти и пожать нам руки. Казалось, машину обступили сплошные братья: с Диновой стороны возник еще один. А потом произошло нечто еще более странное. Все окосели настолько, что обычные условности были начисто отброшены и мысли наши сосредоточились на самом главном, а главным тогда было то, какими диковинными кажутся друг другу американцы и мексиканцы, которых судьба сводит в пустыне. Мало того — диковинной казалась сама возможность видеть в такой непосредственной близости лица, пористую кожу, мозолистые пальцы и сводимые смущением скулы, принадлежащие совсем другому миру. Вот братья-индейцы и принялись вполголоса разбирать нас по косточкам. Мы видели, как они нас оценивающе разглядывают, как сравнивают полученные впечатления, как обсуждают наши недостатки, пытаясь одновременно их оправдать: «Да, да». А мы с Дином и Стэном в это время по-английски перемывали косточки им.

— Нет, вы только полюбуйтесь на того нелюдимого братца, что остался сзади! Он ведь ни на шаг не отошел от своего столба, а с лица у него так и не сходит эта радостная и до смешного застенчивая улыбка! А тот, что здесь, слева от меня, он постарше, поуверенней в

себе, но ему грустно, точно он сбит с панталыку, точно он — очутившийся в городе бродяга. А вот Виктор — тот благородный женатик... Сами видите: ни дать ни взять царь египетский. Да, ребяташки что надо! Таких мне еще видеть не доводилось. Смотрите, как азартно они о нас спорят. Точно так же, как и мы о них, однако разница все-таки есть. Им, наверно, любопытно разобраться в том, как мы одеты, — впрочем, как и нам, — но вдобавок их интересует, что за диковинки мы храним в машине, почему так по-чуждому смеемся — совсем не так, как они, а может, даже и то, как мы по сравнению с ними пахнем. Как бы то ни было, я бы все на свете отдал, только бы узнать, что они о нас говорят. — И Дин попытался: — Эй, Виктор, что сейчас сказал твой брат, старина?

Виктор устремил на Дина печальный взгляд своих осовелых карих глаз:

— Да, да.

— Нет, ты не понял вопроса. О чем вы говорите, ребята?

— О, — в крайнем смятении отозвался Виктор, — ты не нравится этот маргуана?

— Да нет, все чудесно! О чем вы говорите?

— Говорить? Да, мы говорить. Вам нравится Мексика?

Трудно было столковаться, не найдя общего языка. И все снова притихли, успокоились и принялись балдеть, попросту наслаждаясь веющим из пустыни ветерком. Каждый погрузился в вековые раздумья, свойственные его национальности, расе и индивидуальности.

Настал черед девушек. Братья не спеша ретировались на свое место под деревом, мать наблюдала за происходящим, стоя у освещенного солнцем входа в дом, а мы, подпрыгивая на ухабах, медленно направились обратно в город.

Однако подпрыгивание это не причиняло нам больше никакого беспокойства. Напротив, трудно было вообразить себе более приятное и изысканное путешествие: изрытая дорога представлялась нам волнами синего моря. Неестественный, отливающий золотом румянец покрывал лицо Дина, когда он растолковывал нам, что пора наконец понять, как здорово работают рессоры, и именно такой ездой и надо наслаждаться. Вот так мы скакали и скакали, и даже Виктор понял и рассмеялся. Потом он показал налево, на дорогу, по которой надо

ехать к девушкам, и Дин, посмотрев туда с неопишуемым восторгом, наклонился влево, резко крутанул руль и плавно, уверенно помчал нас к цели, внимая тем временем попыткам Виктора заговорить и церемонно и высокопарно произнося:

— Да, конечно! У меня нет ни малейшего сомнения! Безусловно, старина! О, в самом деле! Ну и ну! Красота! Это же моя заветная мечта! Разумеется! Да! Продолжай, прошу тебя!

Виктор говорил серьезно, с неподражаемым испанским красноречием. В один безумный миг мне показалось, что Дин понимает каждое его слово и причиной тому лишь необузданная интуиция да внезапное гениальное наитие, непостижимым образом ниспосланное ему собственным страстным ликованием. И еще в тот самый миг он был так похож на Франклина Делано Рузвельта — некий обман моего горячего зрения, бред воспаленного мозга, — что я привстал на сиденье с открытым от изумления ртом. Сквозь мириады игл неземного сияния тщился яразглядеть облик Дина, а Дин был похож на Бога. Я был так одурманен травкой, что пришлось откинуть голову на спинку сиденья. От постоянных подпрыгиваний машины по моему телу пробегала дрожь иступленного восторга. Я гнал от себя самую мысль о том, чтобы выпянуть в окошко и посмотреть на Мексику, — а мысль эта тоже прочно засела у меня в голове, — с тем содроганием, с каким в страхе перед слепотой отводят глаза от манящего своей таинственностью, набитого сокровищами сундука. Но глаз отвести невозможно, монет и драгоценностей столько, что сразу и не унести. У меня перехватило дыхание. Я увидел золотые струи, льющиеся с небес прямо на ветхую крышу нашей многострадальной старой машины, они лились у меня перед глазами и проникали даже в глубь моих глаз. Золото было всюду. Я выпянул в окошко на нагретые, залитые солнцем улицы, увидел в дверях дома женщину, и мне почудилось, что она прислушивается к каждому нашему слову, кивая при этом сама себе, — обычные параноидные галлюцинации, вызванные травой. А золотой поток все не иссякал. Долгое время не сознавал я своим помутненным рассудком того, что мы делаем, и пришел в себя лишь тогда, когда выбрался из пламени и забвения, словно пробудившись ото сна и попав в реальный мир, а может, и в сновидение — из пустоты. И тогда мне сказали, что мы подъехали к дому Виктора, а сам он уже стоит у

дверцы машины с маленьким сынишкой на руках и показывает его нам:

— Видеть моего малютку? Его звать Перес, он шесть месяцев возраста.

— Ба! — сказал Дин. Его преобразившееся лицо все еще лучилось несказанным удовольствием, если не блаженством. — Да такого прелестного карапуза я в жизни не видел. Только посмотрите на эти глаза! Нет, Сал и Стэн, — прибавил он, с серьезным, умильным видом повернувшись к нам, — я хочу, чтобы и-мен-но вы увидели глаза этого маленького мексиканца, сына нашего замечательного друга Виктора, и поняли, каким он станет в зрелом возрасте. Ведь его неповторимую душу можно увидеть, лишь заглянув в окна, коими и являются его глаза, а такие восхитительные глаза несомненно предвещают в будущем прекраснейшую душу.

Чудесная была речь. И чудесный ребенок. Виктор печально смотрел на своего ангелочка. Каждый из нас жалел о том, что у него нет такого сынишки. И столь велика оказалась сила нашего воздействия на душу ребенка, что он что-то почувствовал и на личике его появилась гримаса, а затем и горькие слезы, выражавшие некую неведомую скорбь, унять которую мы не могли, потому что корни ее были окутаны бесчисленными тайнами слишком далекого прошлого. Чего только мы не перепробовали! Виктор пытался его укачивать и едва не задушил поцелуями, Дин что-то нежно ворковал, я гладил малышу ручонки. А он рыдал пуще прежнего.

— Ах, — сказал Дин, — мне очень жаль, Виктор, что из-за нас ему стало грустно.

— Ему не грустно, ребенок плакать.

В дверях за спиной Виктора стояла, не решаясь выйти, его маленькая босоногая жена. С беспокойной нежностью во взоре она дожидалась момента, когда младенец вернется ей на руки, такие смуглые и ласковые. Продемонстрировав нам сына, Виктор снова влез в автомобиль и горделивым жестом указал направо.

— Да, — сказал Дин и, повернув машину, направил ее по узким, как в Алжире, улочкам, и всюду нас провожали кроткие и одновременно любопытные взгляды.

Мы подъехали к публичному дому. Это было шикарное заведение, украшенное лепниной и залитое золотистыми лучами

солнца. На улице, облокотившись на подоконник открытых окон борделя, стояли два полицейских в мешковатых брюках, сонные и скучающие. Когда мы входили, оба окинули нас коротким пытливym взглядом, и все те три часа, что мы куролесили у них под самым носом, они не сходили с места. Лишь в сумерки мы вышли и, согласно распоряжению Виктора, вручили каждому из них сумму, в переводе составляющую двадцать четыре цента, — просто для соблюдения проформы.

А внутри мы обнаружили девушек. Одни развалились на кушетках по ту сторону танцевальной площадки, а справа, у длинной буфетной стойки, накачивались спиртным другие. В середине был устроен сводчатый проход, ведущий в маленькие спальные кабинки, похожие на те, что ставят для переодевания на городских общественных пляжах. Кабинки эти со двора были освещены солнцем. За стойкой стоял хозяин — молодой парень, который, узнав, что мы хотим послушать мелодии мамбо, моментально исчез, вернулся с кипой пластинок, большей частью Переса Прадо, и принялся заводить их через громкоговоритель. Спустя минуту весь город Грегория мог услышать, какое веселье разыгрывается в «Зала де Байль». В самом же зале музыка грохотала — а именно так и надо слушать музыкальный автомат, для этого он и придуман — так оглушительно, что мы с Дином целую минуту не могли оправиться от потрясения, поняв, что сами ни разу в жизни не отважились послушать музыку так громко, как хотели, а хотели всегда именно так. Ее дребезжащие звуки едва не сбили нас с ног. Еще через несколько минут половина населения ближайших кварталов собралась у окон полюбоваться тем, как *Americanos* отплясывают с девицами. Люди стояли на земляном тротуаре бок о бок с полицейскими и, перегнувшись через подоконник, безучастно наблюдали за нами. «Еще мамбо-джамбо», «Чаттануга де мамбо», «Мамбо нумеро охо» — эти потрясающие мелодии переполняли собой таинственный золотистый послеполуденный час, напоминая о звуках, которых ждешь в день Страшного суда и Второго пришествия. Трубы звучали так громко, что были, казалось, отчетливо слышны в пустыне, где и родились когда-то первые трубные звуки. Барабаны задавали бешеный ритм. Ритм «мамбо» — это ритм «конга» с берегов Конго, реки, принадлежащей Африке и всему миру; это настоящий всемирный ритм. «Ум — та, та-

пу — пум, ум — та, та-пу — пум». Динамик обрушивал на нас грохот фортепиано. Каждый вопль вокалиста казался предсмертным. Под заключительные трубные рефрены чудовищно неистойой «Чаттануги», сопровождавшиеся достигшей апогея дробью барабанов «конга» и «бонго», Дин застыл и минуту стоял как вкопанный, пока его не прошиб холодный пот. А потом, когда трубы резко всколыхнули оцепенелый воздух раскатами пещерного эха, глаза его округлились и расширились, словно при виде дьявола, и он зажмурился. Меня и самого трясло, как марионетку. Я слышал, как ветер труб задует источник еще недавно виденного мною света, и дрожал от страха.

Под быструю «Мамбо-джамбо» мы с девицами закружились в бешеном танце. Сквозь собственное бредовое состояние мы начинали видеть, насколько они разные. Да, девицы были бесподобные! Удивительно, что самая неумная из них оказалась наполовину индианкой, наполовину белой, и было ей всего восемнадцать. Она приехала из Венесуэлы и походила на девушку из приличной семьи. Одному Богу известно, зачем ей понадобилось в таком возрасте, с такими пухлыми щечками и невинными глазами становиться в Мексике проституткой. Наверняка ее довела до этого какая-то страшная беда. Пила она, не зная меры, и останавливалась только тогда, когда казалось, что ее того и гляди стошнит от последней рюмки. К тому же рюмки она то и дело опрокидывала, что было неплохим способом заставить нас как следует раскошелиться. Вырядившись среди бела дня в тонкий халатик, она лихо отплясывала с Дином, висла у него на шее и молила, молила обо всем на свете. Дин так одурел, что не знал, с чего начать — то ли с девушек, то ли с мамбо. Наконец они умчались в сторону кабинок. Мне досталась нудная толстая девица со щенком. Она страшно разобиделась, увидев, что я невлюбил собачонку, которая то и дело норовила меня укусить. Решив пойти на компромисс, девица унесла щенка, однако, когда она вернулась, меня уже заарканила другая, поаппетитнее, но тоже не из самых лучших. Эта сразу повисла у меня на шее, как пиявка. Я пытался вырваться из ее объятий и подобраться поближе к шестнадцатилетней чернокожей девчонке, которая сидела в другом конце зала, угрюмо разглядывая собственный пупок сквозь приоткрывшуюся в коротеньком платье щель. Вырваться мне так и не удалось. Стэн занялся пятнадцатилетней девочкой с кожей цвета

миндаля и в платье, которое было застегнуто на несколько пуговиц сверху и на несколько пуговиц внизу. Все это было чистейшее безумие. Через ближайшее окно за нами наблюдало не меньше двадцати человек.

В какой-то момент появилась мать чернокожей малышки — скорее, даже не чернокожей, просто смуглой. Когда я это увидел, мне стало стыдно добиваться той, кого я по-настоящему желал. Я позволил пиявке увести меня в глубь заведения, где, словно во сне, под грохот и рев установленных внутри дополнительных громкоговорителей, мы с полчаса испытывали пружины кровати. Это была простенькая квадратная комнатенка с деревянными перекладинами вместо потолка, с образком в одном углу и умывальником в другом. Темный коридор оглашался девичьими криками: «*Agua, agua caliente!*» — что значит «горячая вода». Стэн с Дином тоже исчезли. Девица моя запросила тридцать песо, или около трех с половиной долларов, а потом принялась сверх того вымалывать еще десять песо, сочинив при этом длинную невразумительную небылицу. Я не знал счета мексиканским деньгам; знал я только одно: у меня не меньше миллиона песо. Я швырнул ей деньги. Мы снова помчались танцевать. У полицейских был все тот же скучающий вид. Динова венесуэльская красotka втащила меня через какую-то дверь в еще один чудной бар, который, судя по всему, тоже принадлежал публичному дому. Молодой буфетчик, протирая бокалы, разговаривал со стариком с подкрученными кверху усами, а тот сидел и с пеной у рта что-то доказывал. И там был громкоговоритель, захлебывавшийся звуками мамбо. Казалось, одурманен весь мир. Венесуэла повисла у меня на шее и принялась выпрашивать выпивку. Буфетчик, мол, ей не нальет. Она все просила и просила, а когда он наконец дал ей рюмку, она ее расплескала, и на этот раз уже не нарочно — я увидел досаду, мелькнувшую в растерянном взгляде ее несчастных, глубоко запавших глаз.

— Ничего страшного, крошка, — сказал я ей.

Мне приходилось поддерживать ее на табурете: она то и дело с него соскальзывала. Никогда я не видел более пьяной женщины, а ведь ей было всего восемнадцать! Я купил ей еще одну порцию. Взывая к состраданию, она изо всех сил дергала меня за брюки. Рюмку она опорожнила залпом. У меня не хватило духу заняться ею вплотную.



Моей-то девице было лет тридцать, и следила она за собой куда лучше. Обнимая усталую, исстрадавшуюся Венесуэлу, я хотел одного: увести ее в комнатку, а там раздеть и просто с ней поболтать — и в этом пытался себя убедить. А сам безумно желал и ее, и маленькую смуглянку.

Бедняга Виктор! Все это время он стоял на медной поперечине, прислонившись спиной к стойке, и с удовольствием подпрыгивал, чтобы лучше видеть, как куролесят три его американских друга. Мы угощали его выпивкой. При взгляде на женщин глаза его загорались, но он стойко держался, потому что был верен жене. Дин то и дело совал ему деньги. Среди всей этой безумной неразберихи мне однажды представился случай увидеть, что вытворяет Дин. Он совершенно потерял рассудок и даже не узнал меня, когда я пристально посмотрел ему прямо в глаза. «Да, да!» — только и сказал он. Казалось, этому не будет конца. Все словно происходило в нескончаемом фантастическом сне, в арабском послеполуночном сновидении, в другой жизни: Али-Баба, и узкие улочки, и куртизанки. И снова я умчался со своей девицей в ее комнатенку. Дин со Стэном поменялись девушками. На какое-то время мы исчезли из виду, и публике пришлось дожидаться возобновления зрелища. Длинный день был уже не таким жарким.

Близился час, когда бесподобную старую Грегорию окутает таинственная ночь. Мамбо не умолкало ни на минуту, оно доводило до умопомрачения, как бесконечный путь через джунгли. Я не мог отвести глаз от маленькой смуглянки. Несмотря на то что мрачный буфетчик заставлял ее выполнять работу прислуги: подавать нам выпивку и подметать в задних комнатах, — в этой толпе она смотрелась королевой. Она больше других девушек нуждалась в деньгах. Быть может, мать приходила к ней за деньгами для ее маленьких сестренок и братишек. Мексиканцы бедны. А мне так и не пришло в голову попросту подойти к ней и дать немного денег. Мне кажется, она приняла бы их с откровенным презрением, а меня отпугивало презрение таких, как она. В своем безрассудстве я даже влюбился в нее на те несколько часов, пока все это продолжалось. Подступила все та же знакомая боль, внезапно кольнуло в душе, начались те же вздохи, те же страдания, а самое главное — все та же неодолимая боязнь подойти. Удивительно, но ни Дин, ни Стэн тоже

ни разу к ней не приблизились. Подумать только! Ведь именно благодаря безупречному чувству собственного достоинства она и в этом беснующемся старом бардаке оставалась нищей. В какой-то момент я увидел, что Дин, наклонившись в ее сторону и застыв, словно изваяние, уже готов сорваться с места, но тут она смирла его холодным взглядом, и лицо его выразило полнейшее недоумение. Так и оставшись стоять разинув рот, он почесал брюхо и, наконец, отвесил поклон. Потому что она была королева.

И вдруг в разгар этого буйства Виктор принялся хватать нас за руки и отчаянно жестикулировать.

— Что случилось?

Испытав все способы что-либо нам втолковать, он подбежал к стойке, выхватил чек из рук буфетчика, бросившего на него злобный взгляд, и принес показать нам. Счет превышал триста песо, или тридцать шесть американских долларов, — немалые деньги для любого борделя. Но и это нас не отрезвило, нам не хотелось уходить, и хотя силы наши были на исходе, мы желали еще немного побыть с нашими красавицами в этом удивительном арабском раю, который отыскиали в конце трудного, трудного пути. Но близился вечер, и хочешь не хочешь, а пора было заканчивать. Поняв это, Дин нахмурился, призадумался и попытался прийти в себя, а идею покинуть это заведение раз и навсегда выдвинул в конце концов я.

— Что за беда, ведь столько еще впереди, старина!

— И то верно! — вскричал Дин, бросив тусклый взгляд на свою венесуэлку.

Та наконец напилась до потери сознания и улеглась на деревянную скамью, вытянув из-под шелка свои белые ноги. Галерка у окна сполна насладилась зрелищем. За спиной у публики уже крались багровые тени, я услышал, как где-то среди неожиданно наступившего затишья плачет ребенок, и вспомнил, что нахожусь в Мексике, а вовсе не в гашишно-порнографических грезах на небесах.

Пошатываясь, мы вышли на улицу. Стэна мы позабыли, а прибежав за ним обратно, обнаружили, что он галантно раскланивается с новыми, вечерними шлюхами, которые только что вышли на работу в ночную смену. Он был не прочь начать все сызнова. Когда он пьян, он неповоротлив, словно в нем десять футов росту. Когда он пьян, от женщин его не оттащить. Более того,

женщины сами виснут на нем, как плющ. Он упорно не желал уходить и уговаривал нас отведать свеженьких, еще более диковинных и искусных сеньорит. Мы с Дином пинками выставили его на улицу. Он без конца махал на прощание всем окружающим: девицам, полицейским, толпе, детишкам на улице. Под овации Грегории он посылал во все стороны воздушные поцелуи и горделиво ковылял сквозь толпу обитателей городка, с каждым пытаюсь заговорить и поделиться своей радостью и любовью ко всему, что творится в этот погожий предзакатный час жизни. Кое-кто под общий смех покровительственно похлопывал его по спине. Подбежав к полицейским, Дин заплатил им четыре песо и обменялся рукопожатиями, улыбками и поклонами.

Потом он прыгнул за руль, а недавние наши девицы, даже Венесуэла, которую разбудили попрощаться, обступили машину и, поеживаясь от холода в своей легкой одежонке, принялись целовать нас и щебетать слова прощания, а Венесуэла даже расплакалась — хоть и не из-за нас, мы это знали, вернее, не только из-за нас, и все же горько, очень горько. Моя ненаглядная смуглянка скрылась в погрузившемся в темноту доме. Все было кончено. Дин завел мотор, и мы с чувством на славу выполненного долга покинули развеселый праздник, обошедшийся нам в сотни песо. Еще несколько кварталов нас преследовали навязчивые звуки мамбо. Все было кончено.

— Прощай, Грегория! — крикнул Дин, посылая городу воздушный поцелуй.

Виктор гордился и нами, и самим собой.

— Теперь хотеть баню? — спросил он. Да, нам всем хотелось искупаться в чудесной бане.

И он показал нам дорогу к самому странному месту на свете: в миле езды от города находилась обычная купальня американского образца: в бассейне плескались ребятишки, в каменном здании можно было за несколько сентаво принять душ, получив у банщика мыло и полотенце. Вдобавок там был мрачноватый детский парк с качелями и сломанной каруселью, однако в багровых лучах заходящего солнца он казался необычным и даже прекрасным. Мы со Стэном взяли полотенца и немедленно встали под ледяной душ, выйдя оттуда обновленными и полными сил. Дин же душ принять не потрудился, мы увидели его в дальнем конце унылого парка; прогуливаясь под

руку с нашим славным Виктором, он вел с ним многословный приятный разговор, однако для пущей убедительности то и дело взволнованно наклонялся к собеседнику и рубил кулаком воздух. Потом, снова под руки, они брели дальше. Близилось время прощания с Виктором, вот Дин и пользовался случаем побыть с ним несколько минут наедине, а заодно осмотреть парк и составить общее представление обо всем, но главное — понять Виктора так, как это умел только Дин.

Когда пришла пора ехать, Виктор помрачнел.

— Приехать назад в Грегорию, повидать меня?

— Конечно, старина! — сказал Дин. Он даже пообещал, если Виктор того пожелает, взять его с собой в Штаты. Виктор ответил, что это дело надо обмозговать.

— Я иметь жена и малыш... Не иметь деньги... Я подумать.

Когда мы помахали ему на прощание из машины, в багровых отсветах заката засияла его обаятельная дружелюбная улыбка. За спиной у него виднелся унылый парк, в котором играли дети.

Сразу же за пределами Грегории дорога пошла под уклон, по обе стороны появились огромные деревья, а когда стемнело, мы услышали, как в их ветвях оглушительно шумят миллиарды насекомых, и шум этот напоминал непрерывный визгливый крик.

— Ого! — воскликнул Дин и включил фары, однако они не зажглись. — Что такое?! Что за новости, черт подери?! — И он, кипя от злости, принялся кулаком молотить по щитку. — Вот те на! Через джунгли придется ехать без света. Воображаю, какого страху мы натерпимся! Я ведь если что и увижу, так только когда мне посветит другая машина, а машин здесь и в помине нет! И фонарей, конечно, тоже? Черт подери, что же делать?

— Да езжай себе. Или лучше вернуться?

— Нет, ни за что! Поехали! С грехом пополам я дорогу нижу. Как-нибудь доберемся.

И тогда мы в кромешной тьме понеслись сквозь визг насекомых. Неожиданно мы почувствовали сильнейшее, едва переносимое зловоние и вспомнили, что на карте сразу после Грегории обозначено начало тропика Рака.

— Мы в другом тропике! Теперь понятно, откуда эта вонь! Только принохайтесь!

Я высунул голову в окошко. Прямо в лицо мне летели насекомые. Стоило мне прислушаться к ветру, как поднялся оглушительный визг. Внезапно включились фары, и их свет выхватил из темноты заброшенную дорогу, которую сплошной стеной обступали поникшие змееподобные деревья не меньше сотни футов высотой.

— *Сукин сын!* — вопил на заднем сиденье Стэн. — *Черти жареные!*

Он ничуть не протрезвел. И мы вдруг поняли, что он все еще навеселе и счастливой душе его не страшны никакие джунгли, никакие тревоги. И тогда мы все рассмеялись.

— К черту все! Окунемся-ка мы в эти распроклятые джунгли, там и заночуем. Вперед! — воскликнул Дин. — Старина Стэн прав. Старине Стэну все равно! Он просто одурел от баб, от травки и от

этого сумасшедшего, потрясающего, нечеловеческого мамбо, которое так гремело, что мои барабанные перепонки до сих пор отстукивают ритм. Молодчина! Умеет балдеть на все сто!

Сняв майки, мы, голые до пояса, мчались сквозь джунгли. Ни одного городка — ничего, только непролазные джунгли, мили, мили, спуск и нарастающий вой, все громче визг насекомых, все выше деревья, все душнее зловоние, к которому мы в конце концов притерпелись, сочтя его даже приятным.

— Вот бы раздеться догола и катить, катить по этим джунглям! — сказал Дин. — Нет, черт возьми, так я и сделаю, вот только отыщу подходящее место.

Внезапно впереди возник Лимон, городок в джунглях, — несколько бурых фонарей, черные тени, огромное небо над головой и группка людей перед скоплением деревянных лачуг — тропический перекресток.

Мы попали в невообразимую плушь. Жара стояла почище, чем июньской ночью в печи новоорлеанского булочника. На улице здесь и там непринужденно беседовали рассеявшиеся в темноте семейства. Изредка подходили девушки, правда чересчур молодые, и с любопытством нас разглядывали. Они были грязные и босые. Мы облокотились о перила деревянной веранды покосившегося магазинчика. На заваленном мешками с мукой прилавке валялся облепленный мухами гниющий ананас. Внутри горела масляная лампа, снаружи — еще несколько бурых фонарей, а все остальное было черным-черно. К тому времени мы уже валились с ног от усталости и, конечно же, мечтали поспать. С этой целью мы проехали несколько ярдов по грунтовой дороге до задов городка. Однако уснуть нам не давала неправдоподобная жара. Поэтому Дин взял одеяло, расстелил его на мягком горячем песке дороги и тут же задал храпака. Стэн растянулся на переднем сиденье «форда», распахнув в надежде на сквозняк обе дверцы, но не было даже намека на дуновение ветра. Отстрадав свое в луже пота на заднем сиденье, я вышел из машины и, покачиваясь, встал во тьме. Город уснул мгновенно; лишь лай собак нарушал тишину. Ну как тут было заснуть? Грудь, руки и лодыжки каждого из нас покрылись укусами тысяч moskitov. И тут меня осенило: я влез на стальную крышу машины и растянулся на спине. И хотя ветерок так и не подул, сталь сохранила в себе частицу прохлады

и высушила мою потную спину, вдавив в приставшие к коже лепешки грязи тысячи мертвых насекомых, и тогда я ясно понял, как затягивают человека джунгли, поглощая его целиком. Валяться летней ночью на крыше автомобиля лицом к черному небу было все равно что лежать в закрытом сундуке. Впервые в жизни погода не просто задевала меня за живое, не просто ласкала меня, морозила или вышибала из меня пот — она стала мной. Я слился с воздухом. Пока я спал, мое лицо нежно обвевали невидимые рои микроскопических насекомых, и от этого мне было легко и приятно. Мрачное беззвездное небо было недоступно взору. Всю ночь я мог лежать там, обратив лицо к небесам, пострадав при этом не больше, чем от наброшенной на глаза бархатной портьеры. Тонули в моей крови дохлые насекомые, делились между собой ее остатками еще живые москиты, а у меня по всему телу пошел зуд, и весь, от корней волос до кончиков пальцев, я пропах удушливым, гнилостным зловонием джунглей. Лежал я, конечно, без башмаков. Решив окончательно избавиться от пота, я встал, надел свою засиженную насекомыми футболку и снова лег. Место, где спал Дин, было отмечено сгустком тьмы на еще более черной дороге. Оттуда до меня доносился его храп. Храпел и Стэн.

В городке мелькал время от времени тусклый огонек — это шериф со слабым фонариком совершал свой обход, что-то бормоча себе под нос в ночи джунглей. Потом я увидел, как этот огонек, покачиваясь, приближается к нам, и услышал легкие шаги по мягкому песчано-травяному ковру. Подойдя, шериф направил свет фонаря на машину. Я приподнялся и посмотрел на него. Дрожащим, едва ли не жалобным, предельно нежным голосом он произнес: «*Dormiendo?*» — и показал на лежащего на дороге Дина. Я знал, что это значит «спать».

— *Si, dormiendo.*

— *Bueno, bueno,* — тихо сказал он сам себе и, с неохотой и грустью повернув назад, продолжил свой одинокий обход.

В Америке Господь не удосужился сотворить таких чудесных полицейских. Ни тебе подозрительности, ни нервозности, ни хлопот: он оберегал покой спящего города — и дело с концом.

Я снова вытянулся на своем стальном ложе и широко раскинул руки. То ли я лежал под открытым небом, то ли надо мной были ветви деревьев — я понятия не имел, да и не все ли равно? Открыв рот, я

несколько раз глубоко вдохнул атмосферу джунглей. Не воздух это был, отнюдь не воздух, а осязаемая, живая эманация деревьев и болот. Я лежал не смыкая глаз. Где-то по ту сторону густой чащобы петухи принялись возвещать утреннюю зарю. Все еще ни воздуха, ни ветерка, ни росы, лишь всегдашняя тяжесть тропика Рака, придавившая всех нас к земле, трепетной частью которой мы были. В небе не появилось ни намека на рассвет. Внезапно я услышал, как во тьме яростно лают собаки, а потом до меня донесся слабый цокот лошадиных копыт. Он становился все отчетливее. Что за безумный ночной всадник явится сейчас передо мной? Наконец моему взору предстало видение: по дороге, прямо на Дина, рысью скакал призрачно-белый дикий конь. За ним скуля гнались собаки. Их мне было не видно, это были старые грязные псы джунглей, но конь был белый как снег и огромный; казалось, он даже фосфоресцирует, и разглядеть его было нетрудно. Я не испытывал страха за Дина. Конь увидел его, промчался у самой его головы, потом, величественный, как корабль, миновал машину, негромко заржал и, донимаемый собаками, проскакал через город, скрывшись в джунглях на другом его краю. И снова я слышал лишь слабый, замирающий в зарослях стук копыт. Собаки уgomонились, уселись и принялись облизываться. Что это был за конь? Что за миф или призрак, что за дух? Когда проснулся Дин, я ему все рассказал. Он решил, что мне это приснилось. Однако потом вспомнил, что и сам вроде бы видел во сне белого коня, и тогда я сказал ему, что это был не сон. Потихоньку проснулся и Стэн Шефард. Стоило нам зашевелиться, как мы вновь взмокли от пота. Вокруг все еще была кромешная тьма.

— Пора заводить машину, пусть нас хоть немного продует! — вскричал я. — Я подыхаю от жары.

— И то верно!

Мы с ревом выехали из города и с развевающимися волосами помчались дальше по тому же бешеному шоссе. Быстро рассвело, и в серой дымке по сторонам дороги стали видны сплошные полувысохшие болота с длинными сиротливыми деревьями, клонящимися вниз, к сплетению собственных стелющихся ветвей. Какое-то время мы катили вдоль железной дороги. Впереди показались причудливые очертания антенны радиостанции Сьюдад-Манте — так, словно мы очутились в Небраске. Отыскав



бензоколонку, мы наполнили бак, а в это время последние из ночных насекомых джунглей сплошной черной тучей налетели на горящие электрические светильники и, взмахивая крыльями, огромными корчащимися роями попадали к нашим ногам. А крылья у некоторых достигали четырех дюймов в длину, чудовищных размеров стрекозы вполне способны были сожрать птицу, а вдобавок — тысячи гигантских комаров, не говоря уже о безымянных паукообразных всех мастей. В страхе перед ними я принялся приплясывать на тротуаре. В конце концов я укрылся в машине и, забравшись с ногами на сиденье, стал с ужасом плядять вниз, а земля вокруг наших колес кишела насекомыми.

— Поехали! — взвыл я. Ни Дина, ни Стэна эти страшилища совершенно не смущали. Они преспокойненько выпили по бутылочке апельсинового сока и принялись ногами отпихивать их от радиатора. Майки и брюки у них, как и у меня, пропитались кровью и почернели от тысяч дохлых насекомых. Мы обнюхали нашу одежду.

— А знаете, этот запах мне начинает нравиться, — сказал Стэн. — По крайней мере, я уже не чувствую своего собственного.

— Запах непривычный, но неплохой, — согласился Дин. — Пожалуй, я не сменю майку до самого Мехико, хочу изучить этот запах и хорошенько его запомнить.

И мы с грохотом помчались дальше, подставив сотворенному нами ветерку свои пылающие от жары, одеревенелые лица.

Потом впереди замаячили горы, сплошь зеленые. Одолев этот подъем, мы вновь попадем на огромное центральное плато, откуда прямая дорога в Мехико. В мгновение ока взлетели мы на высоту пяти тысяч футов над уровнем моря и понеслись меж окутанных туманом ущелий, склоны которых возвышались над струящимися далеко внизу желтыми речными потоками. Это была великая река Моктесума. Теперь встречавшиеся на дороге индейцы были похожи на жителей потустороннего мира. Это был народ, замкнувшийся в себе, горные индейцы, отрезанные от всего на свете, кроме Панамериканского шоссе: низкорослые, коренастые смуглые люди со скверными зубами. Многие несли на спине тяжелую поклажу. На крутых склонах гор, за громадными, одетыми в буйные заросли ущельями виднелись клочки возделанной земли. Индейцы карабкались вверх и сползали вниз по

этим склонам, обрабатывая посе­вы. Чтобы все как следует рассмотреть, Дин снизил скорость до пяти миль в час.

— Ого-го! Вот уж не думал, что такое бывает!

На вершине самой высокой горы, не уступавшей ни одной из вершин Скалистых гор, мы увидели банановые деревья. Дин вылез из машины, показал их нам и застыл на месте, почесывая живот. Мы остановились на горном уступе, к краю которого, над самой мировой пропастью, прилепилась крытая соломой лачужка. Солнце сотворило золотистую дымку, которая скрыла от нас оставшуюся на невероятной глубине Моктесуму.

Во дворике перед лачужкой стояла крошечная трехлетняя индианка. Засунув палец в рот, она смотрела на нас большими карими глазами.

— Может, она за всю свою жизнь ни разу не видела, как останавливается машина, — прошептал Дин. — Привет, девочка! Как поживаешь? Мы тебе нравимся?

Девочка в смущении отвернулась и надула губы. Мы говорили между собой, а она вновь принялась разглядывать нас, не вынимая пальца изо рта.

— Вот досада! Совершенно нечего ей подарить! Подумать только — родиться и жить на этом уступе... Всю свою жизнь ничего, кроме этого уступа, не знать. Отец ее обвязывается, наверно, веревкой и ощупью спускается вниз, лазает по пещерам за ананасами да стоит над этой бездной под углом градусов в восемьдесят и рубит сучья да ветки. Она никогда не уедет отсюда, никогда ничего не узнает о внешнем мире. Вот это народ! Воображаю, какой у них должен быть дикий вождь! А в нескольких милях от дороги, вон за тем утесом, люди наверняка еще более дикие и чудные. А как же! Ведь Панамериканское шоссе приносит этому придорожному народу хоть какую-то цивилизацию. Смотрите, какие капли пота у нее на лбу. — Со страдальческой гримасой Дин показал на девочку. — Мы так не потеем, этот пот — маслянистый, он никогда не высохнет, потому что здесь всегда, круглый год жарко, и она не представляет себе, что можно не потеть, она вспотела, когда родилась, и умрет в поту. — Крупные капли пота на лобике девочки не стекали вниз, а застыли там, казалось, навсегда, поблескивая на солнце, словно чистое оливковое масло. — Как же это должно действовать на их души! Как

же их глубоко запрятанные тревоги, взгляды и желания должны быть не похожи на наши! — Дин вновь сел за руль и, приоткрыв в благоговейном страхе рот, повел машину со скоростью десять миль в час, стремясь не пропустить на дороге ни одной живой души. Мы взбирались все выше и выше.

А чем выше мы поднимались, тем прохладнее становился воздух. Вскоре мы увидели на обочине укутанных в шали индианок. Они отчаянно пытались привлечь к себе наше внимание. Мы остановились. Оказалось, что они хотят продать нам кусочки горного хрусталя. В устремленных на нас взглядах больших невинных карих глаз было такое неподдельное волнение, что ни у кого из нас не шевельнулось по отношению к ним ни одной грешной мысли. К тому же они были очень юны — некоторым было лет по одиннадцать, хоть по виду и можно было дать все тридцать.

— Посмотрите на эти глаза! — прошептал Дин.

Быть может, такими же глазами смотрела на мир Богородица, когда была ребенком. В них нам привиделся нежный и всепрощающий взгляд Иисуса. И этот пристальный взгляд был устремлен прямо в наши бегающие голубые глаза, которые мы то и дело протирали, но, сколько ни смотрели, не могли отделаться от ощущения, что в самую душу нам проник скорбный гипнотический свет. Стоило, однако, девочкам заговорить, как они вдруг показались нам суетливыми, назойливыми, даже слабоумными. Лишь погруженные в молчание, они были самими собой.

— Они только недавно научились торговать горным хрусталем, ведь шоссе провели лет десять назад... а до тех пор весь народ, наверное, был *бессловесным*.

Девочки с причитаниями обступили машину. Одна из них, совсем наивное дитя, вцепилась в потную руку Дина и жалобно лепетала что-то по-индейски.

— Ах да. Да, милая, — сказал Дин с нежной грустью в голосе.

Он выбрался из машины, обошел ее и, порывшись в обшарпанном чемодане — все в том же старом, многострадальном американском чемодане, — вытащил оттуда наручные часы и показал их девочке. Та взвизгнула от восторга. Остальные в изумлении столпились вокруг. Тогда Дин склонился над ладонью девочки в поисках «самого красивого, самого маленького и прозрачного хрусталика, который она

сама нашла в горах для меня». Он выбрал один, не больше ягодки, и отдал ей болтающиеся на ремешке часы. Девочки стояли с круглыми ртами, словно певчие в детском хоре. Маленькая счастливица крепко прижала добычу к прикрывающим грудь лохмотьям. Все благодарно гладили Дина, а он стоял среди них, подняв к небу свое обветренное лицо, отыскивал еще один, последний и самый высокий перевал и был похож в эту минуту на сошедшего к ним пророка. Потом он вернулся в машину. Девочки никак не хотели нас отпускать. И бесконечно долго, пока мы взбирались на уходящий прямо вверх перевал, они бежали за нами и махали руками. Повернув наконец, мы навсегда потеряли их из виду, а они все продолжали бежать.

— Прямо сердце разрывается! — вскричал Дин, стукнув себя кулаком в грудь. — До чего же могут дойти преданность и восторг! Чем же это кончится? Неужели, ползи мы достаточно медленно, они бежали бы так до самого Мехико?

— Да! — ответил я, потому что ничуть в этом не сомневался.

Мы добрались до головокружительных высот Сьерра-Мадре-Ориенталь. В легкой дымке золотисто поблескивали банановые деревья. Густой туман жался к краю обрыва и каменистым склонам гор. Далеко внизу Моктесума превратилась в тонкую золотую нить в зеленом ковре джунглей. Мимо проносились расположенные близ дорог, пересекающих крышу мира, загадочные городки, и закутанные в шали индейцы смотрели на нас, пряча взоры под полями шляп и *rebozos*<sup>[21]</sup>. Дремучие, темные, первобытные люди. Ястребиными глазами наблюдали они за Дином, а он торжественно и неистово сжимал беснующийся руль. Все они тянули к нам руки. Они спустились из затерянных в далеких горах селений, чтобы протянуть руку за тем, что, по их разумению, могла дать им цивилизация, им и не снилось, какое в ней царит глубокое уныние, сколько в ней жалких разбитых иллюзий. Они еще не знали, что существует бомба, которая в один миг может превратить в развалины все наши мосты и дороги, что настанет день, когда мы будем так же бедны, как они, и нам придется точно так же протягивать руки. Наш разбитый «форд», вознесшийся ввысь старенький «фордик» Америки тридцатых, прогромыхал мимо них и скрылся в облаке пыли.

Мы были уже на подступах к последнему плато. Солнечный свет отливал золотом, воздух был пронзительно-синим, а пустыня с ее

редкими речушками — буйством раскаленных песчаных просторов, неожиданно прерываемым библейской сенью деревьев. Дин уснул, и машину вел Стэн. Появились пастухи, одетые, как и в ветхозаветные времена, в длинные, падающие свободными складками хламиды. У женщин в руках были пучки золотистого льна, мужчины опирались на посох. Усевшись в тени огромных деревьев среди искрящейся на солнце пустыни, пастухи вели неторопливые беседы, а за пределами этой тени маялись от жары, высоко вздымая пыль, овцы.

— Старина, старина! — крикнул я Дину. — Проснись! Посмотри на этих пастухов, проснись и посмотри на тот благословенный мир, откуда явился Христос. Ты должен увидеть его своими глазами!

Он резко встрепенулся, оторвал голову от сиденья, окинул взглядом освещенную багровым закатным солнцем округу и вновь погрузился в сон. А проснувшись, подробно описал мне все, что увидел, и сказал:

— Да, старина, хорошо, что ты меня разбудил. О господи, что мне делать? Куда податься? — Он почесал живот, посмотрел воспаленными глазами на небеса и едва не разрыдался.

Близился конец нашего путешествия. По обе стороны дороги простирались бескрайние поля. Чудесный ветерок шелестел в ветвях изредка попадавшихся навстречу громадных деревьев и уносился к старым миссионерским церквушкам, оранжево-розовым в лучах заходящего солнца. Порозовели и огромные низкие облака.

— Мехико до темноты!

Мы одолели их, эти тысячу девятьсот миль, отделявших послеполуденные дворики Денвера от самых неоглядных ветхозаветных просторов мира сего, и уже почти достигли конца пути.

— Может, сменить майки? Они же все в насекомых.

— Ни за что! Именно в них мы в город и въедем, черти его раздери!

И мы направились к Мехико.

Короткий горный перевал неожиданно вознес нас к самым небесам, откуда как на ладони был виден Мехико, раскинувшийся внизу, в своем вулканическом кратере, и извергающий прорезаемый ранними вечерними огнями дым большого города. И мы ринулись вниз, через бульвар Инсургентес, к самому сердцу города — к бульвару Реформа. На просторных и унылых площадках поднимала

клубы пыли гонявшая в футбол детвора. Таксисты, поравнявшись с нами, желали узнать, не нужны ли нам девушки. Нет, пока еще девушки нам не нужны. На равнине потянулись бесконечные грязные трущобы. В тускнеющих закоулках меж глинобитных хижин виднелись одинокие фигуры. Надвигалась ночь. И тут город наполнился шумом, а мы неожиданно оказались среди переполненных кафе и театров, среди множества огней. Отчаянно пытались докричаться до нас мальчишки — продавцы газет. Повсюду слонялись босоногие автомеханики, вооруженные гаечными ключами и ветошью. Шальные босоногие индейцы-шоферы проскакивали у нас под носом и, громко сигналив, окружали нас со всех сторон, создавая на дороге невыносимую неразбериху. Шум стоял невообразимый. Глушителей на машинах в Мексике не признают. Там ни на миг не смолкают ликующие звуки гудков.

— Эй! — орал Дин. — Берегись!

Врезавшись на полной скорости в гущу автомобилей, он включился в общую гонку. С машиной он управлялся не хуже любого индейца. Выбравшись на кольцевую «*glorietta*» — аллею, окаймляющую бульвар Реформа, он принялся носиться по ней, а со всех восьми сходящихся улиц на нас летели машины: слева, справа, опять *izguierda*<sup>[22]</sup> и прямо в лоб. Дин вопил и подпрыгивал от восторга.

— Да я же о таком движении всю жизнь мечтал! *Едут* все!

Вихрем промчалась карета «скорой помощи». Американские кареты «скорой помощи» включают завывающие сирены и мечутся, пытаясь пробраться сквозь нескончаемый поток машин. Неподражаемая всемирная «скорая помощь» феллахских индейцев без оглядки мчит по улицам города со скоростью восемьдесят миль в час, успевай только ноги уносить, ведь она никогда, ни перед кем не остановится, а будет лишь лететь и лететь вперед. И она на наших глазах, едва касаясь колесами земли, пробила себе дорогу сквозь невыносимую сумятицу городского транспорта и стремительно скрылась из виду. Все водители были индейцы. Пешеходы, не исключая старушек, бегом бежали за автобусами, которые никогда не останавливались. Начинаящие дельцы Мехико-Сити, заключив пари, толпой догоняли автобусы и ловко вскакивали в них на ходу. Водители автобусов в майках с короткими рукавами, босоногие, насмешливые и

взбалмошные, сидели внизу, едва различимые за низко расположенными баранками. Над головами у них поблескивали образки. Свет в автобусах был тусклым и зеленоватым, а ряды деревянных скамеек занимали смуглолицые люди.

В центре Мехико по главной улице бродили тысячи хипстеров в соломенных шляпах с обвисшими полями и наброшенных на голое тело пиджаках с длинными лацканами. Одни торговали в переулочках распятиями и травкой, другие молились, стоя на коленях в ветхих часовенках, затесавшихся среди развалюх, где веселили публику мексиканские комедианты. Попадались переулочки, мощенные булыжником, с открытыми сточными канавами, низенькие двери вели в прилепившиеся к глинобитным домикам бары, своими размерами больше напоминавшие чуланы. Желающему выпить приходилось прыгать через ров, а в глубинах этого рва таилось древнее озеро ацтеков. Выйдя же из бара, надо было прижаться спиной к стене и осторожно, бочком, пробираться назад к улице. Подавали там кофе, сдобренный ромом и мускатным орехом. Со всех сторон гремело мамбо. Вдоль полутемных узких улочек выстроились сотни шлюх, и при взгляде на нас их глаза загорались в ночи скорбным светом. Словно одержимые, блуждали мы по улицам и грезили наяву. За сорок восемь центов мы полакомились замечательными бифштексами в чудном, отделанном кафелем мексиканском кафетерии, где у единственной громадной маримбы собралось несколько поколений музыкантов... А на улице — еще и бродячие певцы-гитаристы, и старики, на каждом углу дудящие в трубы. Пойдя на запах кислятины, можно было попасть в забегаловку, где за два цента наливали большой стакан «пульке» — кактусового сока. Веселье не прекращалось ни на минуту. Уличная жизнь не замирала до утра. Укутавшись в содранные с заборов афиши, спали нищие. Но другие нищие сидели на тротуаре в окружении своих семей, поигрывая на дудочках и пересмеиваясь в ночи. Торчали наружу их босые ноги, горели тусклые свечи — Мехико был сплошным громадным цыганским табором. На каждом углу старушки отрезали от вареных коровьих голов лакомые кусочки, заворачивали их в тортильяс, сдабривали острым соусом и продавали на обрывках газеты. Это был тот единственный, великий и буйный, по-детски наивный и не знающий запретов феллахский город, который мы и должны были отыскать в конце пути. Дин шел по этому

городу, и руки его висели плетьюми, как у зомби, рот был открыт, глаза сверкали, он был гидом в нашем сумбурном священном паломничестве, закончившемся только на рассвете, где-то в поле, в компании парня в соломенной шляпе, который беспрерывно болтал и смеялся и вдобавок порывался сыграть в мяч, потому что не было всему этому конца.

А потом у меня сделался сильный жар, я потерял сознание и начал бредить. Дизентерия. А вынырнув из темного водоворота, в котором кружились мои мысли, я осознал, что кровать моя стоит на высоте восьми тысяч футов над уровнем моря, на крыше мира, осознал, что прожил в своей брэнной атомистической оболочке целую жизнь, и даже не одну, и что перевидел уже все сны. И тогда я увидел склонившегося над кухонным столом Дина. Прошло несколько ночей, и он уже готовился покинуть Мехико.

— Куда ты собрался, старина? — простонал я.

— Бедняга Сал, бедняга Сал, взял да и заболел. Стэн о тебе позаботится. Послушай-ка внимательно, если, конечно, у тебя есть на это силы: я тут оформил развод с Камиллой и сегодня вечером еду в Нью-Йорк к Инес, только бы машина дотянула.

— Все сначала?! — вскричал я.

— Все сначала, дружище. Пора мне возвращаться к жизни. Жаль, что не могу остаться с тобой. Даст Бог, я еще вернусь.

Почувствовав спазмы, я схватился за живот и застонал. Когда я снова пришел в себя, отважный благородный Дин стоял со своим старым потрепанным чемоданом в руках и сверху смотрел на меня. Я больше не узнавал его, и он это знал и жалел меня; он натянул мне на плечи одеяло.

— Да, да, да, мне пора. Старый больной Сал, прощай.

И он ушел. Только через двенадцать часов осознал я в своем горестном лихорадочном бреде, что он действительно уехал. К тому времени он уже мчал в одиночестве обратной дорогой через те же банановые горы, только на этот раз ночью.

Когда мне стало лучше, до меня дошло, как гнусно он меня предал. Но потом мне пришлось понять и то, как невероятно запутанна его жизнь, и то, что он попросту не мог не бросить меня, больного, не мог не пуститься во все тяжкие со своими женами и прочими бедами. «Ладно, старина Дин, я тебе ничего не скажу».



## Часть пятая

Уехав из Мехико, Дин вновь наведаясь в Грегорию к Виктору, а потом без остановок гнал свою старенькую машину до самого Лейк-Чарлза, Луизиана, где наконец оправдались его давнишние опасения: рухнула на дорогу вся задняя часть днища. Поэтому он телеграфировал Инес, та выслала ему деньги на самолет, и остаток пути Дин проделал по воздуху. Как только он явился в Нью-Йорк со свидетельством о разводе в руках, они с Инес отправились в Ньюарк и поженились. И в ту же ночь, заявив ей, что все идет как нельзя лучше и ни к чему волноваться, и подкрепив свои слова логическими построениями, не содержащими в себе ничего ценного, кроме прискорбного нетерпения, он вскочил в автобус и вновь помчался через весь величественный материк в Сан-Франциско — к Камилле и двум маленьким девочкам. Так что теперь он был трижды женат, дважды разведен и жил со второй женой.

Осенью я и сам покинул Мехико и пустился в обратный путь, и вот, когда однажды ночью, уже переехав границу в Ларедо, я стоял в Дилли, штат Техас, на нагретой дороге под дуговой лампой, о которую бились летние мотыльки, из тьмы до меня донесся звук шагов — и что же! Тяжелой поступью ко мне приблизился высокий старик с развевающимися серебристыми волосами и с узлом за спиной. Увидев меня, он, не останавливаясь, произнес: «Ступай, оплакивай человека» — и снова скрылся в своей тьме. Значит ли это, что я должен был, по меньшей мере, отправиться странствовать пешком по темным дорогам Америки? С трудом отогнав от себя эту мысль, я поспешил в Нью-Йорк, и там как-то ночью я стоял на одной из темных улиц Манхэттена и, задрав голову кверху, пытался докричаться до окна чердачной квартирки, где, как полагал, гуляли на вечеринке мои друзья. Однако в окне появилась хорошенькая девушка, и она спросила:

— Да? Кто это?

— Сал Парадайз, — ответил я и услышал, как мое имя эхом отдается на унылой пустынной улице.

— Поднимайтесь, — крикнула она. — Сейчас будет горячий шоколад.

Я поднялся, а наверху меня ждала она — та самая девушка с простодушными, невинными и очаровательными глазами, которую я неустанно и так долго искал. Мы страстно полюбили друг друга. Зимой мы вознамерились погрузить нашу выдавшую виды мебель и кое-что из вещей в какой-нибудь старенький фургончик и перебраться в Сан-Франциско. Я написал об этом Дину. Ответил он объемистым, на восемнадцать тысяч слов, письмом, приписав в конце, что приедет за мной, сам подберет грузовичок и отвезет нас домой. Для того чтобы скопить деньги на грузовичок, у нас оставалось еще шесть недель, мы устроились на работу и начали считать каждый цент. Дин же неожиданно явился на пять с половиной недель раньше, и денег на осуществление нашего плана не было ни у кого.

Глубокой ночью я вышел пройтись и вернулся к своей девушке рассказать ей, о чем думал во время прогулки. Она стояла в нашей тесной темной комнатенке и странно улыбалась. Я успел наговорить ей кучу всякой всячины, прежде чем неожиданно заметил, что в комнате царит молчание, и тогда я огляделся по сторонам и увидел на радиоприемнике потрепанную книгу. В ней я узнал Динова вековечного послеполуденного Пруста. Точно во сне, я увидел, как Дин на цыпочках, в одних носках, выходит из темного коридора. Говорить он уже разучился. Подпрыгивая и смеясь, заикаясь и возбужденно размахивая руками, он произносил:

— Ах... ах... слушайте внимательно. — Мы обратились в слух. Но он уже забыл, что хотел сказать. — Слушайте же... хм. Видите, дорогой Сал... милая Лаура... я приехал... я уехал... нет, постойте... ах, да. — И он с бесконечной грустью уставился на свои руки. — Я больше не а состоянии говорить... понимаете вы, что это такое... что это было бы... Но слушайте!

Мы все прислушались. Дин вслушивался в звуки ночи.

— Да! — с трепетом в голосе прошептал он. — Но поймите... больше незачем говорить... и не о чем.

— А почему ты так рано приехал, Дин?

— Ах, — сказал он, взглянув на меня так, словно видел впервые, — так рано, да. Мы... мы узнаем... то есть я не знаю. Я приехал по бесплатному билету... в служебном вагоне... старые

спальные вагоны с жесткими лавками Техас... всю дорогу играл на флейте и деревянной окарине.

Он достал свою новую деревянную флейту. Подпрыгивая и одновременно дрыгая босыми ногами, он извлек из нее несколько писклявых пот.

— Видите? — сказал он. — Ну конечно же, Сал, я могу говорить ничуть не хуже, чем раньше, и мне надо многое тебе сказать, я всю дорогу читал и читал этого бесподобного Пруста и даже своим скудным умишком расчухал великое множество вещей, у меня просто не хватит *времени* о них тебе рассказать, а ведь мы *до сих пор* не поговорили о Мексике, о том, как мы там, в лихорадке, расстались... но незачем говорить. Теперь уже незачем, да?

— Ладно, не будем.

И Дин пустился в подробнейший рассказ о том, что делал по дороге в Лос-Анджелес, как навестил какую-то семью, пообедал, поговорил с отцом, сыновьями и сестрами — как они выглядели, что ели, какая у них в доме мебель, какие мысли, какие интересы и даже что творится у них в душе. На это обстоятельное исследование у него ушло три часа, а закончив, он сказал:

— Ах, но знаешь, что я *на самом деле* хотел тебе сказать... много позже... Арканзас... ехал в поезде... играл на флейте... играл с ребятами в карты, моей неприличной колодой... выиграл деньги, сыграл соло на окарине... для моряков. Долгий-долгий, тяжкий путь, пять дней и пять ночей, только чтобы *повидать* тебя, Сал.

— А что Камилла?

— Разрешила, конечно... ждет меня. У нас с Камиллой все путем на веки вечные...

— А Инес?

— Я... я... хочу, чтобы она уехала со мной в Фриско и поселилась на другом конце города... как ты думаешь? Не знаю, зачем я приехал.

Позже, неожиданно придя в крайнее изумление, он сказал:

— Ну да, конечно, я хотел повидать тебя и твою милую девушку... рад за тебя... и все так же тебя люблю.

Он пробыл в Нью-Йорке три дня, поспешно собираясь в обратный путь на поезде по своим бесплатным билетам, снова пять дней и пять ночей трястись через весь материк в пыльных, обшарпанных вагонах с жесткими лавками, а у нас, конечно, не было денег на грузовик, и мы

не могли с ним поехать. С Инес он провел одну ночь. Пытаясь объяснить и обливаясь потом, он затеял драку, и она вышвырнула его вон. На мой адрес пришло для него письмо. Я прочитал его. Оно было от Камиллы. «Мое сердце разрывалось на части, когда я смотрела, как ты идешь со своей сумкой через пути. Я все время молю, чтобы ты вернулся невредимый... Я правда хочу, чтобы Сал и его подружка приехали и поселились на нашей улице... Я знаю, ты все сделаешь как надо, но все равно волнуюсь — теперь, когда мы все решили... Дин, любимый, подошла к концу первая половина столетия. Мы все любим тебя и целуем и просим вторую половину провести вместе с нами. Мы все ждем тебя. Камилла, Эми и малышка Джоани». Вот и наладилась у Дина семейная жизнь с самой верной, самой многострадальной и самой проникательной из его жен — Камиллой, и я возблагодарил за него Бога.

В последний раз я увидел его при странных и грустных обстоятельствах. Совершив несколько кругосветных плаваний на разных кораблях, в Нью-Йорк приехал Реми Бонкур. Я хотел познакомить его с Дином. Они все-таки встретились, но Дин совсем разучился говорить и не произнес ни слова, а Реми отвернулся. Реми достал билеты на концерт Дюка Эллингтона в Метрополитен-опера и уговорил нас с Лаурой пойти вместе с ним и девушкой. К тому времени Реми стал толстым и грустным, однако оставался все тем же энергичным и педантичным джентльменом и хотел, чтобы все происходило — и неустанно на это упирал — *надлежащим образом*. Вот и на концерт нас должен был отвезти в «кадиллаке» его букмекер. Был холодный зимний вечер. «Кадиллак» уже был готов тронуться со стоянки. А Дин стоял с сумкой за окошком машины, готовый тронуться в свой путь — на Пенсильванский вокзал, а потом через всю страну.

— Прощай, Дин, — сказал я. — Поверь, мне и самому жаль, что приходится тащиться на этот концерт.

— Как по-твоему, могу я с вами доехать до Сороковой улицы? — шепнул он мне. — Хочется побыть с тобой подольше, дружище, к тому же в этом вашем Нью-Йо-оооке чертовски холодно.

Я пошептался с Реми. Но куда там! Этого он ни за что бы не потерпел. Ко мне-то он был расположен, однако моих идиотских друзей не выносил. Я же вовсе не собирался вновь рушить его

серьезные планы на вечер, что сделал уже однажды на пару с Роландом Мейджором у «Альфреда» в Сан-Франциско в сорок седьмом.

— Об этом не может быть и речи, Сал!

Бедняга Реми! Специально для того вечера он заказал галстук, расписанный копией билетов на концерт, именами «Сал», «Лаура», «Реми» и «Вики» — его девушка, — а заодно целым набором жалких шуточек с кое-какими из его любимых присловий типа «Не учите старого маэстро новому мотиву».

Вот почему Дин и не мог поехать с нами в сторону окраины, а мне оставалось лишь махать ему рукой с заднего сиденья «кадиллака». Букмекер, сидевший за рулем, тоже не желал связываться с Дином. И Дин, оборванный, в своем изъеденном молью пальто, которое он взял с собой на случай восточных холодов, зашагал прочь один. Я еще видел, как, дойдя до угла Седьмой авеню, он устремил взгляд на лежащую впереди улицу, а потом все-таки повернул. Бедняжка Лаура, моя малютка, которой я много рассказывал о Дине, едва не расплакалась.

— Ах, нельзя было так его отпускать. Что же делать?

Вот и нет старины Дина, подумал я, а вслух сказал:

— С ним ничего не случится.

И тогда мы отправились на скучный, никчемный концерт, от которого я не получил никакого удовольствия, потому что только и думал что о Дине, о том, как он снова садится в поезд и катит три с лишним тысячи миль через всю эту внушающую страх страну, так и не поняв, зачем вообще приезжал, разве что повидать меня.

И вот в Америке, когда заходит солнце, и я сижу на старом, заброшенном речном молу, вглядываясь в необъятные небеса над Нью-Джерси, и ощущаю всю эту суровую страну, которая единой выпуклой громадой поворачивается в сторону Западного побережья, ощущаю всю бегущую вдаль дорогу, всех людей, видящих сны в этих бесконечных просторах, и знаю, что в Айове уже наверняка плачут дети — в той стране, где детям позволено плакать, — и что этой ночью не будет звезд — а известно ли вам, что Бог — это созвездие Медвежонка Пуха? — вечерняя звезда, должно быть, клонится к закату и роняет тускнеющие искорки своего света на прерию, а это всегда происходит перед самым наступлением ночи, которая освящает

землю, опускается темной тучей на реки, окутывает горные вершины и нежно баюкает самый дальний берег, и ни один, ни один человек не знает, что, кроме жалких лохмотьев старости, ждет его впереди, я думаю о Дине Мориарти, я думаю даже о Старом Дине Мориарти — отце, которого мы так и не нашли. Я думаю о Дине Мориарти.

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Тюрьма в штате Нью-Йорк (*здесь и далее — прим. перев.*).



Психиатрическая лечебница в Нью-Йорке.

**3**

Бар в одноименном районе Чикаго.

*У. К. Филдз* (Уильям Клод Дюкенфилд, 1880–1946) — знаменитый американский актер и эстрадный комик.

Лос-Анджелес.

**6**

Кинотеатры и рестораны на открытом воздухе для автомобилистов.

7

Завтра (*исп.*).

Жестокий работорговец из романа Г. Бичер Стоу «Хижина дяди Тома».

9

Финал чемпионата США по бейсболу.



«Большой Мольн» (*фр.*).

Testament — Завет (*англ.*).

Гамбо — новоорлеанский креольский диалект.

Алжир — район Нового Орлеана на правом берегу Миссисипи.

Три-Форкс — местность на юго-западе штата Монтана, где слиянием трех рек образуется река Миссури.

Горная цепь в Аппалачах.

Река у Голубой гряды, приток Потомака, на берегах которой расположен Национальный парк.

Прозвище Томаса Джонатана Джексона (1824–1863), генерала армии конфедератов.



Штат и город в Мексике.

Пиво (*исп.*).

Алеман Мигель — президент Мексики (1946–1952).

Накидками (*исп.*).

Слева (исп).